

ISSN 0132-0637

ОКтябрь

4 2001

2001

4

ОКтябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

4

2001

АПРЕЛЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Михаил ВЕЛЛЕР. Белый ослик. Повесть	3
Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР. Незапечатляемый пейзаж. Стихи	26
Эдвард РАДЗИНСКИЙ. Игры писателей. Неизданный Бомарше. Окончание ...	31
Дмитрий БОБЫШЕВ. Я здесь. Главы из книги	88
Тамара ОРЛОВА. Путь Луны. Рассказ	129

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Сергей ФИЛАТОВ. Власть, церковь, свобода	142
--	-----

Северное измерение

Валерий ПИСИГИН. Письма с Чукотки. Окончание	144
--	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Лариса ШУЛЬМАН.
Сквозняки будущего. Штрихи к жизни и литературе . . . 171

Отличие ямба от хоря

Кирилл КОБРИН.
Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо
четвертое 175

Терпение бумаги

Ольга СЛАВНИКОВА:
Город и лес. О писательском профессионализме 179

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Беллетристика 186

Борис ХАЗАНОВ.
Буквы 190

Главный редактор Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

Инесса НАЗАРОВА	<i>отв. секретарь</i>
Алексей АНДРЕЕВ	<i>зав. отделом прозы</i>
Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ	<i>зав. отделом критики</i>
Виталий ПУХАНОВ	<i>проза</i>

Общественный совет:

Леонид Баткин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера Министерство культуры
Российской Федерации выкупает для библиотек России
853 экземпляра журнала.**

**Из общего тиража каждого номера Институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в сельские библиотеки России
850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2001. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».

Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 23.02.2001. Подписано к печати 21.03.2001. Формат 70x108^{1/16}.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 6400 экз. Заказ № 523. Цена 39 руб. 50 коп.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125993, ГСП-3, Москва, А-40, ул. «Правды», 24.

Белый ослик

ПОВЕСТЬ

1

Сначала требовалось достать белого осла. Он был не убежден, что именно белого, но так представлялось надежнее, с запасом гарантии, что ли. А еще спокойнее — ослицу.

Прежде всего осел ассоциировался со Средней Азией, Самаркандом, Тимуром, базаром и урюком. Но это рождало, в свою очередь, другую ассоциацию, неприятно-анекдотическую: «Армянское радио спрашивают: можно ли доехать на осле от Ташкента до Москвы? Ответ: нельзя — по дороге его съедят в Воронеже». В Средней Азии уже десять лет идут гражданские войны, а рисковать собой сейчас нельзя.

Когда-то в городском зоопарке ушастый печальный ослик катал в тележке детей. Он цокал по аллеям мимо клеток и гуляющей публики (так и хотелось сказать — мимо клеток с публикой), прядал ушами и звенел бубенчиками, резиновые шины шелестели. Мысль о зоопарке была естественной.

Имея малый опыт еще советской и больший — суровой и откровенной постсоветской реальности, обращаться в дирекцию он, конечно, не стал. Чем ниже уровень — тем дешевле решение. А спросил прямо на входе контролершу, пропахшее зверинцем бедное чадо унисекса, где конюшня: он хочет задешево поставить корма.

В большой, полутемной и пахучей конюшне две девчонки с метлами и скребками направили его к старшему конюху. Конюх был — кайф, сидящая борода пахла хлебной водкой, сытно и уютно. Поскольку жеребцы ослов не переносят, ослиная семья содержалась в отделении, непарнокопытное нацменьшинство.

— Белая ослица нужна, — прямо сказал он.

— Ну, и для чего вы мне это сообщаете? — хамовато бросил конюх. — Здесь не зоомагазин. — Отвернулся и закурил. — Тоже еще... Идите, гражданин. Я сказал: идите!

— Тонна комбикорма, — последовало уточнение. — И полтина баксов тебе.

— Ослы, — отчужденно сказал конюх через плечо, — белыми не бывают... посетитель. Ослы преимущественно мышастой масти. Серые. Гнедые бывают. Карабахские ишаки опять же... А альбинос — это феномен.

— Феномен, говоришь? Ладно. Стольник. И два мешка овса. А овес нынче до рог, — не удержался он.

— А нынче все дорого, — отпарировал конюх, но снизошел до вежливого вздоха. Лицо его выразило мучительное желание человека сделать серое белым. И личное, почти дружеское огорчение невозможностью этого.

— Анжела месяц назад родила, — сообщил он наконец тоном дипломата, готового в кулуарах нарушить интересы родины из симпатии к партнеру. — Девочка. Светленькая.

— Так пошли посмотрим.

В тесном деннике замшевый, дымчато-белый осленок ростом с табуретку топал копытцем в опилки. Он посмотрел на покупателя игриво-печальными вишнями несовершеннелетней гейши.

— Повезло тебе, — сказал конюх. — Давай-ка пива попьем.

Вопроса насчет обещанных кормов не было: все прикупалось на рынке или ближайшей к городу ферме.

Пиво было хорошее. Пробки конюх снимал кромкой обручального кольца. Борода его вспушилась, хлебный запах от нее усилился.

— Да хрен с ними, с кормами, это я сам разберусь. Бабки давай. Нет, ты погоди, считай сам: мне его списывать придется, это бумаги оформлять, начальство — оно тоже все понимает, верно? С этим считаться надо. Репутация моя опять же страдает. Это ведь все тоже расходов требует, правильно?

Они поторговались. Конюх дозрел до водки и стал осленку как отец родной. ...Ослы понятливы и растут быстро.

2

В Разливе было полно комарья, зато людей не было вовсе. Если мазаться диметилфтолатом, думалось просто отлично.

Он прожил там полтора месяца. Ловил рыбу и строил планы. Оброс, одичал, но мысль достигла ясности необыкновенной, он чувствовал, как накапливается в нем энергия.

Забросанная сенцом палатка напоминала снаружи не то стожок, не то шалашик. Вечером, под звездами, уютно булькал на огоньке чайник. Ослик подходил, тыкался замшевой мордашкой. Он дергал для него ночью морковку с колхозного поля. Не грех, все равно осенью сгниет.

Покидать славную пустошь ослик отказался, заупрямился.

— Неохота? — печально улыбнулся он, стягивая его с места за повод. — М-да... Мне тоже, может, не очень охота... честно-то говоря. А что делать? Идти пора.

3

Он въехал в Москву по Ленинградскому шоссе. Жестяной указатель на обочине обозначал границу города.

— А где Львиные ворота? — спросил он у гаишника с автоматом, зевавшего, облокотясь на свой молочный «опель».

— Да вот здесь и стояли, — сказал гаишник с неприязнью к действительности. — Потом в приватизацию муниципалитет заключил с кем-то договор их отретсаврировать, увезли — и до сих пор с концами. Так теперь все и ездят как хотят. — И для большей выразительности он сплюнул. — А вы почему на осле?

— На машину не хватает.

— Жрет много?

— Да ну. Утром покормил — и на весь день хватит.

— Экономичный, — похвалил гаишник. — Ну т-ты, Кирюха!.. — фамильярно осклабился он: добродушная власть шутила.

— Ты сказал.

— Что я сказал?..

— Что меня зовут Кирилл.

Гаишник замкнул черты лица в служебную ряху, лениво выпрямился и, с презрительной небрежностью обозначая официальную процедуру, чуть сунул рукой к козырьку:

— Документы ваши, пожалуйста.

Кирилл полез во внутренний карман, но тут по пленке жидкой грязи, кроющей шоссе, тяжело прошелестел огромный вольвовский фургон, напарник гаишника выскочил с жезлом, фургон стал тормозить, рядом с ним материализовался «БМВ» предупреждающего цвета «мокрый асфальт», и из него полезли трое братьев.

— На гужевом транспорте в центр только по специальному разрешению, — по инерции еще выламывал рот гаишник, уже забыв о Кирилле и поспешая на разборку.

— Мне в четыре, не позже, надо на таможенной площадке быть, — донеслось оттуда, водитель махал бумагой, следом за фургоном пристроился и встал второй, браток тыкал в мобильник, другой раздернул «молнию» кожанки, автоматчик отступил на шаг и зафиксировал рукой висевший на боку «калаш». Как пузырьки, выбулькивали отдельные слова: «вопрос», «лавэ», «откат» и тому подобные индикаторы делового разговора. Двери фургона с лязгом разъехались на петлях: он был забит пестрыми картонными ящиками.

Кирилл на своем белом ослике процокал в середину группы, недоуменно взвизываясь на помеху.

— Человек везет гуманитарную помощь. Детское питание,— обратился он к гаишникам.— С него нельзя брать деньги. Рождаемость и так упала ниже уровня простого воспроизводства населения. Если бы она упала раньше, вас бы всех здесь не было, и это было бы гораздо лучше. Вы должны подумать об интересах тех, кто еще не может держать в руках оружие. Страсть к наживе погубит народ, надо быть добрыми и помогать друг другу. Людей надо любить, а не грабить.

Бандиты и менты весело расширили глаза. Застиранный белый плащ и запущенная молодая бородка вкупе с речью всадника на несуразном транспортном средстве совершенно уподобляли его бомжующему городскому сумасшедшему: состоит на учете в психдиспансере, но без посадки в переполненный стационар как социально неопасный. Ослик разинул белозубую пасть и сказал: «И-а!»: картина сделалась вовсе ненастоящей, будто все вдруг оказались участниками уличной киносъемки.

— Проезжай, проезжай, человек,— без злобы приказал один из них, насытив взор развлечением и побуждаемый необходимостью завершить переговоры.— Проезжай, осел! — повторил он, обращаясь к тому из них двоих, кто, по его мнению, мог быстрее выполнить приказ.

— Баварские моторостроительные заводы вредят экологии,— укорил Кирилл.

— А ослы помогают,— хохотнул браток с мобильником.

— Он за драндулеты агитирует! Дилер по «жигулям».

— Покупая автомобили их производства, вы обогащаете их толстосумов, немецких бюргеров...

— Вот тут ты, брателло, в натуре, не прав. Мы их не обогащаем, будь спок.

— ...и на самом деле они радуются, что вы рискуете своими единственными жизнями и кладете свою молодость на то, чтобы их конвейеры работали непрерывно, обогащая их. Я не удивлюсь, если окажется, что бандитизм в России стимулируется из-за рубежа концернами «БМВ» и «Даймлер-Бенц» ради повышения сбыта их продукции. Можно сказать, что русские бандиты — это агенты Германии.

У аудитории не хватило интеллигентности понять скрытое обвинение в большевизме.

— А правительство ездит на «волгах»,— насмешливо сказал гаишник.

Водитель фургона пошевелил губами и стал медленно прятать документы в сумочку.

— А срок хранения этого детского питания,— ткнул в фургон пальцем Кирилл,— давно просрочен. Не говоря о сроке реализации. Наверняка все переложено в заново напечатанные пачки. В наших условиях вообще любой бизнес делается преступным и идет во вред не только потребителям, а и самим бизнесменам. Они не только губят свою душу, но и портят нервы, а от этого болеют всеми болезнями и совершают непоправимые ошибки, которые в конце концов стоят им жизни. Вы все вдумайтесь — на кого вы работаете.

Невысокий и самый юнолицый из бандитов переступил перед проповедником и картинно размял правую руку, напоказ отводя ее.

— Двух ослов одним ударом! — объявил он номер и развернулся.

— В молодости я тоже мечтал стать бандитом,— поспешно проговорил Кирилл ему в глаза.— Мне хотелось быть сильным, храбрым и богатым, чтоб парни меня боялись и завидовали, а девушки восхищались и любили. Но мне не хватило храбрости и физической силы. И тогда я сам стал любить всех, и сила моя оказалась в этом. Я хочу вам только добра.

— Добрый, как следователь,— покрутил головой раздумавший бить браток.

Сотоварищ покосился на него неодобрительно и как бы невзначай коснулся навороченного креста на соответствующей цепи.

— Вы что... типа странствующего монаха? — на вежливом уровне попытался уразуметь он.— Так мы с церковью... как бы вам сказать... сотрудничаем.

Человек был демонстративно неопасен и необиден. И как-то даже не хотелось наказывать его за то, что без понятия лез не в свое дело. Блаженный идиот... бывает. При том, что в странности его присутствовало что-то диковатое и необъяснимое, а необъяснимость есть род скрытого предостережения.

Фургонов стояло уже четыре, а напротив распахнул все четыре дверцы грязно-розовый «крайслер», и оттуда смотрели четыре смуглых щетинистых лица яв-

но кавказской национальности. Четыре сбоку (ваших нет). Наступал час пик, и плотная пробка ползла по Ленинградке в обоих направлениях.

Уже после кольцевой, ближе к каналу, въезд выглядел так: на ослике, который из почти белого приобрел тот самый серый цвет, который и был наиболее распространен и подобающ ему от природы, сидел долговязый и бородатый молодой человек в измызганном плаще переходящего колера: от кремового ворота к буро-черным полам; за ним ехал полосатый, как зебра или милицкий жезл, «опель» с мигалкой; следом — «БМВ» гигиенических оттенков грязного шоссе, сизо-коричневый «крайслер» с розовой крышей и четыре тридцатитонника на шести осях каждый. Скорость течения дорожного потока позволяла ослику трусить привычным для него шагом. Водители встречного автотранспорта бросали взгляды на нехарактерное средство передвижения.

4

В закоулках у Водного стадиона в щель казенных бетонных заборов вылез зачуханный солдатик. Он послал одинокому всаднику полный зависимости взгляд и вежливым гражданским голосом попросил:

— Простите, пожалуйста, у вас сигареты не найдется?

Шейка у солдатика была, как у балерины, только хуже вымыта. В хэбэ вьелся запах прогорклого кухонного жира. Он колебался на своем скелете, как на вешалке. Припаханный салабон, которого дед погнал за фильтром.

— Здравствуй, воин,— улыбнулся Кирилл и слез с ослика.— Тут мне недавно кое-что подарили... на память о встрече, как раз пора разговориться.— И сделал приглашающий жест на сломанный ящик под деревом.

Из бездонных карманов плаща были извлечены: початая темная склянка «Бейлиса», кусок датского сервелата, сникерс и пачка «Парламента». Солдатик дрогнул кадыком и вздохнул.

— Чтоб легче нам служилось, уж что выпало,— со смыслом произнес Кирилл тост, приветственно приподнимая бутылку, глотнул и передал: — Половина твоя.— Переломил колбасу: — Закусывай.

Потом они покурили, и Кирилл послушал, что кормят впроголодь помоями, а дедовщина, конечно, есть, куда денешься.

— Вот станешь сам стариком, захочешь припахать молодого — вспомни нашу встречу и будь добрым,— пожелал он солдатiku и вытащил ему из пачки пять сигарет. И дал еще на прощание пятьдесят рублей.

5

Ослика он оставил на детской площадке. За гаражами трое малышей лупили четвертого. Судорожно зареванный, он пытался отмахиваться неуклюжими в синем дутом комбинезоне ручонками.

— Сейчас я вас накажу,— ясным голосом предрек Кирилл.

Они задрали головы и остановили движения.

— Вот вам теперь будет! — с подловатой мстительностью закричал обидчикам побитый, отбегая к подъезду. Он воспользовался замешательством исключительно для собственного спасения.— Я все равно все расскажу!

— Я привез тебе в подарок ослика,— сказал Кирилл.

Малыш остановился. Неожиданность подобного известия может поколебать в реальности кого угодно.

Один из драчунов зачем-то потрогал подсохшую царапину на щеке и прошептал, стараясь не шевелить губами:

— Волшебник?.. На осле...

— Маленький, что ли?.. Из цирка...— таким же незаметным шепотом возразил другой.

Невольное и естественное любопытство тянуло приблизиться к симпатичному животному.

Третий, самый наглый и злой даже в эти свои малые года, естественно реагировал на то, что ему этот несуразно-сказочный подарок все равно не светит, и вообще ничего хорошего ему в жизни не светит, если только сам хитростью или си-

лой не добудешь, он это давно понял и другого не ждет, так что, что ни делай — хуже, в общем, все равно не будет, — этот с развязностью сказал, пытаясь держаться как равный и даже свысока (ну и чего ты мне сделаешь? я тебя не боюсь), — будущий лидер одной из бесчисленных московских группировок:

— Ты что, артист? А сюда чего приехал?

— Сделать вашу жизнь хорошей, — улыбнулся Кирилл.

— Сейчас. Это как? — с насмешкой и подозрительностью спросил лидер.

Кирилл с показным сокрушением покачал головой и обратился к обиженному, готовому чуть что юркнуть в подъезд:

— Если тебя ударят по одной щеке — не бойся, подставляй другую.

— Еще-о чего! — изумился самый маленький, прикрывая оцарапанную щеку. Оскорбители звонко засмеялись.

— Понял? А ну подставляй! — сделал угрожающий шаг к подъезду лидер. Жертва присохла к месту и раскрыла рот квадратиком, готовая вопить.

— И тогда ты всегда будешь торжествовать над врагами, — продолжил Кирилл, взял ослика в повод и подвел к малышу. — Это тебе. Держи, ну.

Мальш ахнул, пискнул и засветился. Мир исчез. Ослик был живой, настоящий, он дышал теплом и помаргивал.

— Мне мама... не разрешит... — умер он от отчаяния и вернулся в действительность.

— Разрешит, — успокоил Кирилл. — Он будет жить у вас на даче.

— Филиппка, бери! — закричали сзади.

— Давайте я возьму! Мне разрешат! — поспешно предложил другой.

— У них нет дачи, — глумливо известил лидер, рассчитанно уязвляя.

— Лучше мне дайте! Ему все равно не разрешат! — готовно и без надежды на седал доброволец.

— А ты, Вован, не лезь! Не тебе дают! — прониклись справедливостью двое других. — Может, он родственник. Понял?

— А что он ест?

— Сено, дурак!

— Сам дурак, это не лошадь, он ест морковку.

Кирилл воспитующим тоном поведал:

— А если бы вы были друзьями, это был бы ваш общий ослик. А кроме того, это ослица, у нее будут ослята, и у каждого скоро был бы свой собственный ослик.

Дети помолчали. Условие выглядело слишком нежизненным и набившим оскомину, чтобы перспектива казалась правдоподобной.

— А что для этого нужно делать? — через силу спросил наконец ослюбивый Вован, глядя под ноги.

— Любить друг друга, — пояснил Кирилл.

Лидер перевел сентенцию на современный русский, и он поперхнулся.

— Заткнись, козел! — сказал Вован. — Чего? Что слышал. Да не лезь ты! Не драться, да... не жадничать... да?

— И не ябедничать!

Кирилл записал на пустой сигаретной пачке номер воображаемого мобильного телефона.

— Ты цифры знаешь? Спрячь. Вот: если Филиппок мне позвонит и пожалуется, я приеду снова и...

— Накажете?

— Отберете?

— Тогда узнаете, но лучше не надо. А теперь первой покатайте эту девочку. Как тебя зовут? Катя? Давай-ка я тебя посажу, Катя. Слезешь? А вон на тот ящик, с него удобно.

Когда мама Филиппка открыла на звонок дверь и увидела на площадке девятого этажа сына, держащего за повод грязноватого живого осла, она, естественно, лишилась дара речи.

День был весенний и грязный. На бульваре выгуливали собак. Двое ну вовсе молодых людей, похожих на проникшихся идеей десятиклассников, благодетельно

сунули Кириллу брошюру «Путь к спасению». Дешевая серая обложка была украшена патриаршим крестом.

— Спасибо,— деликатно отказался Кирилл.— Простите, у меня собственный взгляд на этот предмет.— Он всячески старался не обидеть юношей в их лучших намерениях и религиозных чувствах.

Адепты настаивали с превосходством посвященных.

— Вы прочтите и многое поймете,— убеждал доброжелатель в сереньком пальто. Неколебимая убежденность его тона словно покоилась где-то на горней твердыне и раздражающе контрастировала с инкубаторским личиком потребителя паракультуры.

— О чем вы?..— поморщился Кирилл. И застонал, сорвался: — О чем вы? Вы что, считаете себя последователями Христа?! Что, хоть кто-то из тех, кто нес в мир христианство ценой своей жизни, носил шитые золотом одеяния? Или строил забитые золотом храмы? Или молился изображениям, нарисованным красками на досках? Это же та церковь, которая веками благословляла оружие своих государств! И молилась за благоденствие кровососов-правителей. Собирала с простых людей налоги и пожертвования и ставляла себе богатство. Жгла инакомыслящих, продавала должности и отпускала грехи за деньги. Церковь объявила себя посреднической фирмой между людьми и Богом... бестолочи вы! Дилеры, супервайзеры, рекламщики... идиоты. А сегодня русская православная церковь — один из крупнейших в стране торговцев табаком и алкоголем, выхлопотала себе налоговые льготы, учредила фирмы и зарабатывает миллионы на ввозимой водке и сигаретах! А вы — стадо заблудшее: вам что в комсомол, что в церковь — лишь бы строим и с песней. Подите прочь, безмозглые торговцы!

И он выбил из рук того, который был молчалив и прыщав, большую кружку для пожертвований с прорезью и замочком. Кружка упала в лужу. С неожиданной ловкостью и прытью прыщавый сборщик пожертвований ударил Кирилла в ухо.

Татарин-дворник перестал шаркать метлой по дорожке, посмотрел на осквернителей своей территории с ненавистью и стал злобно дуть в свисток.

— А ну нечего тут безобразничать! — Нарушители были несерьезны, власть его.— Пошли отсюда! Верующие люди так себя не ведут.

Стриженный качок с бультерьером на поводке посоветовал:

— А ты не суйся... мусульманин!..

Двое чеченцев, мирно отдохавших на лавочке, как бронепоезд на запасном пути, прервали свою беседу и перешли на русский:

— Тебе не нравятся мусульмане, братан? — вкрадчиво спросили они, показывая готовность встать.

Пузырчатое кипение внутри Кирилла ударило через край и польхнуло перед глазами розовым и зыбким.

— Во-он отсюда!!! — заорал он на юных распространителей религиозной литературы, еще недавно бывшей опиумом для народа. Исказившееся лицо подергивалось нешуточным чувством. Десятиклассники почли за благо удалиться по возможности независимо, оглядываясь на шум начавшейся свары. Из притормозившего «газона» лениво следил милиционер, оценивая, есть ли смысл вмешаться: сулит ли ему это какие выгоды, и не перевешивают ли их возможные хлопоты или даже неприятности?

7

Само собой, он должен был устроиться в школу. Тут сложностей не предвиделось: зарплаты ниже прокорма, и те затягивают, все разбегаются.

Ближайшая голубела тут же, за оградой и голыми деревьями, — ностальгическая архитектура мажорных пятилеток, сплошные ряды высоких оконных переплетов.

Плащ перекинул через руку чистой подкладкой наружу.

— Своих учителей девать некуда, голубчик...— вздохнул директор, даже не интересуясь дипломом.— Рождаемость... Классы сводим. Все трясутся доработать до пенсии, о чем вы...

Кирилл растерялся. План дал трещину глупо и некстати. Ночлега и знакомых не было. Портрет президента над директорским столом пронзал печальным взором спецслужбиста.

Но — проблеснуло неожиданно. В школе обнаружилась вакансия дворника и по совместительству кочегара. Прежний выпил чего-то ценой в соответствие зарплате, и волшебный эликсир перенес его в то дальше зарубежье, где всеобщая безработица есть синоним вечного счастья.

— Один кочегар на четыре ставки не справляется... — раскладывал огорчение по деталям директор. — Всё старьё, на угле, женщину на тачку не возмешь... А дворником — работать надо, зимой каждый день территорию убирать. Если вам это подходит — то считайте, что повезло: вовремя.

Улыбка кандидата была сочтена за туманное пренебрежение.

— Служебная жилплощадь, — подсластил он. — У вас с жилплощадью как? Лимитная прописка. Да, вы москвич? Решайте. У нас учительницы по совместительству уборщицами работают, еще спорят за эти ставки. Полы протерла — и как за пять уроков... никаких тебе проверок тетрадей и нервотрепки.

Старомодные часы с маятником в форме серпа захрипели и бомкнули.

В коридоре загрехотало и захлопало.

— Когда приступать? — спросил Кирилл.

Директор пожал плечами, сумев вложить в этот неопределенный жест одобрительное и даже дружеское выражение.

— Как обычно — вчера.

— Но в таком случае у меня к вам есть и еще одна просьба...

8

Проститутка была тощая, юная и даже милая. Скорее всего она походила на побитую бедными заботами и закаляемую ими же студентку техникума. Дитя рабочей провинции. «Сложение астеническое», — вспомнил Кирилл картинку из учебника анатомии и физиологии. Почему-то казалось, что изо рта у нее уловимо веет ацетоном: не то генетическая предрасположенность к туберкулезу, не то просто специфика обмена веществ.

Спозаранок она шлепала пешком — как оказалось, после неудачной ночи. Сначала спросила сигарету, потом напросилась на чашку кофе — «согреться».

— Согрелась, — пробурчал Кирилл, снимая ее с колен. С ней хотелось не столько заниматься сексом, сколько плакать. Взять даже немножко денег за просто так у дворника она отказывалась: не позволяли совесть и профессиональная этика, как она отрезала в прямых выражениях.

— А чего это ты такой добрый с б...? — спросила она. — Ты сектант или импотент?

— Не называй себя так, — попросил Кирилл.

— Ути, какие мы деликатные, — презрительно сюсюкнула она. — А как тебе хочется? Платная девушка? Путана? Ночная бабочка? Жрица любви? Какой культурный дворник!

— Ты просто бедный ребенок, которому хочется человеческой жизни. А жизни нет. Давай лучше подумаем, чем я могу тебе помочь.

— Ой, — протянула она, — сейчас я заплачу. Помочь! Трахнуть и заплатить.

Она нашла в чашке на полке семечки и стала лузгать. Весенний рассвет бил сквозь зарешеченное, как в камере, окошечко дворницкой под потолком. Время года, суток и освещение решительно настраивали на бодрый лад.

— Ни в ежа, ни в ерша, ни в рогатую кошку, — посочувствовал Кирилл. — Да не ерпенься ты так! Ты же очень хорошая на самом деле. И сама знаешь, что в конце концов все у тебя будет хорошо.

Она брызнула шелухой и показала ему кукиш.

— Не люблю чокнутых, — объяснила она.

9

А просьба к директору заключалась в организации философского кружка.

— Поскольку вообще-то я думаю о преподавании, — изложил Кирилл, — можно, пока ставок нет, вести хотя бы кружок? Бесплатно, — поспешно добавил он.

Из слов «философский» и «бесплатно» директор обратил внимание на второе.

— Бесплатно? — переспросил он с сомнением. — Ну почему же нельзя! Бесплатно можно. Очень хорошо! — И хлопнул Кирилла по плечу. — Если, конечно, наши современные детки в свое свободное время станут к вам ходить...

Вопреки опасениям директора народу собиралось до дюжины. Ребятки отнюдь не были так тупы и меркантильны, как любят пожаловаться бестолочи из «поколения отцов».

Как всегда свойственно жаждущей молодости, они хотели знать — но чтоб те знания имели отношение к смыслу жизни: вранье, что знания сегодня не в цене и не в чести, все больше сводясь к тому, как сделать деньги.

Еще больше они хотели верить — но вот насчет верить проблем было еще больше: что ни месяц телевизор оповещает о новых открытиях, и каждое все глубже располагает к разочарованию, безнадежности и цинизму: все врут, все продажны, вместо перспективы — альтернатива: податься в волки — или в бараны. Сильный зол, добрый бесправен. Умный — сволочь, хороший — глуп.

— Почему же они наверху все такие шкуры, Кирилл Андреевич?

— А вы что, собрались к депутаты? Нас здесь с вами не интересует карьера, правда? Нас интересует гораздо более важная вещь: как устроен этот мир и как быть в нем счастливым. Вот к этому и сводится философия.

Больше всего фокусники и философы опасаются детей. Устами младенцев глаголет голый король. Лапша не держится на ушах.

— А самые мудрые философы были счастливы, Кирилл Андреевич?

— Да! Но не так, как самые сытые и богатые. Их счастье было в том, что они знали и поняли все, что можно. А это кайф, дети!

10

— Расскажите, что же привело вас сюда? — спросил Познер, телезвезда и ведущий передачи «Человек в маске», своим обаятельным, с ноткой всепонимающей печали голосом. Голос был добр, но внутри этой доброты можно было различить несогласие со всем на свете.

«Интересно, это у него баритональный тенор или тенорный баритон?» — подумал Кирилл.

Под маской было душно. Высокий стул с прямой спинкой и подлокотниками напоминал электрический. Студия быстро накалялась слепящими лампами, и закрытое лицо вспотело. Ряды зрителей терялись за подсветкой. Обстановку трудно было назвать комфортной для раскрытия души. Зато рейтинг передачи был высок, и сейчас Кириллу готовы были внимать миллионы.

— Я должен сказать всем истину, которая покажется им неприятной, — сипло выговорил он и откашлялся. Присадку для изменения голоса он отверг за ненужностью, но все равно из-под маски и через микрофон звучало странно.

— Человечество только и делает, что выслушивает от всевозможных пророков неприятные истины, — легко подхватил Познер в свой микрофон, присаживаясь на краешек высокого табурета. — Почему же ваша истина такова, что вы решились скрыть свое лицо от тех, к кому обращаетесь?

— Потому что нет пророка в своем отечестве, а под маской я перестаю быть человеком и превращаюсь... как бы... в персонаж античного театра, носителя конкретной идеи.

— Вот как! — кивнул Познер и подался вперед, прошелся. — И какова же идея?

— Дело не в том, что мы грешим. Дело в том, что часть своих желаний и поступков мы всегда определяем как греховные. Суть не в том, что нам свойствен грех. Суть в том, что нам свойственна особенность, потребность ощущать себя в чем-то греховными. Вы понимаете? Первичен не грех. Ни один поступок, ни одна мысль сами по себе не могут быть греховны. Они становятся греховными тогда, когда наша потребность в греховности определяет — а вернее сказать, назначает — какие-то мысли и поступки как точки приложения себя, области реализации себя. А почему? А потому, что человек всегда неудовлетворен этим миром. А мир для него — представление внутри него самого. И он неудовлетворен собой. Почему? Потому, что он энергоизбыточен. Он по природе своей изменитель. Он всегда имеет идеал. Идеал означает, что реальность недостаточна хороша, недостаточно правильна, требует изменения. Грех — это ножницы

между идеалом и реальностью, и только. А поскольку идеал как противопоставление реальности недостижим в принципе, как горизонт, то понятие греха всего лишь обозначает, что наш удел — вечное преобразование мира. Вы понимаете?

— Пока я не понимаю — и аудитория, кажется, тоже. Итак, вы отрицаете понятие греха? Ну и что же? Были и такие теории.

— Вы ошибаетесь. Таких теорий не было. Хотя понятие греха действительно некоторые отрицали. Но с других позиций. Хотя это — частность, главное не в этом.

— А в чем же?

— Почему человек не живет по уму? — задал вопрос Кирилл и начал успокаиваться, чувствуя, что сейчас начнет говорить главное — просто, ясно и неотразимо. Вот он — миг, час, его звездный час, ради которого он явился на свет. — Почему живет не по совести и не по добру? Воюет, жадничает, губит жизнь из-за ерунды и так далее, а теперь вообще может всю жизнь на Земле уничтожить.

Вот главный, отправной вопрос: почему человек сплошь и рядом, добровольно, по собственному выбору, понимая смысл и последствия своих поступков, поступает себе же во вред? И знает — а делает: вот хочется — и все, сил нет отказаться. И говорит себе: здоровьем заплачу, счастьем, жизнью, благополучием близких, — но сделаю: весь смысл жизни для меня сейчас в этом, без этого ничего мне не надо.

Это карьера, это сражение, это выбор партнера в любви, это погоня за богатством и славой, это следование порокам, от которых вроде бы можно и отказаться, ну типа игры или курения.

Проще всего ответить: это его Дьявол подталкивает. Это самый простой ответ, который ничего не объясняет. Дополнительная вводная, вроде постоянной Планка. Дьявол — это этикетка, которую удобно наклеить на все, что представляется плохим и неправильным. Греховным. Налепил этикетку — и успокоился. Как говорят турки: «Главное — дать происходящему имя, а там хоть ковер из мечети выноси».

— Если сейчас вы скажете о вечности двух начал — Добра и Зла — и вечности борьбы между ними, то это, в общем, манихейство, — сказал Познер, и Кирилл был приятно удивлен его образованностью. — Пророк Мани умер в тюрьме полторы тысячи лет назад, и вам нет никакого смысла страдать за его учение. Действительно, оно веками вызывало в мире сильный резонанс. Если у вас есть ваша собственная теория, оригинальная, то давайте изложите нам ее. В чем же она, ваша истина?

— Хорошо, — сказал Кирилл. — То, что я вам сейчас буду говорить, до меня не говорил никто. Это последняя философская система уходящего тысячелетия. Универсальная и всеобъемлющая. Кстати, в русской культуре первая вообще.

Многие частности покажутся вам знакомыми. Иначе быть не может. Любой философ знаком с предшественниками, черпает у них что может, переосмысливает и идет дальше. Не путать с компиляцией или тем более с плагиатом.

Все мы стоим на плечах гигантов, но не все при этом карлики. Никто до меня не сводил воедино все, о чем я скажу. Никто не рассматривал все в мире и человеке воедино с такой точки зрения. Никто не приходил к таким выводам — как частным, так и результирующему.

Итак? Поехали.

Мы говорили, что часто человек поступает как бы во вред себе. Сознывая это! В чем дело?

Все поступки человека определяются его стремлением к ощущениям. Как положительным — так и отрицательным! Ему потребны и те, и другие! Субъективно жизнь человека есть сумма ощущений. Заметьте — такая точка зрения уже высказывалась, но: далеко идущих выводов из этого никто не делал, и со всем мирозданием никто не увязывал. Почему-то.

Давайте для простоты я буду как бы перечислять. Как бы по тезисам.

Первое. Каждый человек знает, что ему надо для счастья. Богатство, здоровье, любовь, слава и так далее. И почему-то *что-то* ему вечно мешает поступать так, как надо бы для достижения этого. Пьет, курит, губит планету, не женится на любимых: то ему совесть мешает, то вспыльчивость, то свободой своей дорожит, то сиюминутным искушениям следует. А самое смешное — самые богатые, знаменитые и любимые совсем не самые счастливые. Почему?

Второе. Что для человека главное? Он перечислит то, о чем мы только что говорили. Деньги, любовь, здоровье, слава и так далее. Это для него — атрибуты и синонимы счастья. Это главное. А так ли? Жизнь наша — сплошное прошлое, настоящее — лишь тут же отходящий в прошлое миг. И вот когда человек вспоминает главное в своем прошлом — лучше, ярче, яснее помнится не то, что связано с главным в жизни и карьере, а как бы мелочи неожиданные, и еще — миги главных душевных напряжений, миги наибольшего обострения всех чувств. Смерть подо всем черту подводит — и главным оказывается в основном не то, что человек раньше думал.

Третье. Главным оказываются максимальные ощущения. Максимальные напряжения чувств. Война, любовь, тот труд, когда жилы рвал. Но не только, а еще — на рыбалке в тихую воду смотрел, с другом детства за бутылкой курил. Сила ощущений не зависит прямо от действий, которыми ощущения вызваны, иногда действий и вовсе нет, а просто хорошо, или плохо, или даже неважно как, а просто все чувства обострены, и в память это западает. Вот это для человека на самом деле и главное.

Четвертое. Счастье не во внешних обстоятельствах, а в нашем внутреннем состоянии. И, значит, для достижения счастья надо не гнаться за внешними обстоятельствами, а приводить свой внутренний мир в такое состояние, чтоб быть счастливым. Ни от чего. От всего. Небо голубое, дышится приятно, не болит ничего и вообще кайф. Буддизм, грубо говоря.

Пятое. Тогда — пошли все в буддисты или наркоманы. Кайф. И не надо пуп рвать. Нюхнул, вколол, накатил — и счастлив. Млеешь. Просветляешься. По сказочным мирам путешествуешь. Некоторые так и делают. Так почему не все?

Шестое. А потому, что для этого оказывается ненужным очень многое, что есть у человека. Ум. Физические силы. Воля, характер, энергия. Быть счастливым и без этого можно. Жми лапой педальку и замыкай электроды в центре наслаждения в мозгу. Да такая крыса счастливее трудяги-пахаря. Почему все не идем в крысы? В наркоманы? Почему большинство хочет думать и действовать?

Седьмое. Потому что самый сильный инстинкт — это вообще инстинкт жизни. Жить хочца! Да, но жизнь — это ощущения? Буддист, наркоман, фанат компьютерных игр — это ощущатель. А трудяга-пахарь — это действитель. А жить — это значит не только ощущать. Жить — это значит действовать. Нам на фиг не надо горы переворачивать, и так жить можно. Можно? Нам — нет. Инстинкт жизни заставляет действовать. Чем больше гор свернул — тем полнее твой инстинкт жизни себя реализовал. А этот инстинкт — база твоего всего.

Восьмое. *Человек — это двухуровневая система.* Он существует одновременно, диалектически в двух уровнях: уровень ощущений и уровень действий. С точки зрения человека как субъекта, его жизнь — сумма ощущений. И инстинкт жизни велит наощущать за жизнь как можно больше всего, хорошего и плохого, всякого, — это и есть жить. А с точки зрения человека как объекта, стороннего предмета, части Вселенной, жизнь его — это сумма действий. Чем больше всего за жизнь переделал — тем больше прожил, тем полнее твой инстинкт жизни себя реализовал. Человек стремится не только к максимальным ощущениям — он стремится к максимальным действиям.

Девятое. Но мы говорили, что максимальные ощущения возможны без максимальных действий. Так на фига нам действия? Мы горы сворачиваем не потому, что Бог дневную норму задал, а потому, что хотим своих личных целей достичь, своим собственным желаниям следуем. И других кнутом и автоматом заставить пытаемся наши желания выполнять. Мы же утверждаем, что мы разумные — так на фига мы пуп рвем и себя, и планету гробим?

Десятое. Это заблуждение, что от природы нам дан разум. А куда девается разум у младенцев, которые были похищены волками и вообще животными, у этих маугли? Таких случаев описаны сотни. Возвращают десятилетнего ребенка в людское общество — а он уже навсегда животное. Не разумнее шимпанзе. Скелет нам — дан. Мышцы — даны. Обмен веществ — дан. А разум — тут тоньше. *Нам дан не разум, а только способность к разуму.* Она может быть реализована, а может и нет.

Одиннадцатое. Маугли и Тарзан могут то, чего нормальный человек и даже чемпион мира по акробатике, туризму и бегу на четвереньках не может. Они спят в холоде, переваривают сырое мясо и развивают нечеловеческие усилия

при беге или лазанье по деревьям. Словно их психическая энергия пошла не в ум, а в выведение физических возможностей за человеческие пределы.

Двенадцатое. Почему человек, без клыков, когтей и шерсти, стал царем природы? Умный? А много ли ума надо в Полинезии бананы рвать? Или в степи коренья выкапывать? Рассмотрим чисто физический аспект. Человек переносит такие перепады температуры, давления, влажности, периоды голода и жажды, которые в комплексе ни одно животное не перенесет. Сдохнет. Спросите биологов и работников зоопарков. У человека чисто физическая способность к адаптации выше, чем у любого животного. А это значит, милые мои, что инстинкт жизни в человеке присутствует в большей степени, чем в любом животном. Жизни в нем больше, понимаете? А что такое жизнь?

Тринадцатое. А жизнь в первую очередь — это изменение. Изменение системы «я — окружающий мир». А можно сказать иначе: жизнь — это энергия. Что такое энергия? Это способность к производству какой-либо работы, действий, изменений. Человек более энергичен, чем любое животное. Зачем Робинзон бесконечно совершенствует свое хозяйство, если и так уже выжил, и неплохо? Зачем человек изобретает все новую дрянь, если и со старой жить можно? А — энергичен! Мир переделывает.

Четырнадцатое. Инструменталисты рассматривают разум как продолжение руки. Плуг изобрести, порох, автомобиль — и увеличить свои физические возможности. Но не отвечают на вопрос, на хрена человеку это нужно и почему ему это хочется. Не так все просто. Разум — это трансмиссия, проводник, двухсторонний декодер между чувствами и действиями. Благодаря разуму человек чувствует всего всякого много больше животного, причем по поводам, которые сам изобрел. Электромагнитные волны проходят в воздухе, изменяются в ящике, складываются в звуки и изображение — и человек балдеет от того, что футбольная команда на другом континенте вкатила кожаный шар меж двух жердей. Орет, прыгает! Посредством разума мы массу действий, не имеющих ни малейшего практического, выживательного значения, переводим в сильные положительные и отрицательные ощущения. А ощущения — в действия, в свою очередь: хочу быть крутым, изобретаю атомную бомбу и убиваю миллион человек.

Пятнадцатое. Человек не стремится к тому, чтобы достичь какого-то идеального положения или построить идеальный мир. Это ему только кажется. Он стремится к тому, чтобы этот мир изменять. Уровень достижения — всегда промежуточный. Идеал как горизонт. *Его интересует уровень изменения.* Постоянно. Тут человек не волен. Запас жизни ему диктует. Повышенная энергетика заставляет действовать. Человек и в античном мире неплохо жил. Пища есть, кров есть, размножаться можно — ну так чего тебе еще надо? Все так называемые человеческие ценности — излишние с точки зрения просто проживания и выживания. «Не хлебом единым» означает: мне мало просто жить. А чего мало? А вот хочу еще чего-нибудь. А что значит «хочу»? Значит — неудовлетворенность ощущаю, желание. Ощущаю! Думаю. Действую. Зачем, почему действую? О, масса причин придумана! Но в основе — ощущение и немотивированное с точки зрения простого проживания желание. Таков путь к действию.

Шестнадцатое. *История человечества — это история все более значительных, капитальных действий.* Разум стал силой геологического порядка, справедливо заметил Вернадский, хотя о том же еще Бэкон говорил. А переделыватель-человек не унимается. Не может. Устроен так. Ибо *жизнь — это: ощущение, осмысление, действие.*

Семнадцатое. Если представить себе, что действия человека становятся все более громадными, причем перспектива — без ограничений, времени у Вселенной впереди полно, — то какое действие можно вообразить себе как самое громадное, предельное, максимальное? Что есть такого, больше чего уже быть не может? Правильно, товарищи. Это переделать всю Вселенную. В идеале — создать Вселенную! Равнобожий поступок. Или — уничтожить Вселенную! По абсолютной величине это одно и то же.

Восемнадцатое. Я завершаю. Объективная, конечная цель человечества — уничтожение нашей Вселенной и одновременно и тем самым создание Новой Вселенной. Вот так с точки зрения Вселенной получается.

Резюме. История Вселенной — это эволюция энергии во все более структурированную материю. Этот процесс как бы материального консервирования

энергии сопутствует ее растущей энтропии. Однако не уравновешивая ее, казалось бы, с механистической точки зрения.

Человек уже научился выделять термоядерную энергию, «законсервированную» в материи. И еще многому научится.

Во Вселенной, кроме энергии, ничего нет, строго говоря. Все формы материи — вид энергии. Энергетический уровень рассмотрения всего — это базовый, основной, фундаментальный уровень.

Человек — это часть совокупного человечества, которое — часть совокупной энергии Вселенной. И в качестве такового имеет свою вселенскую функцию, ибо ничего нефункционального в мире нет и быть не может. Если что-то кажется нам бесполезным — это только потому, что у нас может быть ограниченное представление о пользе и отсутствует видение явления как аспекта общих законов Вселенной.

Живое вещество энергетически выше неживого: в процессе своего существования оно в единицу времени своей массой вносит больше изменений в систему «я — мир», чем любое неживое той же массы в то же время. А человек энергетически выше, качественно выше любого другого живого вещества.

Вы скажете: а звезды, где материя переходит в энергию с такой интенсивностью? Не надо упрощать. Семидесятикилограммовый человек уже сейчас способен превратить в излучение тонны материи при термоядерной реакции. Кстати, о разуме как силе.

Не исключено, что к моменту тепловой смерти Вселенной какое-либо будущее человечество сумеет выделить всю энергию из всей, ставшей косной материи, и часы начнут тикать по-новой.

Что же касается собственно человека, то вкратце так:

Человек стремится к максимальным ощущениям, реализуя заложенный от природы инстинкт жизни. Разум есть оформление избытка энергии человека в ее психическом аспекте. Благодаря этому избытку действия человека становятся все более опосредованными: примитивное осуществление желаний носит все более технически сложный характер со всевозрастающим материальным результатом.

Остается лишь добавить, что предела своих возможностей человек, естественно, не знает. А потому сравнивает собственные достижения с достижениями других. Отсюда потребительское соревнование, ничем в принципе не отличающееся от соревнования в спорте, науке, удали молодецкой и так далее. Мечтая о счастье, человек втягивается в бесконечную гонку карьеры и приобретения: так он мерит для себя степень своей реализации.

Инстинкт жизни. Постигание всего через ощущения. Жизнь как сумма ощущений. Стремление к максимальным ощущениям (для каждого они свои). Мышление как возможность получить ощущения от действий сверх жизненно необходимых. Одновременно мышление как орудие удовлетворения ощущений — совершения действий. Тем самым стремление к максимальным действиям — вплоть до уничтожения и воссоздания Вселенной.

При этом — человек как двухуровневая система. Он объективно, физически реализует себя на уровне действий. А субъективно реализует себя на уровне ощущений — их поиска, добывания, создания, переживания. • Один уровень не может быть понят без полного и всестороннего рассмотрения другого.

Однако время. Спасибо за внимание.

Кирилл перевел дух, слизнул под маской пот с верхней губы (тонкая ткань, которой она была оклеена изнутри, стала мокрой и пахла ацетоном от нитропропитки папье-маше) и посмотрел на часы. Черт, три четверти вырежут! А, хоть этим, что здесь, сказал.

— То есть вы изложили нам некоторые взгляды позитивистского толка, — непринужденно сказал Познер. — И должен вам заметить, что ничего принципиально нового я, мне кажется, не услышал.

— Не услышали, — безнадежно сказал Кирилл. Ему хотелось хватить стулом об пол, чтоб рассыпался, и одновременно хотелось плакать. — Хотя слушали.

— Никто не говорил, что все действия человека и человечества есть стремление к максимальным действиям через максимальные оптимальные ощущения, — сказал он и продолжал быстро и раздраженно: — Никто не говорил, что физический человек имеет самый большой из живых существ ресурс выживаемости.

Никто не говорил, что человек обладает от природы не разумом, но лишь способностью к разуму.

Никто не говорил, что разум есть оформление избытка психической энер-

гии человека. Которая есть аспект его общей повышенной, по сравнению с прочими животными, энергетика.

Никто не говорил, что именно повышенная энергетика есть коренное отличие человека от прочих живых.

Никто не говорил, что человек выделился из прочих живых, когда овладел огнем. Присоединил к своей энергии энергию вещества планеты. А до того: и волки отлично организованы для охоты, и обезьяны пользуются орудиями, и дельфины имеют праязык из сотен сигналов.

Никто не говорил, что история человечества — это история энергопреобразования вещества Земли, история совершения все больших преобразующих действий на планете.

Никто не говорил, что разум есть двухсторонний декодер между ощущениями и действиями и посредством разума можно получать массу ощущений, невозможных непосредственно органами чувств.

Никто не говорил, что стремление к свободе есть проявление второго закона термодинамики: стремление к такому положению, при котором можно выделять максимум энергии — что хочешь, все то и можешь. Стремление к конечному абсолютному покою через выделение всей обладаемой тобою энергии. Никто не видел в святом и воспетом стремлении к свободе соответствие общим законам физики мира.

И никто не сказал — о да, конечно, сделаем оговорку: с материалистической точки зрения — хрен ли делает человек во Вселенной, на фиг нужен? Был или идеализм, или антропоцентризм. Даже странно, правда?

И никто не увязывал экзистенс с материалистической Вселенной. Не проводил линии от мечты о счастье до Большого Взрыва. И не рассматривал все сущее на той единой базе, что я.

И никто не говорил, что человечество не может погибнуть, пока не выполнит это свое предназначение!

А вы, безграмотные тупицы, слегка знакомые с институтским учебником философии и эрзацем для умственно бедных с фабрики Кастанеды, морочите мне мозги и пытаетесь снисходительно похлопывать по плечу. А мудрыми называете тех, чьи умственные способности сродни вашим.

Я пришел сюда, чтобы открыть вам истину, а не для того, чтобы дискутировать с вами. И подавитесь этой маской, которую вы норовите натянуть на меня в дурацкой передаче о вашей дурацкой жизни!..

Потом говорили психолог, социолог и двое из зрителей.

— Вы не хотите снять маску?

— Не могу! Вы слушаете лишь тех, кто в масках. Прочих вы считаете равными себе.

Уйти он сумел хотя со скандалом, но без милиции. Было понятно, что выход передачи в эфир, даже в сильно урезанном виде, крайне проблематичен. А что делать?.. Сказать-то надо было.

— Достаточно, если поймут немногие,— бормотал он под нос, бредя ночной улицей под дождем — дождь был весенний, теплый.— Достаточно, если один. Достаточно, если ни одного...

Последний вечер философского кружка прошел печально. Из пустого класса спустились в дворницкую. Ненадолго Кирилл оставил гостей, пошуровал огонь в кочегарке и набросал поверх побольше угля. Прикрыл поддувало. До утра будет рдеть, тлеть, греть, гореть. Тепло уже. Весна.

Тахты, скамьи, двух стульев и табуретки почти хватило. Двое уселись на полу, с видом удобства скрестив ноги.

— Через сорок минут затекут,— предупредил Кирилл,— проверено. Но нам, наверное, хватит.

Достал из шкафчика три бутылки дешевого вина и развел красную струю по одноразовым стаканчикам из мутного пластика. Поить школьников водкой представлялось непедагогичным. На закуску оказалась чья-то булочка.

— Что вы так резко уходите, Кирилл Андреевич? — были вздохи.— Скучно без вас будет.

— А что ж ему, так дворником и упираться? Конечно, вам надо в институте преподавать.

Кирилл поднял стаканчик и через силу подмигнул:

— Ну — за все хорошее, господа ученики! А на будущее — не думайте, что если вы умные, так вас будут понимать. Или вообще слушать. Давно и не нами сказано: истину вообще нельзя сказать так, чтоб ее поняли...

— А что же делать?

— Ну есть продолжение этой фразы: «...ее можно только сказать так, чтобы в нее поверили».

Было молчание, подобающее моменту, и дюжина пар глаз, и колеблющийся огонек свечи, зажженной для интима, и сигаретный дым, и смутные мысли о разном. Хорошо, грустно, подобающе. Потом один спросил:

— А как это сделать? Чтобы поверили.

— Ну... Пока не распнут — не поверят.

— Не очень веселая перспектива.

— Ну... дело такое.

12

Пластит был давно куплен в Крыму. Не нужен стальной капкан вместо ума, чтобы сообразить: пластиковая взрывчатка удобнее прочих для подводных диверсий, а учебные базы боевых пловцов не могут не быть на Черном море. И поскольку Украина беднее России, украинские вояки за те же деньги более стоворчивы и продажны. Найти по каталогу в библиотеке пару книг о героях морских глубин проще простого. Почерпнутая информация позволяла, не вдаваясь в военные тайны, выдавать себя нечаянными деталями за «боевого тюленя», списанного по здоровью. Бутылка горилки безотказна в качестве универсального средства для завязывания дружбы; самостийной мовы с кореша не требовали, моряк моряку все-таки моряк. Стрижка, кожа, адидас и золотая цепь превращают вас в братка, а принадлежность к братве объясняет интерес самым простым и естественным образом. Чего ж логичнее: братку взрывчатка нужна, дело житейское. Пластит гринями, и никого ничего не касается. Лукавый и откормленный сундук-мичман с поседа новскими трезубцами на петлицах решил все проблемы Кирилла за штуку. Сумасшедшие это бабки для простого украинского моряка, столько флот платил бы офицеру за год, если бы платил. Не удаляясь от Севастополя, Кирилл и нарыл таким образом четырехкилограммовую упаковку пластика, моток детонирующего шнура, пару метров бикфордова и коробочку с шестью детонаторами. Делов-то. Люди ранцевые ракеты грузовиками покупают.

Черную «Поваренную книгу анархиста» он приобрел с лотка на трех вокзалах...

Теперь и настал черед этого припаса.

Однако любая диверсионная акция требует, кроме средств исполнения, операцию прикрытия. В пестрой толчее Старого Арбата он отыскал среди сувениров десяток флаг-вымпелов со славянской вязью по алому «Москва — любовь моя!», а на грязных задах Киевского рынка разжился у алкашей стираной спецовкой, кусачками и брезентовой сумкой для инструментов. Коричневые корочки с серебряной надписью «Муниципальная служба» продавались со столика всевозможных удостоверений возле «Арбатской». Напечатать вкладыш было несложно прямо на школьном компьютере.

В канцтоварах он выбрал гербастые (почему-то, но кстати) бланки нарядов на проведение работ. Ну а уж печать в любой мастерской вам без бюрократической волокиты сделают любую, если это только не министерство или Центробанк.

Еще нужна была раздвижная стремянка. И часов в восемь утра следовало поймать фургончик, «москвич»-каблучок лучше всего: на таких и ездят сантехники, дежурные электрики и прочие телефонисты и мелкие аварийщики.

В итоге к хилому слагбауму, перегораживающему узкий проезд Болотной набережной позди кондитерской фабрики «Красный Октябрь», подкатил в меру раздолбаный служебный автомобильчик. Работяга предъявил зевающему вахтеру не вызывающие подозрений бумажки, матерно поворчал насчет формальностей и отправился выписывать пропуск. Май близится, вот и флаги.

Кирилл вскинул на одно плечо стремянку, на другое сумку с инструментами и, рея на речном ветру любовью к Москве, как балет «Красный мак», двинулся к Истукану. В вышине бронзовый Гулливер запутался между парусов, вантов и штурвалов, как Авессалом в ветвях. Из этого положения он усталился в сторону Лужников и Университета, как бы грозя проконтролировать развлечение и обучение одновременно.

Кирилл раздвинул стремянку у подножия монумента и поднялся. Пластит был заблаговременно раскатан в колбаски, облепившие через равные промежутки детонирующий шнур. Колбаски были вкруговую прихвачены суровой нитью к изнанке верхнего края вымпелов. Кирилл горизонтально прилепил к бронзе колбаску, прикрытую вымпелом, на высоте метров двух с половиной. Для надежности прихватил шнур скотчем — бронзу пришлось протирать от пыльного налета, чтоб толком приклеилось. Он учел даже это — полил тряпку бензином для зажигалок. А пластит лип к чему угодно, колбаски пришлось бережно разъединять.

Держа и разматывая аккуратно свернутую в кольцо гирлянду, спустился и одной рукой передвинул лесенку вбок. Поднялся и повторил процедуру.

Через пять минут гигантский витиеватый столб монумента был украшен снизу кольцом алых с золотом стягов. На его фоне они смотрелись мелко и весело, как новогодние флажки на елке. Ветер мял и разбирал буквы насчет любви к Москве.

Детонирующий шнур горит со скоростью две с половиной тысячи метров в секунду. Горение с такой скоростью называется взрывом. Он обеспечивает одновременный подрыв соединенных зарядов. Скрытые вымпелами заряды прочеркивали металл ровным пунктиром.

Мощность четырех килограммов пластита соответствует мощности восьмидюймового снаряда морского орудия, проламывающего броневую палубу линкора.

Закончив работу, Кирилл закурил, глубоко затянулся и прижал огонек сигареты к обрезу бикфордова шнура. Шнур тихо и ровно зашипел, и бело-красное колечко уползло в глубь металлической оплетки от душевого шланга. Это маскировочное приспособление было также окрашено в революционный майский цвет и закреплено вкруговую под флажками. Два метра сорок сантиметров, пара шлангов соединена пропущенным внутри шнуром. И не видно.

Бикфордов шнур горит в любых условиях с неизменной скоростью один сантиметр в секунду. Погасить его невозможно. Ему все равно, в воде гореть или в песке. В воздухе для горения он не нуждается, окислитель содержится в самом материале. До детонатора, вмятого в пластит, ему полагалось догореть ровно за четыре минуты.

Пятачок был пустынным, закрытым. Здесь никто не ходил. Что и требовалось. Кирилл спрыгнул вниз и, оставив барахло, не слишком быстро зашагал к машине за шлагбаумом.

— А инструменты? — спросил водитель.

— Все равно вернуться придется, — сказал Кирилл.

— Так сопрут же, — хмыкнул водитель и дал задний.

— Вряд ли, — сказал Кирилл.

Он вышел на мосту, перед светофором на Большую Полянку, расплатившись и ничего не объясняя. Приблизился к перилам, вздернул рукав над часами и зачем-то плюнул в мутную воду. Секундной стрелке оставалось еще пол-оборота. Монумент был почти закрыт уродливым темно-бурым коробом «Красного Октября».

Металлический ветвистый кактус, порождение горячечного сна гиганта, слегка подпрыгнул и косовато завис в воздухе. Основанием ему один миг служила вспышка, тут же из белой ставшая воспаленно-розовой, красной, багровой, вскурчавилась пушистым дымком и растаяла. Мост под ногами мягко и тяжело дрогнул. Воздух хлопнул по лицу, как занавес. В уши не то толкнуло, не то кольнуло, и под черепом возник тихий комариный звон.

Монумент очень медленно кренился, рухнул, исчез. Порскнули вдали гранитные крошки ограждения. Два крупных бронзовых обрывка плыли в небе и кувыркались, как подбитые птицы из страшной сказки про Синдбада.

Раздался сравнительно негромкий после взрыва грохот падения.

Острые развернутые язычки металла торчали из основания, как клумба абстракциониста-металлиста.

— Так даже лучше, — с задумчивым удовлетворением сказал Кирилл, слыша свой голос внутри головы, уши оказались заложены.

— Христофор Колумб, — сказал он, — Петру родственником не был и нас не открывал. Что ж это, в самом деле, за уподобление русских туземцам, открытым европейцами? А если ты дикарь, так за себя и отвечай.

Вдали пересыпался звон сползающих по стенам и подоконникам стекол.

— Сладкое вредно, — утешил Кирилл фабрику.

Напоследок зазвенело совсем тихо и мелодично. Выхлестнуло витраж в Храме Христа Спасителя.

Тогда загудели машины и раздались голоса.

13

— Итак, дубина, ты хотел взорвать храм. — Хозяин кабинета захлопнул пухлое Кирилловское «Дело» и сдернул очки. Глубокая вечерняя тишина ощущалась во всем здании, камнем обьяв огромный в пять окон кабинет. Конная статуя мокла на площади.

— Ну еще бы... — пробормотал Кирилл, переминаясь на ковре, и попытался приличнее пристроить скованные спереди наручниками руки: от гениталий поднял их к груди, но поза образовалась молитвенная, пришлось опустить обратно. — Покушение на устои веры и государства... Да для чего мне это надо? Я никому не враг, господин... товарищ... или — ваше превосходительство?

— Но повреждения нанесены! — Сидевший пристукнул ладонью.

Кирилл подумал, что лицо лысого толстячка похоже на колобок, не слишком старательно скрывающий в себе взведенный стальной капкан.

— Я понимаю. — Он вложил в голос сердечное сочувствие: — Храм — как бы детище, вот вам и обидно. Так я наоборот. В смысле, — добавил он поспешно, — зачем же такой храм оскорблять таким безобразием?

— А храм, значит, нравится? — переспросил хозяин (не то насмешливо, не то примирительно, не то капкан изготовился щелкнуть).

— Честно говоря, нет.

— Что так?

— Довольно безвкусная коробка. Непропорциональная. Громоздкая. Но стоять, считаю, должен. Все же святилище. Символ.

— Ты, значит, считаешь себя вправе самолично распоряжаться, какое искусство нужно москвичам? А какое — взрывать?!

— Я не самолично...

— А как? Группа? Бандформирование? Или референдум провел, а я и не знал?

— А вам известно, что в народе говорят?

— Мне известно, что в народе говорят, — уверил хозяин кабинета, и тень от лампы накрыла половину лица, как козырек. — Я и сам не аристократ.

— Известно...

— Что ты там бубнишь?

— Что Церетели — большой друг власти и использовал личные связи, чтоб воткнуть своего истукана. Что умеет делать большие бабки и на этом тоже заработал неслабо. Что запахло ставить в столице России памятник, от которого америкашки в Атланте отказались. Да что мы, помойка для их отходов с биг-маками и кока-колой, что ли?

— Ага. Патриот, значит, нашелся.

— Если не я — то кто, если не сейчас — то когда, если не здесь — то где?

— Только без демагогии. А что ты в Останкине нес про конец света? Все у тебя увязано! — Он швырнул по столу кассету — стало быть, с передачей, так пока и не вышедшей.

— Журналисты вас не любят, — брякнул вдруг Кирилл.

— И не должны. Деньги они любят, славу и себя. А должны рыть правду... нужную! И говорить.

— Боятся они вас. И власти вашей. Что против вашей воли много не пикнешь.

— Пикают, пикают... И что бы им еще хотелось пикать?

— Что имеетесь вы со всего в городе. Даже и с книг, и с проститутток, и с мафии.

— Что ж не пишут? Пусть подадут в суд, он разберется. Сорок судов я уже выиграл.

— Говорят, что в Москве крутятся три четверти всех российских денег, вот ее и можно украшать, а по стране жрать нечего, — упрямо сказал Кирилл, вода взглядом по строю телефонов сбоку обширного стола.

— Поэтому то, что мы строим, надо взрывать?

— Да не должно быть так, чтобы народ за свои же деньги получал всякую дрянь против своего желания! Все обирают, все сладко поют, хоть зайки... и все плюют в рожу.

— Хороший бы из тебя шут вышел, — помолчав, улыбнулся хозяин кабинета. — Плевать правду в рожу. Как раньше при дворах, знаешь? И справочку из психушки — индугенцию: сей дурак за свои слова не отвечает.

— Может, я и шут, но за все отвечаю, — мрачно сказал Кирилл.

— Похвально! — Черкнул в настольном календаре. — Значит, так. Ты хороший парень, правдолюбец, правдоискатель и так далее. Но ты согласен, что я не могу допустить, чтоб здесь среди бела дня гремели взрывы, сносились памятники, стекла из храмов вылетали? Согласен?

— Согласен. Каждому свое.

— О! Насчет своего. Что тебе светит — ты знаешь. Когда приговорят — дергаться будет поздно. Я тебе предлагаю следующее. Тебе организуют пресс-конференцию — прямо послезавтра. Ты заявишь о своем полном раскаянии. Расскажешь, как мы с тобой поговорили, ты все понял, осознал... что встреча со мной заставила тебя многое переоценить, взглянуть глубже, и теперь ты так ни за что бы не поступил. Ну там пара благодарных слов — ай, для проформы, — перечислишь, что я сделал для города. Список тебе дадут, прочтешь, выучишь... За это я обещаю тебе помилование.

— Помилование? Мне? За что?

— Ну... Дело отправят на исследование, там проведут повторную психиатрическую экспертизу, признают невменяемым... ерунда. Пару месяцев посидишь почти на санаторном режиме, вредных процедур к тебе применять не будут, позаботимся. Присмотр, кормежка, а там выйдешь тихо, все позабудется. И ступай себе с Богом.

Кирилл мучительно вздохнул.

— То есть: я выступаю вашим сторонником, своим поведением привлекаю к вам симпатии — открываю ваше милосердие, доброту, радение о благе жителей...

— А что, не так? Или, по-твоему, милосердие ходит в слюнявчике? С этим стадом расслабиться не моги. Да они сами друг друга порежут и пожрут! Толпа — как дети, блага не понимает и добра не помнит. У любви к народу, паренек, рука должна быть железная. Короче, выбор у тебя небольшой. Ответ сейчас.

— Да. Душа или жизнь. Так это не выбор.

— Не понял, о чем ты мямлишь. Так договорились?

— Нет, ваше превосходительство. Я скажу на суде все, как есть.

— Что — «все»? Как — «есть»? Кому ты скажешь, дурень? Кто-то услышит что-то новое? Глаза раскроет? Уши прочистит? И что — что-то изменится? Декабрист разбудит Герцена? И что в итоге — ты историю учил?

— Я скажу, что единственный путь быть человеком — это каждому здесь и сейчас делать все по совести и уму.

— Уму. Муму! Знаешь, как это называется? Вялотекущая шизофрения. Тебя действительно в психушку надо. — Толстяк плюнул и подытожил устало: — Несешь детский лепет, а сам с бомбами бегаешь. Ну и подите вы все к черту! Я умываю руки.

Он действительно отворил в дубовой панели позади стола неприметную дверцу в помещение для отдыха, оттуда — в ванную, взял душистый французский «пальмолив» и открыл горячую воду.

Косой серый дождик моросил на Поклонной горе. Асфальт дымился, и пелена подернула контуры дальних высоток.

В прокуренном «рафике» пришлось нудно ждать завершения приготовлений. Кирилл владел собой и выглядел вполне спокойным. Конвоиры, зажавшие его с боков на заднем сиденье, чутко фиксировали любое движение. От колючих волглых шинелей удушливо припахивало псиной.

Крест подвезли на грузовичке с открытой площадкой, на ней торчала колонка портативного подъемного крана. Грузовик остановился возле узкой, колодцем, ямы, намотав на переднее колесо жирную рыжую глину, оплывающую кучей у края.

Двое работяг в брезентовых куртках и касках спрыгнули из кабины. Один застропил крест и махнул. Другой нажал на кнопки маленького черного пульта, соединенного кабелем с краном. Крест косо всплыл в воздух.

Он был бетонный, шероховатый, толщиной с четырехгранную железнодорожную шпалу. Поперечина под верхним концом была в размах рук. Длинный нижний конец стропальщик придержал и направил так, чтобы он полого уперся в край ямы. Перекрестие опустилось аккуратно на ребро платформы. Оба закурили, укрывая сигареты в горсть от дождя, и стали смотреть на «рафик».

Кирилл вздохнул и пошептал.

— Ну пойдете,— просто сказал распорядитель. Он откатил дверцу, выкабалкался, поднял воротник плаща и стал раскрывать зонтик. Зонтик заедало, судя по грубой пластмассовой ручке товар был китайский, дешевый и недолговечный, и распорядитель повозился, закрепляя соскальзывающий упор спиц.

Конвоиры с ненужной силой подхватили Кирилла под мышки и повлекли. Тот, что был повыше и понеуклюжей, наступил сапогом ему на ногу и негромко извинился.

Свежесть и влага оказались приятны. Тонкая водяная взвесь щекотала лицо. Непроизвольные приступы крупной дрожи раздражали, и Кирилл сосредоточился на их подавлении.

— Раздевать? — буднично спросил коренастый конвоир с сержантскими лычками. Сбрызнутое дождем, его лицо запахло гадким цветочным одеколоном. Напарник опять наступил Кириллу на ногу.

Распорядитель поколебался. Одетый живет на кресте дольше, иногда умирает лишь на пятый-шестой день от обезвоживания: муки его растягиваются. Нагой гораздо быстрее теряет сознание от переохладения, и сердце его останавливается: зимой он мучается каких-то несколько часов и засыпает в милосердном забытьи. Правда, летом на него больше истязают комары, но в апреле их еще нет.

— Раздевайте, — сказал он голосом сурового добряка.

— Ну че, сам разденешься, мужик, или помочь?

Кирилл расстегнул плащ, стянул, встряхнул и стал аккуратно складывать, стараясь, чтоб эта невинная и законная оттяжка времени не была чрезмерной и не выглядела трусостью. Положил плащ на край платформы и подумал: начать со свитера или с ботинок? На ботинках можно долго распускать шнурки, зато асфальт мокрый.

Однако касание мокрой пористой поверхности к босым ступням оказалось неожиданно приятным и даже очень приятным. Радость от ощущения жизни, подумал Кирилл.

Из-за ненастья зрителей было немного. Московские пробки и расстояния вообще не способствуют многолюдности подобных зрелищ. Да и пятница — день рабочий. Кто попрется получать сомнительное удовольствие от того, как человека привяжут к перекладине и так оставят? Расстрел или в особенности декapитация вызывали гораздо больше интереса и собирали обширные аудитории, но случались они не так часто.

Переносные трубчатые барьеры ограждали пространство. У прохода скучал наряд ментов в сизых плащ-накидках с нахлобученными капюшонами. Омоновский фургон держался поодаль, оттуда, за явной вялостью церемонии, даже не показывались.

Пяток молодежи с пивными банками из ближайшего павильончика, пара пенсионерок, бомж с сумкой, вислый транспарант «Свободу патриотам нашего города!». Кирилл и не надеялся увидеть здесь кого-нибудь из своих учеников и даже не хотел этого, но мог бы вообще-то хоть один и прийти.

— Вот сюда подойдите.

Его уложили спиной на бетонную балку, наклонно опирающуюся на край платформы грузовичка. Плечи довольно удобно поместились на перекрестии. Руки с силой, грубо развели, растянули и примотали запястья к перекладине нейлоновым бельевым шнуром — плотно, но без рези (чтоб не нарушать кровообращение, подумал Кирилл). Ступни пристроили на предназначенный для них бетонный вы-

ступ («Черт, длинноват. Не выпрямится». — «Все равно обвиснет»), охватили щиколотки в десяток крепких витков.

Врач достал из квадратного дерматинового саквояжа склянку с кристалловой водкой. Там плескалось примерно на стакан.

— На, выпей. — Он внимательно проследил, как Кирилл двигает кадыком, пошуршал в саквояже и сунул ему в рот ломтик соленого огурца. — Зажуй.

Пока все в порядке, хмыкнул Кирилл. Позыв к дрожи исчез: алкоголь не принес тепла или опьянения, просто стало немного удобнее и спокойнее. Только какой-то острый выступ давил в левую почку... но в вертикальном положении это должно исчезнуть. Правда, тогда начнутся другие неудобства. Даже интересно: в этом нет ничего страшного. Абсолютно не верилось, что скоро он начнет испытывать мучения, предшествующие концу — ни от чего, просто вот от такого своего положения. Нет, все-таки российский закон бывает гуманен.

Распорядитель прикурил и воткнул ему в губы сигарету. Совсем неплохая марка — «Золотая Ява». А какая реклама для ТВ пропадает! «Твое последнее желание!» Вообще-то двусмысленно.

Мысль о телевидении оказалась... правильной, потому что распорядитель посмотрел на часы и пробурчал:

— Ну-ну?.. Где они там застряли?.. Вечная морока.

Кирилл дожег сигарету до фильтра, когда к проходу в барьерах подкатила черная «Волга» и фукнула перед тем, как заглушить мотор. Из нее выскочил парень в джинсах и натовской куртке, расставил поданный изнутри треножник и стал держать над ним зонт. Тогда вылез второй, с телекамерой и закрепил ее на штативе. Третий, в костюме с галстуком, переступил перед объективом на фоне креста и поднес ко рту поданный ассистентом микрофон.

— Сегодня в полдень на Поклонной горе состоялась церемония прощания с преступником... Стоп! — сказал он в камеру, откашлялся и молодым, поставленным голосом зачастил сначала: — Сегодня в полдень на Поклонной горе состоялась церемония распятия преступника, который пытался взорвать храм. На встрече присутствовали... стоп! Черт, что это я сегодня! И-и (пауза) — на процедуре присутствовали представители районной администрации, исполнительная группа и, естественно, медицинский контроль. Последнее напутствие осужденному дал представитель московской епархии. Мы попросили осужденного ответить на несколько вопросов нашего канала.

Он замолк и отшагнул в сторону. Оператор снял Кирилла, лежащего на неустановленном кресте. Сюжет был, видимо, рассчитан от силы на минуту, и следовало выхватить основные кадры.

— Ну давайте, давайте, не спать! — одернул распорядитель крановщика со стропалем. Кирилл взмыл в воздух и стал плавно перемещаться к вертикали. Ноги постепенно напряглись, опираясь на выступ.

— Майнай помалу! — скомандовал стропальщик, показывая короткими движениями руки в брезентовой рукавице.

Крест пополз вниз, встал на дно ямы, раз-другой качнулся на тросах и утвердился ровно. Стropальщик махнул и ногой сдвинул в яму камни, лежавшие на краю. Взялся за лопату, воткнув ее в кучу глины. Глина натужно чавкнула, отрываясь.

Когда у основания креста вырос желтый холмик, стропальщик потолкал крест, остался удовлетворен надежностью работы и начал снимать трос.

Приблизился священник в облачении, крупный решительный мужчина с подстриженной бородой. Служка маневрировал над ним большим английским зонтом. Священник раскрыл требник на закладке и без особого выражения загудел молитву.

Оператор снял. Священник закончил. Телекомментатор протер платком свои очки в круглой золоченой оправе и вышел из-под зонта ассистента. Следить за ними сверху было даже интересно.

— Раскаиваетесь ли вы в своем поступке? — спросил телевизионщик, вздел микрофон на штангу и поднял к Кириллу.

— Отнюдь, — ответил Кирилл и остался доволен твердой иронией ответа. Он похвалил себя за то, что заранее купил приличные зеленые плавки, в меру широкие и плотные. Хорош бы он был сейчас в трусах, облепивших интимные места. — Стоило весь огород городить из-за того, чтобы потом передумать.

— А что вам особенно не нравится в... том, что сейчас здесь происходит?

— Экскурсия школьников! — сказал Кирилл сердито и показал подбородком за барьер — там подтянулся класс так примерно четвертый, во главе с учительницей. Девочки благонаравно внимали ее объяснениям, разглядывая его фигуру. В задних рядах мальчишки играли в «жучка». — Совершенно это лишнее, я считаю. Не средневековые все-таки.

— Теперь вы уже можете открыто говорить что угодно.

— А вы?

Телевизионщик пропустил шпильку мимо ушей.

— Является ли скульптор Церетели вашим личным врагом? Вы с ним встречались? Не хотели ли вы сами в прошлом стать скульптором, но это по каким-то причинам вам не удалось?

— Да бросьте вы! — Кирилл даже сделал пренебрежительный жест кистью привязанной руки. — То, что сделал я, очень многие хотели. Погода плохая, день рабочий, а то б здесь народу было знаете сколько? Просто когда хотят многие, а решается один — один за всех и огребают. Персонификация коллективной ответственности, можно сказать.

— И последний вопрос: считаете ли вы, что вас действительно распяли за взрыв памятника, а храм — лишь предлог? Или истинные причины вашей казни иные?

Балабол балаболом, а тоже соображает, приятно удивился Кирилл. Все-таки ему повезло: такой вопрос — на кресте перед телекамерой!

— Истукан — ерунда, — сказал он. — Мелкий символ большого размера. Дело в том, что я говорил в последние дни. Ну слово — это ведь дело, правильно? А особенно в том, что я сказал недавно в передаче «Человек в маске». Вы узнайте, когда она выйдет в эфир. Должна скоро выйти.

— И что же вы там сказали? — заинтересованно спросил телевизионщик, и Кирилл набрал воздуха, готовясь в последний раз объяснить всем, как создан мир.

— Пленка кончилась, — вдруг сказал оператор.

— Так смени кассету, только быстрее.

— Да вообще кончилась.

— Как кончилась?

— Да сколько мы сегодня сюжетов сняли? Сам же вечно кричишь: «Давай с запасом!»

Кирилл закрыл глаза.

Дождь превратился в ливень. Поклонная гора опустела.

Он попытался расслабить замерзшие, немеющие от напряжения плечи, слизнул с губ воду и приготовился умирать.

15

Ночью вызвездило. Веревки впились и резали распухшую плоть. Заледеневшее тело обвисло и все реже пробивалось судорожной дрожью. Он выдыхал с хрипом и подстаныванием.

Шелест и тихое тяжелое фырчание двигателя вошли в слух и дали осознать себя. Он поднял веки. Возобновление уже нарушенного контакта с реальностью стоило дополнительных усилий и было нежеланно.

Элегантно-громоздкий джип въехал прямо на площадку и ослепил, врубив все фары.

— Браток, — услышал он весело-удивленный голос, — да это никак ты? Чего это ты сюда взобрался? А ну-ка слазь!

Крепкие руки подхватили его, обрезанные веревки упали. Кирилла завернули в шерстяное пальто, втащили в машину и сунули в рот горлышко бутылки.

— Чистая пьета, — сказал в темноте второй голос.

— Да он не пьет.

— В чердаке у тебя свищет.

— Не понял?

Кирилл с усилием глотнул, холодный комок протолкнулся внутрь, под ложечкой возникла колючая горошина, сделалась горячей и большой, как теннисный

мяч, он глотнул еще, раскаленные иголки забегали по телу, в ступнях и кистях завибрировали болезненные частые пульсы.

— Менты за тебя штуку баксов сняли, волки, — сказал первый и включил зажигание. Он рулил вниз и весело болтал: — А мне братан звонит, его тут сейчас типа в армию прихватили, так представляешь, салага — прямо с тумбочки через батальонный коммутатор прозвонился мне на трубку: они «Время» смотрели, а там про тебя показывали, он говорит: «Может, пацаны сделают чего, а то вообще ничо мужик», я говорю: «Тебе-то чего?», а он говорит: «Меня припахали как-то, а он выпить дал и сигарет, и вообще денег пару рублей, чего пропадать-то человеку, он по делу мандулу грохнул, среди бела дня, в центре города, причем не пострадал никто», ну я въехал тогда, про кого, пацанам говорю, поржали, наш человек, говорят, ты где подрывному делу-то учился, базар к тебе есть, погоди, приедем, ты давай пей еще, грейся, мы подумали, а чего, бабки жалко, что ли, ну и вот, я еще братану говорю: «Надоело мне уже твоему комбату куски кидать, прихватят тебя сейчас, что ты по салабонству с тумбочки звонишь, за жопу — и в туалет на разборку», а он еще про тебя: «Чудной фраер, с осликом, а человек в этом говенном городе», е-мое, думаю, стоп, видал я тут на кольцевой тоже одного чудака без башни с осликом, ну подъезжаем — ух ты, а это ты, дела, понял, кстати, ты куда ослика-то дел?

16

Ослик находился в квартире на девятом этаже. Он удовлетворенно жевал капустный кочан и поглядывал на семейство.

Еще вечером он исправно скучал в подвальном сарае, ожидая затянувшегося решения своей участи, когда загремел замок, зажглась тусклая лампочка, и вся семья — мама, папа и мальчик Филиппок — встала в дверях в выжидательных позах.

— Это он с ним был! — возвестил Филиппок, тыча пальцем.

— Завтра же от него надо избавиться, — беспрекословно приговорил папа.

— Жлобье народ, — сказал ослик.

Мама побелела. Папа оглянулся. Филиппок забил в ладоши.

— Никто не умеет думать, но каждый имеет готовое мнение, — сказал ослик.

Мама осела папе на руки.

— Ох да ни х-х-хрена себе... — сказал папа тупо.

— Трудно вас, сволочей, любить, — сказал ослик.

Мальчик Филиппок почуял в этом обвинении страшное, брызнул слезой и бросился ослику на шею.

Теперь совет решал уже восемь часов: продать ослика в цирк, обратиться к журналистам, сорвать деньги (как?..) за телепередачу, связываться ли с учеными, арендовать помещение, дать рекламу и открыть платный аттракцион или лучше всего подождать немного, посмотреть, что будет дальше, но, черт, как с ним теперь обращаться?..

Ослик аккуратно подобрал с кухонного линолеума лохмотья капусты, выбросил продукт своей жизнедеятельности, деликатно махнул над ним хвостиком и стал вещать:

— История Вселенной — это преобразование энергии в материю, время и пространство.

История жизни на Земле — это история все более сложного структурирования материи, способной, в свою очередь, выделять энергию из окружающей среды.

Энергия консервируется в материю, чтобы затем снова выделиться. Таков космический маятник.

Вселенная — закрытая система. Пространство ограничено количеством энергии. Иначе — кривизной светового луча. Энтропия имеет место в замкнутом пространстве. Маятник преодолевает следствия энтропии.

История человечества — это история прогрессирующих преобразований окружающей среды. История прогрессирующего выделения энергии из окружающей материи.

Человек энергетически неуравновешен с окружающей средой. Он от приро-

ды обладает большей энергией, чем необходимо для простого выживания и воспроизведения вида.

Поэтому он переделывает все, что можно изменить. Функция человека — передел мира. Все во Вселенной функционально.

Человек относится к эволюционирующей окружающей среде как ускорение к скорости. Пока не переделает все — не остановится.

В идеальном удалении «все» — это уничтожение нашей Вселенной и тем самым создание Новой Вселенной.

Человек — как острое эволюции. Человеческая мысль и деятельность — как запальный механизм Большого Взрыва.

Разум есть энергия второго рода. При минимуме собственных энергетических затрат — максимум выделения энергии из окружающей материи. Максимум произведения работы и преобразования среды.

Разум есть оформление избытка энергии человека. Если младенец формируется вне человеческого общества, избыток энергии идет на приспособление организма к условиям животного выживания, превосходящим возможности обычного человека. Разум в этом случае не формируется и отсутствует.

Человек наделен от природы не разумом, но лишь способностью к разуму. Эта способность может принять форму разума — или форму иной энергоемкой адаптации к условиям жизни в окружающей среде.

Механизм физической энергии человека организован на психическом уровне. Мы говорим о психической энергии человека как «командном уровне» его общей энергии.

Человек — это двухуровневая система. Он существует на уровне чувств и уровне действий.

Субъективно жизнь человека — это сумма ощущений, получаемых в течение жизни.

Объективно жизнь человека — это сумма действий, совершенных в течение жизни.

Разум есть оформление избытка энергии в психическом аспекте.

Разум есть трансмиссия и декодер между уровнями чувств и действий.

Ощущение возбуждает мысль. Мысль ведет к действию.

Действие трансформируется через мысль в ощущение.

Инстинкт жизни есть базовый, природный, фундаментальный уровень существования. Инстинкт жизни диктует наощущать как можно больше за жизнь.

Человек стремится к ощущениям. В зависимости от силы и типа психической (нервной) системы можно говорить, что главное, безусловное, базовое стремление человека — это стремление к максимальным оптимальным ощущениям.

И человек стремится к действиям. Максимально возможным для себя. Трансформируя их через разум, он получает от своих действий максимальные ощущения.

Получение ощущений через экстремальные ситуации — «щекотка нервов» — есть побочное следствие этого механизма.

Получение ощущений через наркотики и алкоголь — «напрямую», без действий — есть также побочное следствие этого механизма.

Самореализация — закон жизни. Биологическая сущность человека стремится к максимуму ощущений и действий.

Потребность понимать и познавать есть продолжение и развитие потребности чувствовать и действовать.

Ограничение в ощущениях, познании и поступках несомненно человеку, ибо противоречит инстинкту жизни, оформленному в стремление к самореализации.

Свобода — это стремление к неограниченной самореализации.

Свобода — это стремление к состоянию, когда человек может все.

Свобода — это стремление к такому состоянию, когда человек ничем не ограничен в сферах чувств, разума и поступков.

Это стремление к состоянию, когда человек может выделить максимум энергии. Тем самым свобода находится в полном соответствии со вторым началом термодинамики. Говоря о священности свободы, мы признаем святость Второго начала.

Каждый, кто ограничивает мою потребность в знании, — мой враг, стремящийся уменьшить мою жизнь и ослабить мой инстинкт жизни.

Ни одна мысль не бывает излишней. Ибо человек живет в мире излишних ценностей. Все ценности, которые мы называем «человеческими», излишни для простого выживания и воспроизводства индивидуума и рода. Любое ограничение моей мысли противоестественно для меня.

Человек стал человеком, когда додумался до поддержания огня.

Огонь — простейшая природная форма выделения энергии из окружающей материи — сделал человека человеком. До этого и организация сообщества, и акустические сигналы, и применение орудий труда, и сообразительность в применении к условиям и нуждам встречались и продолжают встречаться у разных животных.

Паровая машина — лишь регулятор энергии огня.

Поршневые и реактивные двигатели — машины энергии огня.

Овладевая энергией и преобразуя ее все активнее, человек думал, что стремится к счастью. Что бы ни делал человек — он думает, что стремится к счастью.

Но лишь малая часть наших стремлений оформлена в сознании, а основная часть живет в подсознании. Стремясь инстинктом жизни к максимальным оптимальным ощущениям, человек стремится к страданию не менее чем к счастью.

Этим инстинктивным стремлением объясняется то, что человек сплошь и рядом, добровольно и по собственному выбору ведет себя в такие ситуации, где страдание неизбежно. Ведет — даже если предчувствует и даже предвидит страдание.

Благотворность страдания в том, что оно побуждает к мысли — по осмыслению его причин и природы — и к действию по разрешению дискомфортной ситуации.

Стремления быть счастливым и избежать страдания — кнут и пряник, побуждающие человека к мысли и действию.

Смысл жизни — в максимальной этих чувств, мыслей и действий.

Смысл жизни — условное человеческое понятие, неприменимое к мирозданию в целом.

«Смысл» означает причастность и причинность любого чувства, помысла, действия к великой, всеобщей, конечной, Идеальной Цели, Идеальной Задаче.

Заурядный человек обретает смысл в Боге. Незаурядный человек обретает смысл в себе.

Если вам упорно нужен рациональный смысл жизни, считайте, что вы — переделыватель и перевоссоздатель Вселенной. На кой черт нужно переделывать Вселенную — не скажет никто. Но сколько кайфа в работе!

Стремясь сознательно к счастью и бессознательно к страданию, чувствуя, мысля и делая, в общем, все возможное, создавая попутно как неизбежные следствия учения, культуры и цивилизации, то есть, будучи человеком со всем присущим ему человеческим — в главном, в общем, в среднем, в генеральном, — человек перевоссоздает Вселенную, хотя каждый при этом преследует сугубо личные цели.

— Хау! — залихватским индейским кличем закончил ослик и поклонился. — Я все сказал! Ну в основном, конечно.

Мама трянула на свет пустой пузырек валерьянки. Филиппок давно спал.

— Но отчего же он все-таки говорит? — в сороковой раз риторически вопрошал отец, выдувая сигаретный дым в сторону от ценного животного.

— Мою философию я называю синергетикой, — добавил ослик. — Энергетический уровень — базовый для всего.

Мама ссыпала со стола нарезанные ингредиенты, вывалила банку майонеза и стала намешивать салат «оливье» в тазике для стирки. Из сказанного она усвоила лишь то, что только жлобье может кормить философа капустой.

— Возможно, он с острова Валаам, — предположила она, проворачивая ложкой.

— А там что?

— Монастырь там был... святой... вроде.

— Вроде Володи! И при чем тут это?..

— Да нет, — сказала ослица, как мы помним, это была именно ослица. — Просто нашего конюха в зоопарке звали Валаамом. Такое старинное имя. Грубый был, кстати, человек.

Вадим ПЕРЕЛЬМУТЕР

Незапечатляемый пейзаж

Летопись

Порыв к общественному благу,
О нем тревоги
Плодят к исходу века тягу
Подвесть итоги,
Создать заветы вечных истин,
Красно и длинно,
Как будто каждый стих написан
Пером павлина,
Скользящим по былым идеям
Павлиньим глазом,
Как будто каждый стих навеян
Крылом Пегасым.

А тот, кося на эту сцену
Зрчком размытым,
Хрипит, роняя наземь пену,
И бьет копытом,
Но только потекает сонным,
Нелюбопытным,
Как будто колокольным звоном
Изподкопытным,
Беспамятствовать о немиле,
О днях и датах,
Когда наскучило могилам
Лечить горбатых.

И ненамного современной
Подсчет осенний
Балкан, титаников, затмений,
Землетрясений.
И призрак будущего лада
Жильцам расселин
Мерцает гроздью винограда,
Который зелен.
Но даже в том, что не созрело,
Ничто не ново,
Ну а несбыточное дело

Не стоит слова.
И вяло разговор струится,
Стремясь к покою,—
Что, дескать, курица не птица
И всё такое...

2000

Подмалёвок

Смятенная усталость
Толкует вкривь и вкось
Не то, что ожидалось,
Но то, что не ждалось.
И обозначен кратко
Событий оборот
Периодом упадка,
Сменившим прежний взлет.
И тягота пустая —
Хоть что-нибудь спасти,
На вираже слетая
С особого пути.
И взгляд скользит по следу
В клубящейся пыли
Тяжелых капель, недо-
летевших до земли...

Вдали от горних молний
Бренчит пустым ведром
От них отставший дольний
И выдохшийся гром —
Приговорен к томленью
В обыденном аду
По щучьему веленью,
Судачьему суду,
Который в высшей мере
На выдумки горазд
И всякому по вере
Когда-нибудь воздаст,
Который ловит ловко
Мгновений серпантин,
Как мастер подмалёвка
Для всяческих картин,
Как некая особа,
Довлеющая всем,
Восставшая из гроба,
Быть может, лишь затем,
Чтоб, иногда скучая
По бренности живой,
Отведать чашку чая
С имперскою вдовой...

Но чтить Петра творенье
 Час от часу трудней.
 И отдает мигренью
 Болотный плеск огней.
 И, мертвенного моря
 Одушевляя вид,
 На каждом сикоморе
 Кикимора сидит.
 И наподобье воска
 Чуть позади виска
 Пленительно и плоско
 Пристроилась тоска —
 О временах былинных,
 Где люб любой пустяк,
 О дамах в кринолинах,
 О мужиках в лаптях,
 Ни зависти, ни злобы,
 И всем по чину честь,—
 О том, что быть могло бы,
 Когда б не то, что есть.
 И сон, который сладок,
 Опутает опять.
 На то он и упадок,
 Что можно не вставать.

2000

Апология Мюнхгаузена

Прошлые невнятицы и пятна
 И несовершенные дела
 Складываются в сюжет занятный
 Под диктовку заднего числа.
 И старается не знать историк,
 Что оно равно теперь нулю.
 Жалко, что не дожил бедный Йорик,—
 Вот бы смеху было королю,
 Чьи былые подданные между
 Прочими бывали так бедны,
 Что внушал последнюю надежду
 Чуть щербатый сребреник луны.
 По всему по этому не странно,
 Что потомки всё еще не мрут,
 Получая с неба вместо манны
 Крупных ядер чистый изумруд...

Даже и воображать не будем,
 Что могло бы не произойти.
 Крестик, именуемый распутьем,
 Может быть, и есть конец пути.

Может быть, осталось лишь немного
Подождать, пока прикроют ад:
Если нету власти не от Бога,
То никто ни в чем не виноват.

Выиграли или проиграли,
Всё равно выходит баш на баш,
Добавляя кое-как детали
В незапечтляемый пейзаж.
Облака лазорево-невинны,
Словно души бродят нагишом.
Парки пилят вялую резину
Сплошь в зазубринах тупым ножом.
Прикурить орлу дает синица.
Пальму бросил кедр. И вдалеке
От Москвы и Петербурга снится
Пушкин с няней. На броневике.

2000

Отзвуки

Взамен снегопада — пора водостоя.
И видится, как в пелене законной
Машины по скользи ползут чередою
Не то осторожной, не то похоронной,
Туда, где любое занятие — пустое
Считанье ворон в ожиданье Харона.

Покуда живешь, замечаешь нечасто
Иронию жеста и колкость контраста,
Божественно-непостижимый порядок,
В котором всему уготовано место:
Стечение случайностей, сгустки накладок,
Древесные кольца, слои палимпсеста
И дым коромыслом, который несладок,

Который возносится витиевато,
Не зная предела своей несвободы,
Всё выше и выше, туда, где над нами
Эфир под завязку набит голосами,
Которые недозвучали когда-то,
Которые вовсе не чаяли сами
Попасть в примечания, сноски, цитаты
И дать через годы повторные всходы,
Не то что итоги, а так, результаты —

Провалы и всплески причудливых линий,
Блуждающий луч отраженного блеска,
Шедевры ваянья не в бронзе, но в глине,

Последние крохи, довески, огрызки...
О чем говорил я однажды в Берлине
Русистам, не всё понимавшим по-русски.

1999

Идиллия

Священно-весенней земли панораму
Привычно исследует взор.
И внятен направо, налево и прямо
Ее гармонический вздор.
И мнится, что ей пребывать вековой
И праздною в поте лица
И не омраченной ни желтой листвою,
Ни облаком цвета свинца.

Однако, зенит означая над нею,
Как будто над чистым листом,
Гримаса лирической маски Орфея
Кольшется в небе пустом,
В то время как в недрах ее, сокровенных
Под этой травой и песком,
Вишневая жижа курсирует в венах,
Разбавленная молоком.

И в этом пространстве прекрасной неволи
Тебе напоследок дана
Возможность поплыть по течению, то ли
Очнуться от славного сна,—
Когда, под ногою теряя опору,
Ты стал беззащитнее всех,
Не о пораженье задуматься впору,
Но чем обернется успех? —
И не оглянуться, покинув пределы
Извечнозеленой страны,
Где вяло пасутся, тучнея без дела,
Крылатых коней табуны...

1999



Игры писателей

Неизданный Бомарше

Обед перед смертью

— Первая пьеса закончилась. Но только первая. И можно подвести итоги... Итак, вы, граф, кардинал и королева и даже король неплохо сыграли в комедии Бомарше. Хотя, как положено старомодному драматургу, я захотел хорошей концовки. Но вы, граф, оказались слишком посредственны, чтобы разрешить ее мне. Вам не хватило широты... Но об этом позже...

— Вы умрете сейчас. Я клянусь!

— Вполне вероятно, граф. Но клясться не стоит. Ибо об этом ведает только Господь. Но даже если Он разрешит вам это сделать, следует ли торопиться? Ибо осталась **вторая** пьеса — **все с той же героиней**, о которой наш доносчик, маркиз, ничего не смог вам рассказать. По причине неосведомленности. Но вы о ней хорошо знаете.

— Хотите отложить дуэль, чтобы я ее выслушал? — мрачно сказал граф.

— Надеюсь, я не давал вам повода считать меня трусом, граф?

— Выбирайте, сударь, — шпага или пистолет, — сказал граф.

— Шпага с моей комплекцией? — Легкомысленно-игривое настроение покидало Бомарше. — Лучше пистолет. Как считаете, маркиз?

— Пистолет вернее. И современной. Бомарше обожает все современное. И ему, как покровителю воздухоплавания, умереть от старомодной шпаги как-то... Погибайте от пистолета — мой совет, — усмехнулся маркиз.

— Прекрасно. Итак, пистолеты. Фигаро, пистолеты графу!

Фигаро торжественно открыл ящик красного дерева, стоявший на секретере, — два пистолета с длинными дулами лежали на красном бархате.

— Вы возьмете свои или воспользуетесь этими? Они отличные. Кстати, из одного из них я и убил соблазнителя сестры.

— Воспользуюсь вашими, — сухо сказал граф.

— Проверите?

— Никакого сомнения, зная вашу подлую страсть к интригам.

— Заряжайте. Любой из них ваш. На выбор.

— Мне все равно.

Демонстративно не глядя, граф взял пистолет.

— Думаю, мы упростим формальности, ибо у меня разыгрался аппетит, — сказал маркиз.

— Bravo! У меня тоже, — сказал Бомарше.

— Но если вам придется обедать уже на том свете, распорядитесь на этом, чтобы нас накормили в вашу память, — сказал маркиз.

— Дорогой Фигаро, ты слышал слова господина? Если меня ужокошат, приготовь для них лучший обед. Хотя уверен, этого не случится. Во всяком случае, сейчас...

— Предлагаю стреляться на десяти шагах,— торопливо сказал маркиз. И, не дожидаясь ответа, начал отмерять расстояние, стараясь делать шаги поменьше.

— Как вы хотите от меня избавиться! — засмеялся Бомарше.

— У меня свой интерес. К барьеру, господа.

Граф несколько нерешительно поднялся.

— Вас что-то беспокоит, граф? — заботливо спросил Бомарше.

— Да, мне хотелось бы перед тем...

— Как вы меня убьете...

— Все-таки узнать... Какую низость вы еще совершили? Вы упомянули о второй пьесе. Что это значит?

— Видите, как просто! — засмеялся Бомарше.— Маленькая недосказанность, и вы — во власти тайны. Закон сочинения.

— Вы так и будете рассуждать с пистолетами? — спросил маркиз.

— О чем же речь во второй пьесе? — напряженно спросил Ферзен.

— Мне кажется, вы знаете. И не можете простить себе этого всю жизнь.

Граф опустил пистолет.

— Значит, и это правда. Неужели и там... были вы?

— «Когда в Париже происходит таинственное, я всегда думаю о Бомарше». Не бог весть как остроумно, но простим гвардейцу. Это сказал Мустье... Виконт Мустье... Вы помните это имя. И он участвовал в бегстве короля в Варенн. В неудачном бегстве короля, которое организовал граф Ферзен.

Ферзен молча бросил пистолет на пол.

— Ну зачем же?.. Они еще понадобятся.— Бомарше поднял пистолет и заботливо уложил в ящик.— Вот так, маркиз. Оказывается, занавес театра Бомарше еще не упал. Всего лишь антракт. Перед главной тайной. Однако никакие тайны не должны помешать хорошему обеду.

— Тем более что один ваш гость... — начал маркиз.

— Просто умирает от аппетита! — засмеялся Бомарше.— Это священный миг для любого француза, граф. Обед для вас, шведов, просто еда. Для нас — и ритуал, и часть великой культуры... Наполни наши желудки, то бишь сердца, радостью, Фигаро! — провозгласил Бомарше. — Изготовь обед для трех истинных мужчин и одной прекрасной молчаливой дамы, предпочитающей речам действие.

Фигаро молча удалился.

— И побыстрее, прохвост! — сказал вслед маркиз.— Здесь, Бомарше, вы совершенно правы. У нас во Франции ничто значительное не может случиться на голодный желудок. Даже смерть у нас сопровождается прекрасной едой. Помню, когда я был в тюрьме, наши судьи, приговорив полсотни человек к гильотине, всегда делали перерыв на обед... перед тем, как отправить на смерть другие полсотни. Но самое интересное, приговоренные к смерти тоже хотели вдосталь поесть. Их могли лишить головы, но не еды. И наши мучители это уважали. Я помню жирондистов, приговоренных к гильотине. Всю ночь перед смертью они пировали с самым отменным аппетитом. Один из них, правда, покончил с собой, но только после отличного обеда. Ибо истинный француз не может уйти на тот свет с пустым желудком... Да, о чем мы говорили?

— Об обеде перед смертью,— усмехнулся граф.

— Я оценил вашу фразу,— сказал Бомарше, привычно завладевая беседой.— Маркиз прав. Палач Сансон мне рассказывал, с каким аппетитом обедал

перед гильотиной герцог Лозен. Наш великий Дон Жуан, или, как его звали при дворе, «дамский угодник с большой дороги»...

— Лозен был «Смелый»,— с уважением сказал маркиз.

— Забавно,— усмехнулся Бомарше,— что ветреный Лозен, как и положено ловеласу, одним из первых изменил... правда, на этот раз не даме, а королю. И стал командующим революционными войсками в Вандее.

— Принц Лозен и принц Орлеанский — негодяи, изменившие престолу,— сказал Ферзен.— Они думали, революция потребует от них только подлости. Да нет, эту прожорливую тварь нельзя насытить. Они отдали ей честь, и она потом потребовала жизнь.

— Как скучна риторика! Главная моя заслуга — я прогнал со сцены напыщенных господ и сделал героем веселого шута! — засмеялся Бомарше.— Так что лучше скажем иначе: наш легкомысленный Дон Жуан слишком поздно понял, как опасно флиртовать с дамой по имени Революция. Кстати, граф, меня всегда мучило: этот амурный бандит соблазнил все-таки Антуанетту или это сплетня? И правдивы ли слухи, что ее первый ребенок...

— Еще слово...

— И вы меня убьете! — Бомарше расхохотался.— Пустая реплика. Ибо не убьете. Вам нельзя. Не узнав главного. Однако вернемся к нашей теме: «Обед перед смертью...» Мой знакомец палач Сансон рассказывал, как Лозен, приговоренный к смерти, перед последним свиданием с последней своей дамой по имени «гильотина» заказал самый обильный обед. Устрицы, ягненок в луковом соусе, «Бордо» тысяча шестьсот семьдесят третьего года из своих подвалов. И Сансон застал Лозена в самом благодушном настроении, с превеликим аппетитом доканчивавшего ягненка и готовившегося перейти к десерту. Палач прошептал не без смущения: «Гражданин, я к вашим услугам». «Да нет, это я — к твоим»,— засмеялся Лозен и, старательно обглодав кости ягненка, напоследок съел десерт...

— А вы, Бомарше, оказывается, знакомец Сансона, кровавого чудовища,— сказал граф.

— Ну что вы! — развеселился Бомарше.— Папаша Сансон — очень чувствительный гражданин. Я видел, как он рыдал над книгой Руссо. И как часто влажны его глаза, когда он музицирует. Кстати, он, обезглавивший короля и королеву, уверял меня, что он монархист... правда, в душе.

Между тем Фигаро торжественно ввез маленький столик с горкой серебряной посуды и начал неторопливо сервировать обед.

— В ожидании начала обеда я хотел бы пока прояснить некоторые детали,— сказал Бомарше.— Вы запомнили, граф, что говорил маркиз о ненависти ко мне?

— И это истинная правда,— бросил маркиз, оглядывая стол. Теперь в его голосе звучала музыка.— Какие божественные запахи ловит сейчас мой галльский нос!

— И свой донос обо мне,— продолжал Бомарше,— маркиз написал вам отнюдь не из-за денег. А прежде всего из-за этой ненависти.

— Соглашусь,— сказал маркиз, лоя голодными глазами неторопливые движения Фигаро.— Хотя и жалкое золото для нищего аристократа...

— Но причина этой ненависти,— не унимался Бомарше,— не только идейная. А я бы сказал, уголовная... У маркиза забавная мания: он почему-то уверен, что Бомарше украл его рукопись.

— Украл! Украл! — визгливо закричал маркиз.— Плод бессонных ночей, итоги путешествия в человеческую преисподнюю. Лепестки роз в человеческой грязи. Я мечтал изобразить их на обложке. Он все украл!

— Как видите, граф, этот безумец на зря сидел в сумасшедшем доме,— усмехнулся Бомарше.

— Да нет, украл! Судите сами, граф...

— Кто из вас двоих ужаснее,— мрачно закончил граф.

Но маркиз будто не слышал. Он вдруг успокоился и заговорил тихо и рассудительно:

— Когда в Бастилии я узнал, что начались волнения в Париже, я верил, что принц немедленно освободит меня. Я забыл — «мавр сделал свое дело». К тому времени пьеса о бриллиантах была сыграна, и принц, полагаю, предпочел, чтобы я навсегда исчез в Бастилии. Я ожидал, что и Бомарше, живший напротив Бастилии, предпримет что-нибудь для освобождения соавтора. Но и он, думаю, желал того же. Между тем в Париже волнения охватили весь город, и тогда комендант Бастилии запретил заключенным их законные прогулки. Он объявил, будто боится, что с башен, где мы гуляли, мы можем обратиться к толпе. И «станем побуждать к бунту без того беспокойный народ». Смешно, ведь нас было всего шестеро узников! В самой страшной тюрьме Франции при «проклятом королевском режиме» нас было всего шестеро!.. Впрочем, теперь в этом распоряжении я готов угадать поручение принца. Зная мой вспыльчивый характер, принц, конечно, предугадал последствия запрета. Дьявольская хитрость! Всё так и вышло. Взбешенный надругательством, я тотчас потерял голову. И, когда принесли мой обед, оттолкнул караульного и бросился прочь из камеры. Я хотел вырваться на башню и прокричать оттуда Парижу мой вопль о помощи. Но негодяи-стражники перехватили меня, начали душить. Я понял: приказано задушить! Вырвался, бросился обратно в камеру. И, как только они заперли дверь, схватил жестяную трубу... через нее я обычно выливал из окна в ров жидкие объедки моих изысканных обедов... Она должна была усилить звук. И я заорал в окно: «Здесь убивают!.. Народ Франции! На помощь!» И тогда идиот-комендант велел связать меня и отправить в «Дом братьев милосердия». Так изысканно они звали психушку Шарантон. И, хотя я боролся с ними до конца, связали и отвезли. И уже без меня случилось непоправимое. Во время разгрома Бастилии толпа ворвалась в мою камеру. Украли мои камзолы с дорогими серебряными и золотыми галунами. Нашли тайник и в нем — рукопись. Негодяи ожидали найти деньги и, не найдя, в ярости вышвырнули рукопись на улицу. Как только революция освободила меня, я бросился искать следы труда. Следы гения. И что я узнаю? Оказывается, после взятия Бастилии на площади появился *некто*. Он разгуливал среди множества выброшенных бумаг, которые ветер гонял по площади, и собирал их. Да, да, это был Бомарше! Очередной его Фигаро относил всё в карету. Мог ли он не взять мое сочинение? Драгоценный манускрипт?..

— Безумец, сколько раз я объяснял вам одно и то же! — Насмешник Бомарше впервые сердился, оттого говорил слишком подробно. — В Бастилии хранились секретные допросы из дела об ожерелье королевы. Мне не хотелось, чтобы докучливые потомки... смогли понять тайну Дела. И я искал, искал и нашел их на площади... Не скрою, забрал и уничтожил... И всё! — Затем Бомарше добавил, возвращаясь к привычному насмешливому тону: — Ах, граф, если бы вы знали, как мы все похожи, сочинители. Мы не можем не брюзжать и должны ненавидеть. И прежде всего — друг друга. Я не устаю цитировать моего Фигаро: «Собрание литераторов — это республика волков, всегда готовых перегрызть глотки друг другу». Хорошо маркизу: он ненавидит меня и правительство, оттого он часто в хорошем настроении. А я добрый, я всех люблю... И оттого часто раздражен...

Фигаро уже торжественно снимал серебряные крышки с блюд.

— У меня нет повара, всё готовит этот безгласный субъект... — сказал Бомарше, величественно обходя столик, как победитель — поле сражения. — Итак, цыплята, он их готовит в вине. Баранье жаркое... индейка под соусом из

зелени и чеснока, поросенок в молоке, фаршированные яйца, залитые сметаной... Рекомендую, всё его фирменные блюда... Прошу к столу!

Маркиз не заставил себя ждать, он уже придвинул стул. Подвязав салфетку, положил на колени еще одну, «поскольку фрак у меня единственный», набросился на цыпленка.

— И вправду хорошо,— сказал он, заглывая цыпленка и запивая вином, которое щедро подливал ему Бомарше.

В мгновение оставив от цыпленка жалкие косточки, маркиз с удивлением обнаружил, что трудились за столом только двое — он и мадемуазель де О. Правда, мадемуазель не ела, а молчаливо уничтожала вино, бокал за бокалом.

Бомарше сидел над нетронутой тарелкой. И бокал с вином стоял рядом. Маркиз как-то обеспокоенно взглянул на хозяина:

— Вы не пьете, не едите?

— Я все жду, когда граф окажет честь присоединиться к нам.

Граф не отвечал и все так же неподвижно сидел на стуле из Трианона.

— Кстати, господин маркиз... нет, гражданин маркиз,— засмеялся Бомарше. — Теперь, когда вы «заморили червячка», надеюсь, вы запомните мимоходом брошенную мной фразу: **«У меня нет повара, все готовит этот безгласный субъект»**. Иногда фразы, как бы оброненные вскользь, многое объясняют впоследствии.— Бомарше помолчал и добавил: — **Я говорю** также и о вашей фразе, граф: **«Об обеде перед смертью»**. Мое внимание к этим двум фразам легко объяснимо... Как я уже начинал рассказывать, граф вчера подкупал моего слугу — предлагал отравить меня за обедом. И это мне, как ни странно, очень не понравилось. Хотя Фигаро отказался, но кто знает... Может, мне он сказал так, а на самом деле...

И Бомарше внимательно посмотрел на графа. Тот молчал.

— Ведь граф предлагал хорошее вознаграждение,— продолжил Бомарше, усмехаясь. — А вдруг мой Фигаро уже разуверился когда-нибудь получить с меня заработанное? Синица в руке лучше соловья в небе!.. Кстати, может быть, поэтому вы боитесь присоединиться к нашему столу, граф? Боитесь, к примеру, перепутать бокалы.

Бомарше пристально глядел на графа.

Но Ферзен по-прежнему не отвечал.

— Впрочем, и вы, маркиз, тоже подкупали моего слугу... Правда, за смешные деньги...

— Да, я вам не верю... Ну и что?! Я не верю, что вы не забрали мое великое творение! — кричал маркиз. — И мне нужна ваша смерть. Что ж тут странного? Да, я хочу после вашей смерти вдосталь порыться в вашем доме. Поискать нетленную рукопись.— И, будто спохватившись, маркиз церемонно добавил: — Простите господа, что нарушил причитаниями великолепный обед.

Маркиз легко переходил от вспышек безудержного гнева к церемонной вежливости, и тогда его блестящие глаза, мгновение назад метавшие молнии, становились умирительно почтительными.

— Теперь вам понятна, граф, главная причина доноса маркиза на Бомарше? Он всего лишь решил убить меня, но вашими руками... Однако сколько выгодных предложений отверг сегодня верный Фигаро. Во всяком случае, надеюсь, что отверг.

— Какой же вы шутник, Бомарше,— торопливо сказал маркиз.

— Люди, не понимающие шуток, опасны.— Бомарше усмехнулся.— Взять нашу революцию. Как хорошо, весело, даже шутливо всё начиналось! Но пришли эти выпренные, серьезные, и тотчас полилась кровь. Бедный король тщетно умолял нацию «вспомнить свой веселый, счастливый характер».

— Хотя я,— сказал маркиз, уже дожевывая поросенка,— ждал от революции не веселья, а **смелости**. Например, я предложил Национальному собранию

принять истинно революционный закон, который должен был покончить с неравенством в главном...

Он остановился и ждал вопроса.

Бомарше засмеялся и спросил.

— К примеру, — сказал маркиз, — красавцу и богачу графу так легко переспать с любой красавицей. А каково мне, бедняку и старику? Но неудовлетворенное желание не даст мне плодотворно мыслить на благо нации... И урод Марат уже работал над моим проектом, вытекавшим из требований абсолютного равенства: отменить право женщины отказывать мужчине. Все должны быть равны у входа в пещеру. Но Робеспьер не посмел. Убивать смел, а основать царство равноправия в любви не посмел.

— Законный гимн пороку, достойный вас обоих, — сказал граф. — Вы оба нечисть и равны в грехе. Но вы оба живы, а ОНА нет! Отчего ЕЕ ненавидели? ОНА так любила людей. И всё старалась угодить им.

— Как вы ее учили, — усмехнулся Бомарше.

— Да, я. ОНА носила туалеты, усыпанные драгоценностями, — продолжал граф, — и все негодовали — дорого. Я уговорил ЕЕ носить простые платья с наброшенной на плечи накидкой, опять негодовали — нарушила этикет. ЕЕ парикмахер соорудил прическу величиной с НЕЕ самое. Чудо искусства. Среди роз стоял сельский домик в духе Руссо. Придворные объявили — безумие. Я посоветовал. ОНА придумала самую скромную прическу: перья в волосах. И они осудили ЕЕ уже за это...

— Вы должны понять, какую ужасную службу сослужили бедной королеве, — сказал Бомарше. — Вы не француз. Вы не понимали ни страны, ни времени. Это был галантный век, последний век, когда Францией правили женщины. Страна любовалась ветренными сердцами своих королей. При Людовиках Четырнадцатом, Пятнадцатом нация мало интересовалась королевами. Народ с трудом помнил их имена. Зато во всех подробностях был осведомлен о фаворитках, захватывавших сердца королей. И с веселым пониманием относился к королевским увлечениям. «Ах, плутовка, старого развратника распалила ловко!» — запел с восхищением наш добрый народ, когда в постели Людовика предпоследнего появилась молодая красавица, бывшая шлюха госпожа Дюбарри. И вдруг на наш трон сел новый король, который посмел быть верным своей жене! О котором ничего пикантного и рассказать нельзя. Какое разочарование для подданных... И далее происходит невиданное. Королева, то есть законная жена, осмелилась вмешиваться в дела управления, тратить бездну денег и капризничать на миллионы франков... будто она не королева, а фаворитка! Экая самозванка. Французы были очень обижены. Обижена была наша галантность: не ложе наслаждений, но заурядная брачная постель начала править нами!

— И все-таки я предпочитаю оригинал карикатуре, — проворчал маркиз. — Ибо бонапартова Жозефина — жалкая пародия на Антуанетту. Такая же мотовка, но буржуазка, то есть мотовка без вкуса, такие же прихоти плоти, но прихоти потаскухи. И вокруг нее эти новые правители, эта свора жалкой нечисти, ограбившая страну. Вместо царства кровавых фанатиков-революционеров мы получили царство воров и ничтожеств. И огромное количество доносчиков. Недавно я начал писать памфлет об этой креолке. Мосье Бомарше, сам не раз писавший подобные памфлеты при короле, оценит новую ситуацию. Я написал только первые строчки. И ко мне уже пришли. И предупредили: «Сейчас у нас новый министр полиции. Мосье Фуше. И у него есть идея — отправлять людей, внушающих опасения правительству... нет, не в тюрьму... это вызывает к ним нездоровый интерес общественности, а в обычную психушку. Если вы хотите там очутиться снова, продолжайте писать». И знаете, я решил продолжить. В психушке полно порядочных людей, помешавшихся от наших постоянных ужасов. И еще. Пережив революцию, я понял: только в неволе можно вести се-

бя свободно. И даже со свойственными вам причудами. Например, в Бастилии я обожал покупать дорогие розы, а потом на прогулке, стоя над вонючей лужей, медленно отрывал лепестки и бросал в грязь. Они были уверены, что я безумен, и не трогали меня. Эти сукины дети не понимали символ: галантный век должен был закончиться кровавой грязью.

Маркиз с сожалением посмотрел на остатки еды, он уже не мог больше есть. Откинулся в кресле — блаженство...

Мадемуазель де О. в одиночестве допивала вино.

— Мне кажется, граф, вы просто не можете оторвать глаз от нашей молчаливой дамы. Это единственное, что оправдывает ваш отказ от такого обеда. Нет, понимаю ваше состояние... и маркиз тоже. Мы оба уважаем бурю чувств, которую вызывает у вас ее облик. Так что она в вашем полном распоряжении. Мы оба против неверности, но оба за непостоянство. Тем более что мадемуазель де О. великая охотница до новизны.

Мадемуазель смеялась.

— Вы за всё и непременно ответите на Страшном суде. Оба. Впрочем, надеюсь, господин Бомарше познакомится с ним уже сегодня.

Бомарше не ответил. Он молчал, тоскливая грусть вдруг преобразила сытое круглое лицо.

Но маркиз возмущился:

— Глупость толпы, недостойная вас, граф... Страшный суд... Я уверен, что Он, Который устами Сына говорил о прощении, не может мстить нам за наши страсти. Да еще в виде этакого суда с присяжными в виде апостолов. Да и за что? Если Бог наделил нас тем, что мы считаем грехами, может быть, мы просто не научились ими пользоваться? Грехов нет, есть потребности, пока еще непонятые...

— Всё то же отвратительное богохульство,— сказал Ферзен.

— Я не такой уж верующий, хотя думаю, вы правы, граф,— заговорил Бомарше.— Господь оставил нам свободу воли... свободу выбора. Отсюда и следует: *все позволено, но не все позволено.*

Маркиз улыбнулся:

— Бомарше — моралист... По-моему, это даже смешнее его комедий.

Фигаро сменил оплывшие свечи и начал убирать посуду.

— Ваш бокал с вином, хозяин.— Он кивнул на нетронутый бокал.

— Забери его,— сказал Бомарше. И внимательно посмотрел на маркиза.

— Что вы так смотрите?

— Если бы этот бокал был отравлен... Какое напряженное было бы действие! Вот он, истинный театр, не правда ли, граф?

Граф молчал.

Фигаро уже забрал бокал, когда Бомарше вдруг сказал:

— Оставь его.— И усмехнулся.

Фигаро вернул бокал на стол.

— Маркиз, вы довольны? И вы, граф, рассуждающий о Страшном суде? — спросил Бомарше, пристально глядя на стоявший перед ним бокал с вином.

Граф по-прежнему молчал.

Маркиз пожал плечами, заговорил элегически:

— Кончается век. Моя бабушка рассказывала, как умирал прошлый век, как все ждали конца света, готовились к Его Второму пришествию. Была ужасная паника. И девицы спешили стать женщинами. И бабушка... Бабушка была красавицей с высокой грудью... Когда в отрочестве я думал о грехах и аде, всегда представлял портрет бабушки в гостиной.

Бомарше сидел, постукивая пальцами по бокалу с вином. Выстукивал мелодию. И загадочно улыбался.

Вдруг заговорил граф:

— Конец света? Его уже не ждут, потому что он случился. Власть монархов, данная от Бога, отвергнута страной великих монархов. Подданные торжественно убили своих правителей. И, хотя сейчас многим кажется, что кровавей века быть уже не может, поверьте: и может, и будет! Ибо с каждым десятилетием общий грех человечества копится. И прогресс я вижу только в возрастающей величине греха.

— А я, знаете, очень верю в воздухоплавание,— сказал Бомарше, постукивая по бокалу.— Я думаю, люди будут проводить всё больше времени в небесах среди облаков. И небо исправит их. Хотя общее содержание жизни не изменится. Люди будут рождаться, надеяться, страдать и умирать.

— Вы забыли о главном,— засмеялся маркиз.— О Звере в нашей душе, который время от времени и делает нашу жизнь истинной.

— Перестаньте! — поморщился Бомарше.— Вы типичный французский философ. Ужаснейшая порода! Мой итальянский знакомый по имени Казанова честно говорил: «Я распутник по профессии». Но мы, французы, должны подо все подложить идею... Вы не просто развратник, вы готовы увидеть в вашем разврате всю философию мира, вплоть до замысла Создателя. У меня во время премьеры «Тарара» гостил Сальери, милейший человек. Он постоянно что-то напевал, ну совершенная птица. И прелестный характер. Очаровательно, как это умеют итальянцы, волочился за моей дочкой. И замечательно говорил: «Были две истинные столицы уходящего галантного века — Париж и Венеция. Где короновался музыкант? В Париже и Венеции. Куда ехал авантюрист? В Париж и Венецию. И оба города — зеркала наций. Какой тяжелейший город ваш Париж. Он все время работает. Трудится для всего мира: создает новые идеи, моду, научные открытия, новые блюда, новые эпиграммы и новые политические теории, и в итоге — революцию. А вот другая столица, Венеция. Она оказалась истинной дочерью Италии. Ибо вовремя поняла, что слишком много работала для истории. И в нашем веке открыла, наконец, великую цель: праздность. Жить для жизни. И теперь там вечно веселящаяся пестрая толпа: аристократы, приживалы, ростовщики, кокотки, сводники, шулеры. Ночей для сна там нет, есть ночи без сна. Пока Париж питался результатами своих умных идей — террором и кровью, Венеция веселилась, не забывая славить Бога... Площадь Святого Марка... Плащи из желтого, голубого, алого, золотого и черного шелка... камзолы, отделанные золотом и обшитые мехом, муфты из леопарда, маленькие женские треуголки, кокетливо сдвинутые на ухо. И, конечно, маски... Большую часть года там можно ходить в маске. Если в Париже все превращают свое лицо в маску или, чтобы скрыть свои мысли, искажают лицо в маску, то в Венеции носят маску, *защищая* лицо. Маска всюду: в салоне, канцелярии, во дворце дождей. И уже нет ни патриция, ни шпиона, ни монахини. Есть «синьор Маска». И в игорных домах возбуждаются, как от любви. Свечи, маски, игра... вечная феерия. И все помешаны на игре и на легкой, как игра, любви, почти дружбе. Где, насладившись друг другом, люди с благодарностью расходятся. В Париже идейны даже любовники... И если они расходятся, то ненавистниками, и если любят, то измучают...

— Да, кстати, что у вас на десерт? — насмешливо прервал его маркиз.— А вы так и не выпили. Ваш бокал, Бомарше!

— Клубника и «фрукты сезона»... Граф, может быть, хотя бы десерт?

Граф не ответил. Бомарше закончил:

— Я расплакался, когда наш юный корсиканец покончил с независимостью Венеции. Это неподражаемая, единственная в своем роде республика. И вот тысяча сто лет истории закончены вчерашним лейтенантом. Какой фарс... Хотя, может быть... может быть, это и закономерно? Галантный век и галантная рес-

публика вместе уплыли в Лету. Наступает скучный век денег. И Венеции... как, возможно, и нам, не место в этом веке.

— Вам, но не мне, — сказал маркиз. — Я человек будущего. Венеция... жалкая рухлядь веков. Вы никогда не были в Венеции. Там грязно, холодно, много воды, дома сырые, белье не сохнет. И когда ты, мокрый от любовного пота...

Бомарше засмеялся.

— Послушайте, Бомарше, — произнес маркиз, — вы так и не притронулись ни к еде, ни к вину...

— Я боюсь быть отравленным вами, друзья.

— Когда ж вы наконец насытитесь, закончите болтать? — вмешался граф. — Мы в конце концов перейдем к следующей «пьесе»? Как называет господин Бомарше свои подлые выдумки.

— Что ж, вы правы. Пора начинать... Итак, за ваше здоровье, друзья! — Бомарше поднял бокал. И... опустил. — Впрочем, это следует делать после... После премьеры.

Бомарше насмешливо оглядел присутствующих.

Маркиз вытер пот со лба.

Еще одна пьеса Бомарше

Первое (и последнее) представление

— Начнем... Пора! — сказал Бомарше. — Тем более что мы вполне сможем ее разыграть... Вот уж никогда не думал увидеть *эту пьесу* при жизни.

— Или перед смертью, — сказал Ферзен.

— Или перед смертью, — как эхо, откликнулся Бомарше.

Он задумался. Граф, не скрывая нетерпения, уставился на него.

Голова маркиза тотчас упала на грудь. Он задремал.

Бомарше расхохотался:

— Как внезапно заснул наш маркиз! Эй, маркиз! Неужто опять спите?

— Да? Ну и что? Всегда сонлив после хорошего обеда.

— И иногда, чтобы избежать неприятных воспоминаний. Да, граф, именно после визита маркиза и родилась у меня идея этой второй пьесы. Он опять соавтор... Итак, явление первое: всё те же — Бомарше и маркиз... В июне тысяча семьсот девяносто первого года ко мне явился маркиз, впрочем, тогда его следовало называть «гражданин маркиз». Освобожденный революцией из одного сумасшедшего дома, он, естественно, примкнул к безумным из другого: вступил в якобинскую секцию. И даже был назначен комиссаром...

— Это позже, позже.

— Он очень округлился... С ним прибыла юная красотка.

— Мари Констанс. Да, красотка. И до сих пор спит со мной. Ну и что?! — выкрикнул маркиз.

Но Бомарше будто его не слышал.

— Продемонстрировав мне ее прелести, он отправил ее ждать на улице в карете. Так что в нашей сцене она не участвовала... Стоя у окна, я видел, как она прогуливалась у кареты, ловко виляя бедрами... Нетрудно было отгадать ее прошлое... Сначала я подумал, что маркиз опять явился надоедать и требовать свою рукопись...

— И безуспешно! В который раз!

— Но скандалил он только первые пять минут. Обвинения и выкрики закончились, как обычно, обильным ужином. Мой дом еще не был разрушен, так что ужин...

— Был великолепен. Это признаю, — сказал маркиз.

— Во время еды маркиз сообщил мне, что мы с ним теперь, оказывается, коллеги. Ибо в театре Мольера ставилась его драма.

— Да, а другой пьесой заинтересовалась тогда «Комеди Франсез»,— вставил маркиз.

— И он верил, что издаст роман, достойный, как он выразился, «репутации смельчака».

— Но исчез главный роман, похищенный вами... Коли мне его вернете... он делает меня бессмертным! Но вы не возвращаете!

Бомарше, будто не слыша, продолжал:

— После еды маркиз, как всегда, стал благодушен, необычайно приветлив и ласков. И совершенно забыл о похищенном. Вот тогда, граф, он и сообщил мне о главной цели своего прихода. Оказывается, он опять навестил меня по чужой просьбе... Точнее — по просьбе того же лица. И он сказал мне...

Маркиз тотчас начал похрапывать на стуле.

— Маркиз, это скучно в конце концов...

— Прошло восемь лет...— пробормотал маркиз.

— Но тогда после сытного обеда маркиз отнюдь не дремал. Напротив, говорил без умолку, сыпал словами... Фигаро, текст маркиза!

Фигаро неторопливо достал из секретера ворох исписанных страниц. И столь же степенно начал читать:

— «Мой милый Бомарше. Вчера я долго гулял по Парижу. Только побывавший в тюрьме оценит эту несравненную радость идти, куда тебе заблагорассудится. Как хорош нынче Париж! Город задыхается от свободы и революции. Вакханалия радости. Бульвар дю Тампль, бульвар Итальянцев наводнены недорогими красавицами. Вчера, охотясь на гризеток, я наблюдал постреволюционную фантазмагорию мод. Кто-то прогуливался в великолепном камзоле со шпагой и в напудренном парике, а рядом с ним, наоборот,— коротко стриженный, в черном и в американском галстуке или простолюдин в нищенских сабо. Все смешалось. Аббаты в воскресенье сбрасывают сутаны и в сюртуках и круглых шляпах сидят на улицах в открытых кафе. Монастыри открыты для народа, и я не преминул познакомиться с двумя красотками, которым опротивело вчерашнее заточение. Всюду ставятся спектакли и открываются общества. Газеты плодятся, как кролики. Никто теперь не работает, все выступают. Сама жизнь стала сплошным театром. Кто-то, целуясь с девушкой, весело кричал при каждом поцелуе: «Аристократов на фонарь!» И я, честно говоря, подхватил. Я, родственник принцев крови, завсегдагатай философского салона герцога Ларошфуко, орал: «Аристократов на фонарь!» Род человеческий веселится на свободе, забросив скучные занятия. Как школьники в отсутствие учителя».

— Точнее, как овцы в отсутствие пастыря. Всё вокруг потопчут, изгадят, а потом сами себя и убьют,— сказал граф.

— Но тогда никому и в голову прийти не могло, что именно так и будет,— вдруг проснулся маркиз.— Кто знал, что это были только каникулы революции и очень скоро она начнет свою настоящую работу. Выступив на митинге, бежали в оперу Буфф, или в публичный дом, или в революционный клуб, или в кафе «Прокоп», где сидели тогда безвестными все будущие знаменитости — Робеспьер, Дантон, Демулен. Я там впервые увидел и маленького лейтенанта с ужасными глазами и непроизносимым итальянским именем Бу-о-на-парте, который на моих глазах не мог расплатиться за обед.

— Я очень рад, что вы проснулись. Вернемся к пьесе, маркиз,— усмехнулся Бомарше.— И вы рассказали мне тогда, как, охотясь на гризеток, увидели удивительную сцену...

— Да, я увидел нашего знакомца,— сказал маркиз,— нашего вольнолюбца принца Орлеанского. Принц крови и любимец революции ехал в карете вместе со своей любовницей мадам Бюфон. Поэты воспевали ее маленькие ножки. Но

сведущие люди, а их оказалось немало, рассказывали об удивительной красоте ее зада... Описание можно найти в моей рукописи, похищенной вами.

— Не отвлекайтесь.

— Это существенное. А отвлечение — всё остальное... Короче, пока все лицезрели знаменитых любовников, на дороге возник гигантский кабриолет. Он двигался на сумасшедшей скорости и чуть было не протаранил карету с великим символом нашей революции.

Маркиз замолчал.

— Как, и всё? Всё, что вы вспомнили? — засмеялся Бомарше.

Маркиз, растерянно улыбнувшись, закрыл глаза и вновь издал звук, обозначающий храп.

— Фигаро, текст маркиза! — усмехнулся Бомарше.

Фигаро невозмутимо продолжил чтение:

— «Но самое интересное, дорогой Бомарше, кто сидел на козлах вместо кучера в этом сумасшедшем кабриолете. Граф Ферзен, любовник Антуанетты».

— Проклятье! — прошептал Ферзен.

— «И граф Ферзен, — читал далее Фигаро, — тотчас рассыпался в тысячах извинений. Он объяснил принцу, что собирается-де покинуть Париж и вот решил испытать на прочность купленный кабриолет. Ибо наши французские кареты сделаны порой весьма легкомысленно. Но был он весьма смущен. Это смущение графа Ферзена, дорогой Бомарше, естественно, заставило принца задать самому себе несколько важных вопросов. Зачем беспечному графу, наверняка путешествующему налегке, этакий дом на колесах? Его Высочество тотчас подумал о том, о чем пишут сейчас все газеты: король и Семья хотят бежать из Парижа. И не их ли кабриолет обожатель Антуанетты испытывал на прочность?»

Бомарше с усмешкой наблюдал за выражением лица бедного Ферзена.

— «Короче, принц послал своего человека на улицу Клиши наблюдать за домом графа», — читал Фигаро.

— Я чувствовал, чувствовал... — шептал граф.

— Вы мешаете рассказу, — сказал Бомарше. — Продолжай, Фигаро.

Фигаро:

— «Наблюдатель расположился в окне дома напротив. И что же он увидел? Во дворе дома графа в тот самый огромный кабриолет грузили бесчисленные ящики! Грузили трое мужчин в платье слуг. Здесь наблюдатель едва удержался от хохота. Ибо в одежде слуг были хорошо ему знакомые граф де Мальден, шевадьё де Валори и шевадьё де Мустье, гвардейцы короля! Сам граф Ферзен заботливо руководил погрузкой. Потом в таинственный экипаж внесли несколько пистолетов. В общем, принц готов биться об заклад: Семья решила бежать! И это для нее готовят карету. Хотя, зная знаменитую нерешительность короля, принц Орлеанский все же немного сомневается. И он решил обратиться к вам...»

— «Всегда рад быть полезен Его Высочеству».

— «Ему рассказали о вашей дружбе с шевадьё де Мустье».

— «Он родственник моей покойной жены».

Маркиз тотчас проснулся, спросил язвительно:

— Покойной, и какой по счету?

— Первой, если вас это так интересует.

— Первой отравленной, — сказал маркиз и вновь захрапел.

— Продолжай читать, Фигаро. Маркизу по-прежнему не хочется вспоминать.

Фигаро:

— «Чтобы действовать наверняка, принц просит вас все разузнать у Мустье. И не только из любви к нашей революции... Ремарка: “Здесь маркиз выложил увесистый кошелек. Который Бомарше, как и в прошлый раз, не взял. Как выяснилось потом, маркиз утаил это от принца и присвоил кошелек себе”».

— Ему было нужнее,— вздохнул маркиз.

— И это оказалось к счастью,— засмеялся Бомарше,— ибо принц решил, что наконец-то купил Бомарше. И оттого поверил всему, что я сообщил ему при встрече на следующий день... Итак, явление второе. Семнадцатое июня тысяча семьсот девяносто первого года, восемь часов вечера. В Пале-Рояле Бомарше и принц Орлеанский... Фигаро, читай за принца.

— «Удалось ли вам что-нибудь выяснить, мой милый Бомарше?»

— «Ваше Высочество! Граф Ферзен сказал вам правду. Он действительно покидает Париж навсегда. И вывозит все вещи, чтобы сюда более не возвращаться. Поэтому такой большой экипаж. Что же касается моего родственника шевалье Мустье и его друзей... Кто-то упорно пускал ложный слух, будто они хотят устроить бегство короля и Семьи. И, опасаясь ареста в наше беспокойное время, они решили бежать из Парижа: уехать вместе с графом под видом его слуг. Но теперь граф начал колебаться — брать ли их с собой? Он очень обеспокоен встречей с вами, Ваше Высочество. Ему кто-то передал, что вы не поверили его объяснению и решили, будто он хочет вывезти из Парижа королевскую семью. Зная вашу любовь к равенству и революции, граф испугался...»
Здесь я остановился и дал принцу возможность спросить.

— «Испугался чего?»

— «Что Ваше Высочество сообщит о своих подозрениях генералу Лафайету. И тогда его друзья будут схвачены в пути. Он боится подвергать их опасности».

— «Низость! Сметь подумать, что принц Орлеанский — доносчик! В прежние времена его следовало убить на дуэли».

— Как видите, граф, ход был безупречен,— сказал Бомарше.— Я знал, что теперь принц должен будет молчать, как бы дело ни повернулось.

— И почему вы это сделали? — глухо спросил Ферзен.— Если все это, конечно, правда.

— Потому что вместе с вами в этом побеге захотел участвовать и будет участвовать сам **Бомарше!**

— Вы?.. Вы лжете...

— Вам еще придется ответить и за эти слова... А чтобы вы не сомневались, с радостью сообщая вам все тайные перипетии побега... Во-первых, вместе с вами побег организовывал несчастный мосье Казот. И уже двадцать четвертого июня, то есть через неделю после моей беседы с принцем, мой родственник Мустье, граф де Мальден и шевалье де Валори, переодетые в мундиры национальных гвардейцев, пробирались по галерее Тюильри, которая идет вдоль набережной, чтобы оттуда через потайной ход добраться до королевских апартаментов. Антуанетта ожидала их у входной двери. Она провела их в свои покои, где ждал король. Король сказал им: «Вы являетесь свидетелями ужасного положения, в котором мы находимся. Уверенные в вашей преданности, мы выбрали вас, чтобы вы вызволили нас отсюда. Наша судьба в ваших руках». Естественно, гвардейцы прослезились и прочее. Вы удовлетворены, граф?

— Боже мой...— только и сказал Ферзен.

— Вам предстоит узнать еще много интересного. Например, что эти апартаменты с потайным ходом, благодаря которому гвардейцы смогли проникать в королевские покои, были предложены мной!

— Возможно, вы и есть дьявол,— сказал Ферзен.

Бомарше приятно улыбнулся.

— А теперь по порядку,— сказал он.— После разговора с маркизом у меня не было сомнений, что готовится побег Семьи. И еще. Есть странное свойство у некоторых литераторов: никогда не быть на стороне победителей. Революция перестала нравиться мне на следующий день после ее победы. Библейский Хам

явно торжествовал. Я увидел, что «новые» заняты делом «старых», то есть беспощадной грызней за власть. Добавьте сюда и некоторые угрызения совести после дела с ожерельем. **Впрочем, было еще обстоятельство.**— Он усмехнулся.— Я ведь любил ее. Или не ее. Это странно, но шлюха и королева постепенно соединились... Мираж...

— Как интересно! — оживился маркиз.

— Короче, я решил участвовать. Я не сомневался, что вы никогда мне этого не разрешите. Но предполагал, что, кроме вас, во главе заговора должен быть еще кто-то. Узнать о нем было для меня несложно. Я просто явился к своему простодушному родственнику шевалье де Мустье: «Милый Мустье, я все знаю, и запереться не стоит. Вы решили спасти Семью. И граф Ферзен во главе заговора».

Испуг и изумление на его лице были красноречивы. Я продолжил: «Вчера я спас всех вас и этого глупца графа Ферзена, который едва не погубил все дело...— Далее я рассказал Мустье о встрече с принцем.— Как видите, я хочу и могу вам помогать. Поговорите об этом, но только не с графом... ибо мы очень не любим друг друга... а с...» Я — человек театра, так что лицо мое правдиво изобразило мучительное страдание пожилого человека, забывшего хорошо знакомое имя...

Мустье не смог не прийти мне на помощь.

«Казотом»,— вырвалось у простака.

Что делать, бедный Мустье был преданный, честный глупец с невероятной силой мышц, но не ума... Щедрость природы не безгранична.

— Проклятье! — сказал граф.

— Опять банальная реплика... Итак, явление третье — Бомарше пришел к Казоту. К сожалению, Казот не сможет сыграть сегодня свою роль по уважительной причине, впрочем, общей для многих действующих лиц моей пьесы: он отдыхает с отрубленной головой между ногами... Фигаро, текст Казота:

Фигаро читает:

— «Вы должны мне сказать, Бомарше, кто выдал вам дело?»

— «Охотно. Граф Аксель Ферзен... Да, дорогой Казот, все началось с оплошности графа». И далее я не без удовольствия рассказал Казоту, как догадался о побеге.

Фигаро:

— «Ремарка: “Казот закашлялся”».— Он усердно изобразил кашель Казота.

Бомарше:

— Это был постоянный кашель. У Казота болели легкие. Только умоляю, друг мой Фигаро, не кашляй так старательно, произноси текст просто... Казоту в свое время было удивительное видение... Поэтому он беседовал обыденно и печально. Как человек, хорошо знающий, что очень скоро эта невеселая штука жизнь закончится... и для него, и для тех, о ком он так заботится...

Фигаро:

— «Ремарка: откашлявшись, Казот сказал: «Бедный Ферзен хотел испытать карету, и вот такое несчастье. Впрочем, и графу тоже показалось, что принц Орлеанский что-то заподозрил. Он даже решил его убить. Я насилу уговорил его отказаться... Благодарю вас за участие, Бомарше».

— «Но зачем такая огромная карета? Это бросается в глаза. И в пути будет привлекать внимание. Это лишние трудности и опасность».

— «Здесь я и граф бессильны. Если бежит король Франции, вместе с ним бежит Этикет! По Этикету с королевскими детьми обязана быть их воспитательница мадам де Турзель. Она не может оставить детей Франции. С королем должна следовать его сестра. Королева, конечно же, решила везти с собой свой знаменитый несессер с притираниями, духами и румянами — величиной с дом.

А еда... им ведь нельзя выходить из кареты. Король решил быть самоотвержен... согласился есть и пить на ходу. Нанося удар Этикету. Но, зная аппетит Его Величества, пришлось загрузить в карету хлеб, вино, холодную телятину и баранину, и прочее, и прочее... Короче, даже эта огромная карета с трудом все вместила... Впрочем, теперь все это уже не актуально, дорогой Бомарше».

— «А что случилось?»

— «Вы знаете характер нашего короля. И представляете, с каким великим трудом Ее Величество уговорила Его Величество бежать! И вот после того, как граф все организовал, купил экипаж и так далее, Его Величество...

— «Неужто отказался?»

— «Именно, мой дорогой Бомарше. Король объявил: «Я чувствую, мы не доедем даже до первого городка. Ибо знаю: судьба обрекла меня на постоянное несчастье...» Бегство отменено, милый Бомарше».

Бомарше усмехнулся.

— «Если вы хотите водить меня за нос, давайте сразу расстанемся. Хотя вы пожалеете. Вы знаете, Бомарше один из самых больших авантюристов. И что важнее — самый успешный. Я, как никто, могу вам помочь...» Вот здесь Казот задумался и очень долго ходил по комнате.

Фигаро продолжил чтение:

— «Ремарка: “Долго кашляет”. Ну хорошо... Но поймите, мое участие в победе только вспомогательное. Все придумал и организовал граф. Он поклялся королеве своей честью, что все будет хорошо. Но, учитывая известные вам обстоятельства, королю неловко беседовать с графом Ферзенем. И, щадя чувства короля, все переговоры взял на себя ваш покорный слуга. Я также должен придумать, как Семье покинуть дворец незамеченной. Но, честно говоря, здесь я в большом затруднении... Все газеты только и трубят о том, что король решил бежать из столицы. Париж пугают напоминаниями о давней традиции французских королей: в дни смут бежать из столицы, чтобы вернуться вместе с войском и карать смутьянов. Так что меры приняты, караулы во дворце утроены... А между тем все готово: карета куплена и снаряжена. Но как? Как?! Проклятье! Как уйти из охраняемого дворца: ни я, ни они, ни граф — не можем придумать. Послушайте, вы же признанный гений Интриги. Придумайте что-нибудь...»

— «Например, пьесу “Побег из дворца”? Перед ней следует написать ремарку: “И Бомарше покатился со смеху”».

— «Не понимаю, что тут смешного?»

— «Реакция комедиографа: им все смешно... особенно когда следует плакать... Вы просите меня спасти Семью теми же словами, какими восемь лет назад некто просил ее погубить... Хорошо, мосье Казот, я выведу их из дворца. Пьеса Бомарше «Хитроумное бегство коронованных и угнетенных» состоится».

— «Но вы должны поклясться. Таковы правила».

— «И пусть покарает меня Бог, коли я вольно или невольно выдам поверенную тайну!»

— «Я вам верю. Я знаю вас давно, Бомарше, и люблю. Я никогда не верил ужасным слухам о вас».

— «А если бы «ужасные слухи» были верны? Если бы вы узнали, что молодой человек отправил склочную и старую жену на тот свет? Разве вы переменили бы свое решение? Учтите, мой бедный Казот, самый бесчестный человек в Париже — это честный Бомарше. И наоборот. Излагайте обстоятельства. Только всё и подробно».

— «Ремарка: «Кашляет»... Итак, каждый вечер во дворец является генерал Лафайет — проверять королевскую чету. И личный камердинер короля — тайный шпион Лафайета — ночует в комнате короля. Рука этого прохвоста согласно Этикету должна быть ночью привязана к руке короля. Но мы постараемся сменить камердинера».

— «Никогда! Лафайет должен верить, что все под контролем!»

— «Дворец, как я говорил, охраняется усиленно».

— «Ну это не проблема — пару охранников всегда можно подкупить. Особенно теперь, после революции. Я люблю повторять: жаднее богатых лишь вчерашние бедные. А как с паспортами?»

— «Очаровательная русская, баронесса Корф... как и многие дамы в Париже... влюблена в графа Ферзена. Она передала ему свой паспорт и документы своих слуг. Сама баронесса уже покинула Париж, ей удалось добыть себе дубликат».

— «Хорошо. Представим, что мы их вывели из дворца. А далее?»

— «Далее все обговорено. Это единственное, что я могу вам пока сказать».

— «Что ж, тогда до завтра. Завтра я сообщу вам, как их вывести. Но вы должны побеседовать с верными слугами из дворца. Нужен старый план Тюильри времен Людовика Четырнадцатого. Нужны апартаменты с потайным ходом, не обозначенным на плане. Таких во дворце, как я знаю, немало. Наши титаны Любви — оба предыдущих Людовика — оборудовали многие комнаты потайными ходами, чтобы уходить к бесчисленно менявшимся любовницам. Обычно эти ходы выходят прямо на площадь Карузель». На следующий день Казот пришел ко мне и радостно рассказал, что такие апартаменты действительно существуют. И не одни. О них рассказал столетний камердинер. После подробных расспросов я выбрал комнаты Людовика Четырнадцатого в последние годы его царствования. Он жил тогда с этой ханжой госпожой Ментенон. И тщательно скрывал от нее походы к юным фрейлинам... Выбрав апартаменты, я рассказал Казоту всю придуманную мною пьесу. Королева объявляет, что она в положении и ей необходимо более светлое и удобное помещение. После чего Их Величества переселяются в выбранные нами комнаты. Туда через потайной ход к ним пройдут шевалье Мустье с товарищами. Они обсудят с королем и — главное — с королевой все детали побега... Далее — акт второй: побег из дворца.

Явление первое: в день побега в десять часов вечера королева уйдет в свои комнаты будто бы укладывать детей. Она переоденет их и скажет детям, что начинается забавная игра — в тайное путешествие. Она прекрасная актриса... я это хорошо знаю... и все сыграет безукоризненно. После чего через потайной ход она отправит детей из дворца вместе с одним из наших троих гвардейцев. Думаю, с Мустье. Если случится непредвиденное, он способен уложить дюжину, это человек-бык. Мустье их проводит до улочки де Лешель, она рядом с дворцом... маленькая, уединенная, там можно поставить маленький фиакр с графом Ферзеном. После чего королева возвращается в салон и объявляет, что дети, слава Богу, заснули. Там она сидит с королем и с генералом Лафайетом вплоть до того времени, когда они обычно удаляются спать.

— «Без четверти одиннадцать».

— «Итак, к одиннадцати вечера супруги разошлись по своим спальням. И королева, переодевшись в платье служанки, через потайной ход вместе с тем же Мустье снова выходит на площадь Карузель. Под покровом темноты Мустье проводит ее к экипажу на улице де Лешель».

— «А король?»

— «Вы торопитесь. Пьеса с переодеваниями продолжается. Итак, пришла очередь короля. Он отправляется ко сну. Задерживает полог... и дожидается, пока камердинер крепко заснет. Для этого ему лучше подмешать снотворное... Потом привязывает шнур, идущий от руки стукача-камердинера, к ножке кровати! Король у нас любит слесарничать, так что руки у него проворные. После чего Его Величество сползает за полог кровати и через потайную дверь...»

— «Она у него как раз за пологом кровати...»

— «В этом я не сомневался, ведь это апартаменты любвеобильнейшего Короля Солнце... Его Величество откроет дверцу и по лестнице, по которой столько раз спускался на встречу с любовью его предок... вот этой тропой любви выйдет на ту же площадь Карузель на встречу со свободой... предварительно переодевшись в костюм камердинера. Ибо с этой минуты он включается в мою пьесу, где госпожа де Турзель должна исполнять роль баронессы Корф. Ее Величество, обожавшая играть горничных... играла их, кстати, прелестно... станет горничной баронессы, а король исполнит роль камердинера... Дофин и дочь станут детьми мадам Корф. Принцесса Елизавета — второй служанкой, Мустье и два других гвардейца должны играть роль курьеров или слуг в зависимости от обстоятельств. Ибо большая карета, занавески которой должны быть опущены до самой границы Франции, будет объявляться то казной, которую сопровождают курьеры, то каретой с путешествующей русской баронессой, ее слугами и домочадцами...»

И, обратившись к Ферзену, Бомарше добавил:

— Так что это я, граф, распределил Семье новые роли. И весь план, который изложил вам тогда Казот и который вы утвердили,— это была всего лишь пьеса, придуманная Бомарше!

— Как же он смел, не посоветовавшись со мной!.. — начал граф.

— Я просил его не делать этого,— сказал Бомарше.— Объяснил, что у нас с вами непростые отношения... И не стоит гневаться на мертвых, тем более пытавшихся хоть как-то преуменьшить беду от вашей глупости, граф... Кстати, неужели вы тогда поверили, что весьма неискusstный сочинитель Казот мог все это придумать? Как же вы не догадались, что сей хитроумный план... все эти переодевания напоминают пьесу, которую не под силу сочинить доброму Казоту. Здесь, граф, *единственный в мире почерк* — Бомарше!

Он наслаждался яростью графа.

— Я ненавижу вас! Мы будем драться. И немедленно.

— Ни за что. Вдруг вы действительно меня убьете, и лучшая пьеса Бомарше не будет доиграна до конца. А ведь вас, граф, ждет удивительный финал.— Бомарше перешел на шепот: — Впрочем, мне кажется, что вы о нем давно знаете. И потому боитесь моего рассказа... Неблагодарно, граф!

Ферзен замолчал. Он сидел в некоем оцепенении.

А Бомарше продолжил:

— Мы встретились с Казотом через неделю. И он сообщил мне, как начали действовать мои персонажи. Фигаро, текст мосье Казота!

— «Вы гений, мой друг Бомарше. Все идет как по маслу! Ее Величество переехала в новые апартаменты, и через потайной ход к ней уже приходили шевалье де Мустье и два других наших гвардейца... Они принесли костюм для короля. Его Величество очень ворчал, примеряя livreau дворецкого».

— «Когда намечен побег?»

— «Все произойдет между одиннадцатью часами и полночью». Реплика: «Долго кашляет. Бомарше рассмеялся».

— «Не беспокойтесь, дорогой Казот, о числе я вас не спрошу... Теперь окончательный план. Сначала один из ваших гвардейцев...»

— «Граф де Мальден».

— «Думаю, лучше мой родственник Мустье. Ибо здесь понадобится сила... Он проберется в апартаменты королевы, где ему будет вручен ее тяжелейший несессер... Он отвезет несессер в особняк графа Ферзена и погрузит в главный экипаж. Экипаж последует к заставе Сен-Мартен. В нем шевалье де Валори будет ждать прибытия королевской семьи. А Мустье и Мальден в небольшом фиакре поедут ко дворцу и остановят его на улочке де Лешель. После чего оба гвардейца поднимаются в апартаменты королевской семьи, чтобы сопровож-

дать всех по очереди к фиакру. Да, кстати, кто будет править лошадьми в фиакре?»

— «Нанятый кучер».

— «Какая чепуха! Зачем лишний свидетель? На козлах должен сидеть сам граф Ферзен, переодетый кучером».

Бомарше обратился к Ферзену:

— Так что я, граф, дал сыграть вам эту роль. Хотя, как вы увидите далее, Бомарше предназначал для вас роль куда почетнее... Аплодисменты! Конец первого акта.

Бомарше галантно раскланялся перед невидимой публикой.

И продолжил «играть свою пьесу»:

— «Итак, дорогой Казот, после того как все усядутся в фиакр, граф Ферзен отвезет их к заставе Сен-Мартен, где будут ждать Валори и большой экипаж, груженный всем необходимым...» Здесь Казот прервал мою речь. Фигаро, текст Казота.

— «И вот здесь на заставе граф должен покинуть их».

— «Покинуть? Почему?»

— «Дальше все сравнительно безопасно. По всей дороге уже расставлены отряды, которые будут их встречать и сопровождать. Карета будет ехать с опущенными занавесками, а солдаты должны считать, что сопровождают казну с жалованьем. Обычно она и перевозится в таких огромных каретах... Отряды будут двигаться метров на двести впереди и позади экипажа. А рядом с каретой будут скакать наши три гвардейца в одежде государственных курьеров... Вот и все, что я могу вам пока сказать... о дальнейшем».

— «Вы сказали мне достаточно... «Солдаты должны считать...», «будут расставлены отряды...» Я уверен, что вы излагаете мне слова графа Ферзена. Но вы не хуже меня понимаете, дорогой Казот, что «должны» и «будут» — весьма опасные слова в дни революции. Дисциплина давно закончилась, и революционные солдаты радостно не слушаются офицеров-аристократов... К тому же разные скорости. Карета старой власти, уверяю вас, будет двигаться медленно. Бутылки вина, воды. Жара, будут много пить. Частые остановки, чтобы справить естественные надобности путешественников. И что самое ужасное, с Семей в карете будет ехать тысячелетний Этикет. Все эти несессеры, еда на серебре, госпожа де Турзель и прочие плоды Этикета. А революция — весьма быстрая дама и подвижная. Иностранец граф Ферзен не до конца понимает, что сейчас у нас происходит. Но вы-то понимаете: слишком много винтиков, которые должны дружно сработать в нынешнем хаосе. А это нереально!»

— «Что вы предлагаете?»

— «Нужен один человек, который будет рядом с Семей на протяжении всего пути. Который должен быть и храбр, и расторопен, и достаточно сообразителен, и предан, и готов рисковать жизнью, пытаясь справиться со всеми неожиданностями, которые, уверяю вас, будут постоянно возникать в пути... Им сможет быть только граф Ферзен! Зачем же ему покидать их после того, как они переседают в большую карету? Покидать, когда все только начинается! Какая глупость!»

— «Он должен их покинуть. Он не может быть рядом с королевой в долгой дороге. И вы отлично знаете почему. Мы должны щадить чувства короля. Ее Величество это тоже хорошо понимает».

— Здесь ремарка,— сказал Бомарше.— «Бомарше надолго задумался. Наконец он сказал: «Хорошо, тогда у меня есть другая кандидатура».

— «Так быстро?»

— «Я предполагал ваш ответ, Казот. Вы правы, честь дороже жизни, и роль Франции не может быть смешным. Но чтобы ему не стать персонажем кровавой трагедии... короче, есть некий артиллерийский лейтенант, корсика-

нец... Его полк стоит в Валансе, он совершенно нищ, живет вместе со своим младшим братом, которому пытается дать образование, так что сам не всегда ест. Его рекомендовал мне в свое время для одной опасной истории с продажей оружия другой корсиканец, мой друг Саличети, депутат Конвента. И операцию эту лейтенант провел блестяще... Я хочу, чтобы вы его повидали. Я за него рвусь».

— «Но если его полк стоит в Валансе...»

— «Я вызвал его. Он прибудет завтра в город. И будет ждать вас рано утром».

— «Во сколько?»

— «В четыре».

— «Я не понял...»

— «Я тоже вначале. Оказалось, он спит по три часа в сутки, так что день у него начинается в это время. В это время он читает, пишет... Уже в семь у него начинаются артиллерийские стрельбы на полигоне. Он их не пропускает. Считает, что наступает век пушек».

— «Я готов с ним встретиться. Но надеюсь...»

— «Конечно, знать он ничего не будет. Пока вы не решите окончательно. Только не обращайтесь внимания на его рост. Он щуплый, но при этом необычайной силы. Саличети рассказывал, что в военном училище он беспощадно лупил самых сильных сверстников, которые издевались над его смешным корсиканским акцентом...»

Бомарше помолчал и обратился к графу:

— Вы по-прежнему хотите меня прикончить? Или узнать все до конца?

— Продолжайте,— сказал Ферзен.

И Бомарше продолжил:

— На рассвете Казот подъехал к моему дому. Было четыре пятнадцать, и лейтенант уже ждал его ровно пятнадцать минут. Я в полудреме слушал, как они разговаривали... Явление четвертое: Казот и лейтенант... Фигаро, текст за обоих!

Фигаро начал монотонно читать:

— «Вы что же, вправду никогда не спите, лейтенант?»

Ремарка: лейтенант только пожал плечами и сказал:

— Вы не находите, что жизнь слишком коротка, чтобы ее просыпать?

Три часа на сон — это три часа, выброшенных из жизни... Поверьте, и это — мотовство...

Ремарка: Казот заметил книгу в руках лейтенанта.

— Что вы читаете?

— Кодекс Юстиниана. Я не читаю, учу наизусть.

— Зачем?

— Это мне пригодится.

— Вы хотите... издавать законы?

— Скорее управлять теми, кто будет их издавать.

Ремарка: добрый Казот был несколько растерян. Но, помолчав, спросил:

— Как вы относитесь к королю?

— Я не могу его понять.

— А именно?

— Как он мог разрешить увезти себя в Париж? Как он мог покориться толпе черни, пришедшей в Версаль?

— Но что он мог поделаться?

— Поставить две пушки у ограды. Плюс одну напротив центрального балкона. И три выстрела, уверяю, рассеяли бы эту сволочь!

— Но это были женщины. Они пришли просить хлеба.

— Пушки не занимаются определением пола. Пушки стреляют.

— Людовик — добрый король. Он не мог.

— Когда я слышу: «Добрый король», я говорю: «Какое неудачное в стране правление». Но скоро настоящая власть вернется во Францию.

— Вы думаете?

— Уверен. Люди уже устали от свободы. Свобода предполагает личную ответственность за происходящее. Вы плохо спите, вы говорите себе: «Так ли я живу?» Или мучаетесь, почему кто-то живет лучше и преуспел больше. Совесть, страдание... ощущение собственной неполноценности... это итоги свободы. То ли дело, когда король или диктатор отнимает у граждан проклятую свободу и вместе с ней самое тяжкое — бремя выбора, решений. Он выбирает за них. Они имеют право сказать себе: «Мы хотели, но не можем. Мы не состоялись и не потому, что бездарны, а потому, что правитель мешал нам». К ним возвращается состояние детства, совесть имеет право замолчать, они безгрешны. Только истинный диктатор возвращает людям это чувство. И я уверен, что люди, прогнав короля, уже скучают по его власти — Отцу нации.

— Значит, вы думаете, что король вернется?

— Король — никогда. Ибо с ним могут вернуться аристократы. И хотя народу не нужна свобода, но равенство ему необходимо. Люди ненавидят привилегии соседа. Нет, король не вернется, но вернется власть! Новый хозяин страны даст всем равные права. И в том числе равенство общего подчинения ему — Отцу нации.

Ремарка: комната была тускло освещена. Казот долго молчал, сидя в рассветном сумраке. Наконец сказал:

— Это ужасно, но вы правы. Однако дело, ради которого я пригласил вас, требует службы королю.

— Я говорил вам о велениях истории. Но практики могут изменять ее ход. Во всяком случае, на время.

— Дело обещает быть очень опасным.

— Но именно за это вы хорошо заплатите. Так я понял из слов гражданина Ронака. Что же касается опасности... Вы можете зарыться на сто футов в землю, но если пуля предназначена вам, она вас и там найдет... Я думаю, сказал достаточно, чтобы вы могли понять, соответствую ли я рекомендациям, которые дали те, кто видел меня в деле. Позвольте откланяться. Я прошу сообщить ваше решение не позже чем послезавтра.

— Надеюсь, не в пять утра?

— Если решение будет положительным, то лучше в четыре. Чтобы не терять драгоценного времени. Мосье Ронак знает как и где меня найти».

— После его ухода Казот прошел ко мне в комнату и сказал: «Он ушел, да же не попрощавшись... А кто такой мосье Ронак?»

«Так я называю себя, когда пускаюсь в сомнительные предприятия. Я предпочитаю, чтобы он знал меня под этим именем. Что вы о нем скажете?»

«Страшный молодой человек. Когда он взглянул на меня... это был взгляд, от которого я почему-то задрожал».

«Это — тот человек».

«Несомненно. Но вам придется убедить в этом королеву. Она теперь занимается всем. Это поразительно: она, которая жила только для развлечений, без зевоты не могла слушать о политике, принимает министров, ведет тайную переписку со всеми дворами и готовит побег. Король в прострации, она теперь наш король. Вы должны с ней поговорить. Это, кстати, ныне несложно. Так как газеты не перестают трубить о бегстве короля, королева придумала успокоить публику. Ее Величество и сестра Его Величества принцесса Елизавета вечерами гуляют в Булонском лесу. Завтра они будут там между шестью и семью вечера. Как зовут вашего лейтенанта, граф?»

«Какое-то корсиканское имя, которое невозможно запомнить».

«Вы не хотите сказать?»

«Да, пока вы не решитесь. Так мы с ним условились. Он, конечно же, не хочет стать известным в неизвестной ему истории. Я обещал...»

И вот тогда наступила одна из кульминаций пьесы. Явление пятое. В Булонском лесу в шесть вечера. Бомарше, королева и принцесса Елизавета. Антуанетта так изменилась. Вчерашняя взбалмошная девочка, королева рококо, стала прекрасной печальной женщиной... Фигаро, передай мадемуазель текст королевы!

Мадемуазель де О., несколько опьянев, нетвердым голосом начала читать текст королевы:

— «Здравствуйте, Бомарше. Я рада, что вы с нами».

— «Ваше Величество. Я ваш верный слуга».

— «Надеюсь, я не подведу вас и сыграю свою новую роль не хуже, чем в Трианоне».

— «Я в этом уверен. Но, Ваше Величество, мы должны думать и об успехе всей пьесы. А здесь многое будет зависеть и от партнера».

— «Поверьте, мой партнер достоин вашей пьесы».

— «Я уверен в этом. Но сможет ли он быть с вами все действие?»

— «Увы, нет».

— Вы торопитесь, — обратился Бомарше к мадемуазель де О., — а здесь ре-марка.

Мадемуазель де О.:

— «Она прелестно вздохнула: «Увы, нет».

— «А у меня, Ваше Величество, есть великолепный протез на роль, конечно, не партнера, но заботливого и умелого слуги. Мосье Казот имел возможность его увидеть — он сможет вам это подтвердить. Я прошу вас обсудить это с мосье Казотом, избегая отвергнутого судьбой партнера. Ибо по опыту могу сказать: актеры не терпят умелых соперников на сцене. А мой протез создан самой судьбой для опасных ролей».

— «Ах, Бомарше, я не знаю, чем все это закончится, но знаю, что ни о чем не буду жалеть. Нельзя покорно сносить унижения».

— «Как насчет моего протеза, Ваше Величество?»

— «Вам передаст мосье Казот. Я переписываюсь с ним ежедневно».

— И мосье Казот вскоре передал мне ответ королевы: «Нет!..» Что ж вы молчите, граф? — обратился Бомарше к Ферзену. — Это ведь был привет от вас... который столько раз губил ее своими советами. Который и сейчас лжет, будто не знал о моем участии. Знал и жалко ревновал. Этот безумец ревновал ее к людям, цветам, даже срубленным деревьям... Да, я любил ее, а вы погубили! Пистолеты в вашем распоряжении. Ибо я закончил.

Граф сказал, как-то сразу охрипнув:

— Вы... вы ничтожный...

— Простолюдин, — улыбнулся Бомарше.

— Вы посмели охотиться за нею. Она рассказывала, как на репетиции вы смотрели на нее.

— Даже это рассказывала?... Да, мой друг, я люблю дам — молодых и не очень, красавиц и не очень. Всех, кто репетировал в моих пьесах... — Бомарше засмеялся. — Впрочем, и в чужих тоже... Но это вы погубили ее! Как мы с вами теперь хорошо знаем, мой корсиканец не умел проигрывать. Он спас бы и ее, и семью.

Граф Ферзен поднялся.

— Как, вы нас покидаете, граф? Не убив меня?

— Достаточно того, что вы меня убили. Будьте прокляты!

— Однако каков финал! За это непременно следует выпить!

— Наконец-то! — воскликнул маркиз.

Граф остановился в дверях и с волнением следил за Бомарше.

Бомарше поднял бокал и оглядел присутствующих:

— Может быть, кто-то хочет сказать?

Но все молчали.

— Ну что ж, тогда я: за финал!

И он медленно выпил вино.

— Bravo! — прошептал маркиз.

А Ферзен, не прощаясь, вышел. Точнее, выбежал из комнаты.

— И граф торопливо покинул нас, — снова засмеялся Бомарше. — А теперь, — обратился он к мадемуазель де О., — за ним! Фигаро посадит тебя в карету и объяснит, как найти логово несчастного графа. Вперед, мадемуазель! Граф хорошо заплатит. Ему надо забыться... в объятиях королевы. И если ударит, не отставай. Он сдаться или... или сегодня же покончит с собой. — Бомарше усмехнулся. — Нет, сдаться, бьюсь об заклад!

— А если прогонит? — Мадемуазель де О., торопясь, допивала оставшееся на столе вино.

— Если прогонит, то Бомарше — дурной писатель. Но это не так. Прощай!

— А разве мы не увидимся? — Мадемуазель обращалась сразу к маркизу и Бомарше.

— Уверен, нет. Он заберет тебя с собой. Прощай, шлюха! И будь счастлива, королева.

Мадемуазель расхохоталась и выбежала из комнаты.

Фигаро степенно уложил листы ролей в красный переплет и направился к выходу.

— Возвращайся скорее, Фигаро. Я хочу *успеть с тобой попрощаться*. — Бомарше обнял молчаливого слугу.

Фигаро кивнул и вышел вслед за мадемуазель.

— Послушайте! — вскричал маркиз. — Кто дал вам право распоряжаться мадемуазель? Эта наша общая собственность.

— Иначе он и вправду покончит с собой. Я не хочу, чтобы его жизнь была на моей совести. Особенно сегодня. Дадим ему утешение... Да, бедный граф, — усмехнулся Бомарше, — он так и умрет, ничего не поняв. Ведь он, как и вы, не знает, на что способна интрига в настоящей пьесе.

— Ну не мучьте, я страшно любопытен. Что вы могли еще придумать? Какой еще «блестящий» и оттого банальный ход? — Маркиз исследовал пустые бутылки на столе. — Проклятье, шлюха выпила все вино!

— Вы хотите узнать всю пьесу? — Бомарше положил рукопись в вишневом переплете в секретер и демонстративно повернул ключ в замке.

— И заодно попросить немного вина.

— Вино будет по возвращении Фигаро. Что же касается пьесы... вас ждет много приятных и неожиданных сюрпризов... Пьеса продолжалась. Явление шестое. Дом Бомарше после побега. В полночь король и Семья благополучно бежали из Парижа. Бомарше спит. В четыре утра его будят. Оказывается, юный лейтенант пришел за ответом. В суете приготовлений к побегу я о нем совсем забыл. Спросонья велел Фигаро сказать, что все изменилось, его услуги не нужны, велел дать ему денег... немного. И выгнать негодяя, нарушившего хрупкий сон старого писателя. Но он не ушел. От этого маленького человечка исходит какая-то странная энергия. И Фигаро, думаю, к собственному изумлению, привел его ко мне. Он сел перед кроватью и вместо приветствия начал читать слова Фигаро из пьесы: «После того, как за мной опустился подъемный мост тюремного замка, я хотел только одного: чтобы эти люди, которые так легко подписывают эти грозные бумаги, сами попали сюда однажды». После чего он спросил: «Неужели вы расхотели, гражданин Ронак?»

«Именно так»,— сказал я ему.

«Но если они вернуться к власти, Фигаро конец. Вашему Фигаро. Сейчас они в беде и милы. Люди в беде всегда милы. Но, когда вернуться с армией, будут беспощадны».

«Молодой человек! «Я все видел, всем занимался, все испытал» — это все тот же Фигаро из пьесы. И теперь я уверен: несправедливость не зависит от строя, это свойство рода человеческого. И монархисты, и революционеры, когда они во власти, одинаково гадки. Чего вы хотите еще, лейтенант?»

— Bravo! — сказал маркиз.— Наконец-то, хоть банальное, но верное...

«Я хочу, мосье Ронак,— сказал этот молодой дьявол,— только одного. Чтобы вы подтвердили, правильно ли я догадался. Птички решили покинуть клетку?»

«Послушайте, но вы же поклялись служить этому делу. Вы с самого начала лгали?»

«Нет. И вы это знаете. Получив деньги, я выполняю соглашение. Всегда. Но, к счастью, мне отказали, и я свободен. Я не хотел бы отдать им то, что должно по справедливости принадлежать Фигаро... То есть мне...»

Я промолчал. Он же весело расхохотался.

«Спасибо. Не возражая, вы подтвердили. Итак, бегут. Когда это должно случиться?»

«Позвольте мне выпить кофе, друг мой, прежде чем я вам отвечу...»

Я выпил кофе, не торопясь оделся... Написал несколько деловых писем. На часах был уже шестой час. Они были почти пять часов в дороге. Их наверняка уже встретили верные гвардейцы. Пьеса фактически закончилась, интрига умирала. Пять часов преимущества дал я старой власти в моей пьесе. Почему бы не дать призрачный шанс их недругу Фигаро? В конце концов он прав. Мы должны любить своих героев, даже если в будущем они убьют нас. Тем более что это вновь оживит интригу.

И я позвал его и сказал, засмеявшись: «Птичка уже улетела».

«Проклятье! Я так и подумал: в полночь, тотчас после ухода генерала Лафайета!»

«Ну и что же вы собираетесь делать? Донести?»

«Кому? Глушцам? Тем более что наступает утро, каких-нибудь полчаса — и они сами их хватятся...»

«Значит, поздно, лейтенант».

Однако он оставался совершенно спокоен. Он сказал: «Неумная фраза. Ответ, достойный Фигаро, только один: «Ничто не поздно, пока у тебя есть лошадь и шпага»... Прощайте».

И он не торопясь... повторю — не торопясь ушел.

Но как только дверь захлопнулась, я услышал дробь каблуков: он буквально скатился с лестницы.

И пьеса продолжилась. Вы не знаете ее подробностей, но знаете финал!

— Ужасно,— сказал маркиз,— но вы же любили ее!

— Я ее желал. Но в отличие от вас я не могу погрузить весь мир в пещеру между ногами. Удачная пьеса забавней любви. Особенно когда она управляет Историей... А какие персонажи сыграли в ней свои роли!.. Клянусь, этот лейтенант уже тогда был убежден, что спасает трон для себя. Он уже тогда знал, что родился стать Цезарем... Однако время. Пора ко сну. Прощайте, маркиз. Какой чудный обед приготовил мой Фигаро. И главное, какое отличное вино! Не так ли?

— Ту вы правы... совершенно правы,— с плохо скрытой усмешкой ответил маркиз,— вино отличное.

— Не позже, чем через полчаса, вы поймете, что ваша реплика была неудачна. Как прекрасно вставать и слушать: «С добрым утром, Бомарше». Прекрасней этого только **не вставать**. Да, еще... Я долго думал над вашим сочинением, которое нашел тогда на площади...

— Взяли! Взяли! — закричал маркиз.

— Непременно. Взял, потому что поразила длина свитка. Он буквально летал по площади, изгибаясь, как змея. Я смог поймать его, только наступив сапогом.

— Прочли?! — Маркиз задышался.

— Ничего отвратительнее я не читал. И сжег почти с ужасом.

— Вы ждете!

Бомарше помолчал, потом сказал:

— Так что вы зря мечтаете порыться в моих бумагах.

— Вы... негодяй!

— Я уже говорил графу: это банальная, плохая реплика. Реплика-сорняк... И потом, уже после того, как я сжег вашу рукопись, я продолжал думать над прочитанным. Я все пытался понять: кем же вы были, несчастный человек? Вы были **Предтеча**. Предтеча дьявола. Сами не понимая, вы протрубили миру о его приходе. И грядущем торжестве. Об этом все ваши жестокости, извращения и ужасы. И дьявол пришел с именем Революции. И, думаю, вы правы, он еще прославит вас... А Бомарше? Бомарше сделал то, что мог: сжег ваш свиток. Прощайте, грядущий Хам, о котором все столько твердили. Я иду спать.

— Прощайте, — с угрозой сказал маркиз.

В комнату вошел Фигаро.

— Шлюха пристроена?

Фигаро молча кивнул.

— Я не ошибся, рад... Я отправляюсь спать, мой друг. Спать буду сегодня в маленькой комнате, — сказал Бомарше и обратился к маркизу: — Вы можете еще посидеть и выпить вина — Фигаро принесет. Тем более что у вас здесь есть дела. Вы ведь не верите, что я ее сжег?

— Я не понял?

— В том-то и дело, простодушный маркиз. Вы тоже не поняли пьесу... Позволь мне проститься и с тобой, мой Фигаро. Поцелуй меня.

Фигаро подошел к Бомарше. И поцеловал его.

— Bravo! Вы уверены, маркиз, что это был банальный поцелуй Иуды. Но Бомарше всегда оригинален. — Бомарше улыбнулся Фигаро. — Ты старательно играл в моей пьесе. Я хочу, чтобы ты вернулся туда, откуда я тебя когда-то взял. Возвращайся в театр. Жизнь, конечно, театр. Но слишком грустный и банальный... В пьесах она интересней. И запомни, — Бомарше подмигнул, — пьеса должна кончаться или гениально, или хотя бы неожиданно. Итак, идет моя последняя реплика: «И Бомарше исчез за *пыльным занавесом*. **Навсегда**».

Засмеявшись, он поднял вишневую занавесь и исчез в маленькой комнате. И стена за ним закрылась.

— Что он нес? — грубо обратился маркиз к Фигаро.

— Не знаю, у него привычка — говорить непонятно.

— Ты нас обманул?

— Нет. Все как договорились. Вино убьет его. Через полчаса его не будет.

— Ключ от секретера! — повелительно сказал маркиз.

— Вы торопитесь, сударь.

— Это мое дело. Добрый граф дал тебе, прохвост, можно сказать, состояние.

— Ключ у хозяина. Потерпите полчаса, сударь...

Но нетерпеливый маркиз не слушал, он уже приготовился воевать с секретером. Рванул крышку, которая... легко открылась. К его изумлению, секретер был не заперт. И почти пуст. Там лежала только толстая рукопись в вишневом переплете.

Он торопливо открыл ее. Сначала шел ворох неразборчиво исписанных листочков, озаглавленных: «Пьеса». А под ними на дне вишневой папки он обнаружил пару десятков листов, аккуратно переписанных тем же почерком и озаглавленных:

***Бегство в Варен,
точно записанное господином Бомарше по показаниям
участников — шевалье де Мустье и герцога Шуазеля***

Более в секретере ничего не было.

Маркиз начал читать написанное:

«Прежде чем записать все это, я, Пьер Огюстен де Бомарше, долго беседовал с милым Мустье, а также с его другом герцогом Шуазелем. И обстоятельство, мной от них услышанные, излагаю в нижеследующем документе».

«Все прошло как по маслу. Пьеса Бомарше «Побег из дворца» оказалась совершенна.

В десять часов вечера королева оставила гостиную, чтобы «уложить детей». На самом же деле, впустив через потайную дверь шевалье де Мустье, она быстро одела дофина и дочь и препоручила их его заботам.

После чего вернулась в салон. В это время, как обычно, во дворец приехал генерал Лафайет — проверять Семью. Он беседовал с королем о делах в Париже.

Мустье вывел детей через лабиринт потайных ходов прямо на площадь Карузель. Под покровом ночи он отвел детей в фиакр, спрятанный на улице де Лешель. Дети тотчас уснули в фиакре. Граф Ферзен, переодетый кучером, вооруженный пистолетами, сидел на козлах и сторожил их.

Мустье вернулся во дворец и через тот же потайной ход пришел за королевой.

Королева еще беседовала в салоне с Лафайетом и королем. Около одиннадцати она объявила, что уходит спать. Вскоре после ухода королевы попрощался и генерал, пожелав королю доброй ночи.

Вернувшись в свою комнату, королева быстро переоделась в то самое сиреневое платье Розины, которое ей сшила мадам Бертен для «Цирюльника». Надев шляпу с полями и дорожный черный плащ, она вместе с Мустье прошла по потайным лестницам на площадь Карузель и... едва не попала под вылетевшую из ворот дворца карету Лафайета! За каретой скакал эскорт Национальной гвардии. Королева не потеряла самообладания, она только прошептала Мустье: «Идите вперед один, если эти негодяи нас заметят, все пропало». И отступила в тень портика дворца...

Некоторое время королева стояла, сдерживая сердцебиение. Потом она объяснила Мустье свой ужас: ей показалось, что Лафайет ее видел, будто он даже встретился с ней глазами. «Я видела... видела его изумленный взгляд».

Но карета благополучно проехала, и королева возблагодарила Бога, что Лафайет ее не узнал!

(Хотя, думаю, узнал. Может быть, благородный Лафайет хотел, чтобы они бежали из Парижа? Может быть, он понимал, что уже бессилён защитить их от революционной черны?)

Когда Лафайет проехал, Мустье благополучно отвел королеву к фиакру. Он тоже был взволнован встречей и от волнения даже не сразу смог найти дорогу.

Потом он вернулся за королем. И вскоре привел в фиакр и Его Величество. Увидев короля, Антуанетта расхохоталась и сказала: «Ваше Величество, вы зря не участвовали в наших спектаклях». Действительно, в широкополой шляпе, в парике, неуклюжий и толстый Его Величество был совершеннейший дворецкий. Затем из дворца вывели принцессу Елизавету и воспитательницу детей мадам де Турзель.

Теперь все были в сборе и тесно сидели в маленьком фиакре. Опустили занавески. Было душно. Дети по-прежнему спали.

Граф Ферзен хлестнул лошадей. Беспрепятственно они доехали до заставы Сен-Мартен.

В темноте пустой улицы высился огромный дорожный экипаж, на козлах сидел шевалье де Валори.

Ферзен подогнал карету вплотную к экипажу, и вся королевская семья перелетела туда, не ступая на землю. Наконец-то все разместились с удобствами.

Граф Ферзен рванул за удила лошадей, запряженных в фиакр, так, чтобы лошади опрокинули его. Перевернутый, будто из-за несчастного случая, фиакр бросили на дороге. Мустье и Мальден вскочили на освободившихся лошадей. Граф Ферзен сел на козлы дорожной кареты, и экипаж тронулся.

Шел первый час ночи, когда экипаж, сопровождаемый всадниками, оставил заставу Сен-Мартен.

Мустье и Мальден скакали рядом с экипажем. Оба были теперь одеты в платье правительственных курьеров — желтого цвета камзол, лосины, круглые шляпы. Они должны были объявлять, что в карете везут казну — деньги для армии, стоявшей у границы. Третий гвардеец, шевалье де Валори, в таком же желтом платье курьера был отправлен далеко вперед, чтобы заблаговременно готовить сменных лошадей.

Граф Ферзен, держа огромный кнут, не переставал охлестывать лошадей. Экипаж весело несся в кромешной тьме безлунной ночи.

Так доехали до Бонди.

Как только миновали заставу в Бонди, состоялось прощание графа Ферзена с королевской четой. За кучера сел Мальден. При первой же смене лошадей решено было нанять настоящего кучера...

Мустье рассказал, как король вышел из кареты, и граф низко поклонился ему. Тучный король неловко обнял стройного шведа и сказал, что никогда не забудет того, что граф для них сделал. Король был растроган.

Королева из кареты не вышла. Но занавеска поднялась и они «обменялись взглядами, и какими взглядами!». Так сказал Мустье. Троице сейчас было не до ревности и не до пересудов. На кону были жизнь и смерть...

До Шалона скакавший рядом Мустье слышал непрерывный смех и очень веселый голос Антуанетты за занавеской кареты.

«Я представляю лицо Лафайета.— Она заливалась смехом.— Почему вы такой мрачный, сир?.. Они если и хватились нас, то только что... Мы выиграли целую ночь»,— приставала она к молчаливому королю.

На что король монотонно повторял: «Мадам, я неудачник в жизни и по-прежнему сомневаюсь, что путешествие удастся».

«Ваше Величество хочет обвинить меня заранее?»

«Я благодарен вам, мадам. Мы обязаны были сделать это, мы должны были бегством из собственного дворца объяснить своему народу, что его король несвободен. И должен бежать из своей столицы, как из неволи».

Но он волновался и потому много пил воды и постоянно ходил оправляться. Мустье слезал с коня и заслонял его. Мустье поведал, как Его Величество,

поправляя брюки, сказал: «Если будет неудача, всякое дальнейшее сопротивление насилью этих безумных будет уже бесполезно. Общественное мнение нельзя будет убедить даже воззванием к народу, которое я оставил на камине в своем кабинете».

К Шалону подъехали без приключений.

Так что, повторюсь с удовольствием, пьеса, придуманная Бомарше, была безукоризненна.

В Шалоне начинало действовать сочинение графа Ферзена. И оно быстро показало свою бездарность.

После Шалона за безопасность кареты должен был отвечать маркиз Буайе. Это был тот единственный генерал, который согласился отдать своих солдат в распоряжение короля. Его корпус стоял на границе с Люксембургом у Стеней. Недалеко от этого города королевская семья предполагала пересечь границу.

Видимо, герцог Орлеанский все-таки продолжал что-то подозревать или до него дошли какие-то слухи. Накануне побега королевской семьи к Буайе приискал принц Лозен. Вчерашний воздыхатель Антуанетты, а ныне сторонник и друг принца Орлеанского служил теперь генералом у революции. После долгого разговора о том, как принц Орлеанский любит своего короля и как их поссорили завистливые придворные, Лозен заговорил о грозной ситуации для короля в Париже. «Им нужно срочно бежать из Парижа», — сказал Лозен и вопросительно посмотрел на Буайе.

Буайе только усмехнулся. Пожал плечами и сказал, что не понимает, к чему клонит Лозен.

Так что принц Орлеанский опять ничего не узнал.

Как условились граф Ферзен и Буайе, на всем пути следования экипаж должны были поджидать отряды, высланные навстречу генералом. Они должны были обеспечить полную безопасность движения кареты по пути от Шалона до границы. Первый эскадрон гусар должен был ожидать карету у въезда в Шалон, другой отряд должен был принять карету в Понт-де-Соммевеле, пятьдесят драгун должны ждать карету в Сен-Менеуле, отряд графа де Дама должен был встречать карету в Клермоне, и, наконец, отряд гусар поджидал карету в Варенне. Все они могли легко освободить карету, если ее задержат. Отрядом в Варенне, последнем городе на пути к границе, командовал Буайе-сын. Он и должен был доставить карету к своему отцу. После чего маркиз Буайе во главе немецкого полка (на французскую пехоту полагаться было опасно) должен был эскортировать короля до границы...

Этот немецкий полк в несколько сотен всадников стоял в Стенее. Он мог за несколько часов достигнуть любой точки на пути следования королевской кареты и отбить короля, если бы с королевской семьей приключилось что-то неладное. План этот много раз обсуждался графом Ферзеном и маркизом. И сам Буайе под предлогом обследования границ много раз выезжал инспектировать дорогу.

Все было проверено, но, как и предполагал я, Бомарше, они были дурные сочинители, ибо не учитывали, что их пьесу обязательно будет править Революция.

Невезение, которого так ждал король, началось в Шалоне. Никакого эскадрона, который должен был встречать их у заставы, Мустье не увидел...

Он решил не расстраивать короля и ни слова не сказал ему об этом.

Они наняли в городе опытного форејтора со свежими лошадьми. Но, когда они покидали город, у самого выезда из Шалона загадочно пали все четыре лошади. Хотя были крепкие, отличные кони. Будто пораженные ударом молнии, они лежали на земле. Смотрели покорными глазами, и ребра их поднимались — они хрипели.

Мустье с трудом вытащил форејтора из-под упавших лошадей и схватил за горло: «Почему ты взял таких лошадей?»

Но тот, задыхаясь, уверял: «Эти были самые лучшие. Сам не понимаю! Может, что-то в овес подсыпали...»

Лошадей пришлось бросить подыхать на дороге. Спасибо, с каретой ничего не случилось. Царственные путники сидели испуганные за занавесками и молчали.

Долго искали лошадей.

К счастью, Мустье наконец нашел их. И эта удача вселила великое оживление в короля. Он сказал, что «его звезда впервые благоволит ему». Ибо он загадал, что если они благополучно проедут Шалон, то оставшаяся часть пути не доставит никаких трудностей. Ее Величество расхохоталась и посоветовала всегда слушаться ее.

Карета покинула город. Был рассвет, и домики на окраине утопали в сонной тишине и цветах. Лошади бежали бойко, и король пришел в самое беззаботное, веселое расположение духа. Он первый раз заговорил о еде.

«Он даже не заметил, что в Шалоне нас никто не встретил», — рассказывал потом Мустье.

Проехав городок, Семья приступила к трапезе. Король ел с большим аппетитом. Ее Величество подозвала Мальдена к окну кареты, предложила ему и Мустье поест. Пошутила насчет их смешных костюмов. Сказала, что на ближайшем маскараде, который непременно устроит ее брат в Вене, надеется видеть их в тех же костюмах. Еще она сказала, что, без сомнения, сейчас, когда они беседуют, «Лафайету весьма не по себе». И расхохоталась.

Она была очень весела.

Два раза, куда меняли лошадей, король выходил оправиться. Мадам де Турзель искренне страдала, видя, как рушится Этикет. Король шутил по поводу мадам де Турзель и Этикета. Сказал, что согласно Этикету прикрывать его должно не шевалье, а графу. Так что на этот раз его загоразивал от любопытных взглядов граф Мальден. Королева и дети сделали «свои дела» в маленьком леске на холме. Мальден помог всем спуститься и снова сесть в карету.

Необъяснимые вещи продолжали происходить. По прибытии в Понт-де-Соммевель они опять не нашли встречающих гусар.

В этот момент мимо скакал на лошади какой-то щуплый, похожий на девочку лейтенантик. Он был весь в пыли и дорожной грязи. И лошадь его уже с трудом шла, видно, бешеная была скачка.

Он осадил лошадь у кареты и спросил Мустье, где можно сменить лошадь.

Мустье объяснил, что «они сами тут проездом, везут казну и мало что знают».

Лейтенант хлестнул несчастную лошадь, и Мустье только успел ему вслед крикнуть: «Если встретите отряд гусар, ожидающий нас, пусть немедля скачат сюда!»

Лейтенант кивнул и продолжил свою безумную скачку.

«Они, видимо, дожидаются нас в следующем городе, так как увидели, что тут нет никакой для нас опасности», — весело сказала королева.

Король, свято веривший в дисциплину и в то, что все распоряжения Буайе должны быть точно исполнены, предложил поискать гусар.

Гусар искали, но безуспешно.

Мустье и Мальден, начавшие догадываться, что происходит, уговорили продолжить путь...

В Сен-Менеуле все повторилось. И здесь не было драгун. Король уже открыто негодовал, и Мустье отправился на поиски. Зная солдатские нравы, он ожидал найти драгун в харчевне.

Около харчевни, откуда слышались пьяные голоса, к нему торопливо подошел человек в разорванном мундире. Мустье с изумлением узнал в нем командира драгун графа д'Андуина. Не глядя на Мустье, граф просвистел шепотом: «Уезжайте и торопитесь! Если задержитесь — все пропало. Быстрее уезжайте!» И тут же удалился.

Только на обратном пути Мустье узнал подробности.

Отряд из Сен-Менеула был обезоружен и арестован национальными гвардейцами совсем незадолго до их приезда. Драгуны д'Андуина, когда их разоружали, не только отдали оружие без сопротивления, но радостно орали: «Да здравствует нация!» Д'Андуин пытался усюветить их, говорил, что они оставляют без охраны казну, которая должна скоро прибыть. Однако в ответ звучали выкрики: «Толстопузую казну и дырку австрийской шлюхи, куда не лазил только ленивый, охранять не хотим! По этой семейке фонарь давно плачет!»

Откуда-то они уже все знали. Все закончилось потасовкой, на графе разорвали мундир. Графа с трудом отбили от его же драгун национальные гвардейцы... Потом драгуны отправились в трактир, а д'Андуин, сообразив, что скорее всего их и будут искать в трактире, решил быть поблизости...

Во время короткого разговора Мустье и графа д'Андуина случилось, как выяснится потом, необратимое.

Король, услышав шепот, приоткрыл занавеску. Мустье дал знак немедля ее закрыть.

Но было поздно. На площади перед трактиром стояли двое молодых людей и внимательно рассматривали карету. Один из них — его звали Друэ, как потом узнал Мустье, был сыном городского почтмейстера и в прошлом служил в полку принца Конде. Другого молодчика звали Гийом.

«Сдается мне, Гийом, что надо проверить документы у хозяев такой большой кареты», — сказал Друэ.

Услышав это предложение, Мустье поспешно вынул из сумки подорожную и паспорта.

«Значит, этот толстяк — дворецкий? — усмехаясь, сказал Друэ, возвращая документы. — Сдается мне, что этот дворецкий... который прячется за занавеской... очень похож на свое изображение на пятидесятиливровой купюре».

Мустье почел за лучшее не понять иронии, он подал знак, и карета тронулась.

Они отправились далее — в Клермон, не меняя лошадей.

Газеты потом написали, что этот Друэ узнал короля по изображению на пятидесятиливровой ассигнации. Но Мустье уверен, что это ложь, просто *кто-то* предупреждал их всех.

Кто-то, скакавший впереди.

Когда отъехали, король поднял занавеску и засыпал бедного Мустье раздраженными вопросами: «Что происходит?... Где наконец солдаты, которые должны были быть по всей дороге? Почему никто не встречает карету?»

Но Мустье решил ничего не объяснять королю. Он сказал только, что дорога свободна и это главное, а солдаты, видно, ждут их в Клермоне.

Но новый городок оказался повторением Сен-Менеула. Их опять никто не встретил.

Отчаявшийся Мустье направил карету к таверне, и история повторилась. Из окон таверны слышались пьяные крики солдат, а у дверей расхаживал граф де Дама, командир отсутствующего отряда.

Граф торопливо подошел к дверце кареты и заговорил шепотом с королем, сидевшим за опущенной занавеской: «Я, Ваше Величество, это все, что осталось от моего отряда. Остальные сейчас пьянствуют с национальными гвардейцами. Быстрее уезжайте, Ваше Величество!»

И он торопливо удалился.

После этого труса у кареты вдруг вновь возник *тот самый маленький лейтенант*. Он представился каким-то невообразимым корсиканским именем и спросил: «Не нужно ли помочь охранять важных господ, едущих в такой богатой карете в столь позднее время?»

Мустье поблагодарил и ответил: «Мы справимся сами».

«Боюсь, уже нет.— В голосе лейтенанта сквозила усмешка.— Давайте, гражданин, я разбужу вам в помощь отряд Национальной гвардии».

Мустье сказал, что его господа «не столь важные персоны и не привыкли путешествовать с таким эскортом».

На что лейтенант все с той же плохой усмешкой заявил, что его предложение сделано «исключительно из-за опасности, которой могут подвергнуться путешественники, проезжая ночью лесом».

Но Мустье, чувствуя непонятную робость перед этим наглым недоростком, повторил, что защититься от бандитов они сумеют сами. И торопливо крикнул форейтору: «Трогай!»

Лейтенант только расхохотался им вслед.

Форейтор, пока шли все эти переговоры, пошел пообедать в таверну. И вернулся оттуда весьма странный.

Прежде очень веселый, теперь он угрюмо молчал, не отвечал на шутки Мустье и вяло погонял лошадей.

Мустье скакал рядом с каретой и слышал разговор Их Величеств.

«Все, как в книге Иова: «То, чего я страшился, случилось со мной»,— сказал король.

А она продолжала веселиться: «Ну что тут такого, Ваше Величество?! Бог мой, ну не встретили! Какая в этом трагедия? Сидят в таверне. Ну встретят нас дальше».— И заливалась притворным смехом.

К половине одиннадцатого вечера того же дня карета прибыла в Варенн, проделав не меньше шестидесяти лье.

Была темная ночь. Полнейшая тишина, царившая в городке, казалось, говорила, что жители погружены в глубокий и безмятежный сон.

Карета стояла у въезда в город. Путешественники прождали почти сорок минут, но никто не появился. Дорога была темна и пуста, никаких признаков эскадрона гусар, который должен был их встречать. Не появился и сын маркиза Буайе.

Его Величество повторял в ярости: «Где сменные лошади? Где отряд гусар? Где этот проклятый Буайе?»

Мустье понуро молчал. Молчала и королева. Дети дремали. Мадам де Турзель и Елизавета за всю дорогу не проронили ни слова.

По требованию короля решено было ждать отряд и свежих лошадей.

Мустье и Мальден прогуливались около экипажа. Прошло еще четверть часа, но никаких гусар не было, никто не появлялся.

Мустье потом рассказывал мне: «После вспышки ярости король погрузился в глубокую задумчивость, королева же, наоборот, стала отдавать приказания. Ее Величество приказала узнать, где самая большая гостиница. Как мы выяснили, постучавшись в чей-то дом, гостиница эта называлась «Великий Монарх». И тут королева вспомнила, что Ферзен упоминал о ней. Может быть, там их ждет сын маркиза Буайе? Гостиница оказалась на другой стороне реки. Но, когда мы подъехали к мосту через реку, мост оказался перекрыт опрокинутыми телегами и бревнами, так что пересечь на другой берег не было никакой возможности».

Перекрытый мост красноречиво подтвердил Мустье то, что он подозревал ранее: и здесь их *кто-то* опередил.

Мустье решил, что лучше продолжить дорогу с уставшими лошадьми, чем оставаться в этом опасном городе. Но форейтор вдруг отказался ехать — сказал, что не знает дороги. Не помогли даже пятьдесят луидоров, которые Мустье ему посулил.

И тогда Мустье решил зайти в дом, напротив которого стояла их карета. В непроглядной ночи это был единственный дом, где горел свет.

Мустье постучал. Отворил некто в домашнем халате и спросил сердито: «Что угодно?»

«Мост почему-то перекрыт. Не соблаговолит ли мосье указать другую дорогу в сторону границы?»

В это время открывший дверь увидел их карету. Лицо его тотчас изменилось, и он сказал торопливым шепотом: «Я хорошо знаю эту дорогу. Но я пропал, если эту дорогу узнают люди в карете».

Мустье сделал вид, что не понял последней фразы, и сказал: «Русская дама в карете очень устала, а мосье кажется слишком благородным, чтобы не потопиться угодить даме».

«Здесь все уже прекрасно знают, кто эта дама», — последовал мрачный ответ.

Мустье настаивал: «Моя госпожа приказала мне уговорить вас. Не будет ли господин столь любезен подойти к ней и побеседовать?»

Тот, не осмелившись послушаться, пошел к карете. Он был в чулках, без башмаков, как он объяснил: «Чтобы не производить шума».

Он подошел к дверце и, поговорив несколько минут с королевой, показал Мустье, как выехать на дорогу к границе, минуя мост, и как по пути найти францисканский монастырь, где по его предположению находился отряд гусар, «который, видимо, должен встречать вашу даму».

Самое постыдное, что этот трус оказался майором кавалерии, кавалером ордена Святого Людовика, неким господином Префонтеном.

Король велел править к монастырю и отыскать в монастыре гусар. «Иначе мы погибнем во тьме с издыхающими от усталости лошадьми».

Но они не проехали и двухсот шагов, как карету остановила толпа солдат Национальной гвардии, внезапно запрудившая улицу.

Гвардейцы дружно направили ружья на форейтора, который тотчас остановил карету, торопливо слез с облучка и смешался с толпой гвардейцев. После чего ружья гвардейцев были нацелены уже на дверцу кареты.

Раздались крики: «Выходите или будем стрелять!»

Но Мустье, соскочив с коня, выбил оружие у одного из кричавших. В это время Мальден бросил под колеса другого солдата, отобрав у него оружие.

А Мустье уже приставил шпагу к горлу самого шумного из крикунов (это был Друэ) и крикнул в толпу: «Я проткну ему горло раньше, чем кто-нибудь выстрелит... Прочь от кареты!» Вся шумная свора тотчас отпрянула.

И вдруг из-за занавесок послышался голос королевы: «Не надо сопротивляться».

В ответ Мустье прошептал: «Ваше Величество, позвольте мне атаковать эту компанию трусов. Клянусь, я один рассею их».

Но она побоялась, видимо, рисковать детьми.

«Нет и тысячу раз нет!» — сказала королева. А король молчал.

Только потом из газет Мустье узнал, что все сделал этот Друэ, прискакавший из Сен-Менеула вместе с каким-то молоденьким офицером. Офицер велел перекрыть мост телегами и бревнами, отрезав королевскую семью от Буайе-сына. И пока карета, теряя время, ждала обещанный отряд гусар, Друэ бегал по домам и будил национальных гвардейцев.

Между тем гвардейцы, окружавшие карету, расступились, и вперед вышли прокурор коммуны Варенна мосье Сос и командир Национальной гвардии. В свете факелов оба были весьма живописны. Прокурор Сос был в сюртуке, надетом на голое тело, и в домашних туфлях, его только что разбудили. Командир, напротив, был в мундире и весь обвешен оружием: на боку шпага, в руке пистолет, в другой — ружье.

Прокурор Сос приказал Мустье немедленно убрать шпагу от горла сына почтмейстера. И, обратившись к карете, вежливо попросил «господ путешественных приподнять занавески и показать паспорта».

Занавески кареты откинулись, и рука госпожи де Турзель передала паспорта. В окно был отчетливо виден нос Бурбонов, торчащий из-под надвинутой шляпы короля.

«Паспорта в порядке», — сказал Сос.

Послышался угрожающий ропот толпы.

И тогда Сос продолжил: «Но из Парижа нам приказали не только проверить паспорта, но и производить записи в особых книгах обо всех проезжающих в сторону границы. Поэтому я вынужден просить господ, находящихся в карете, пройти в мой дом. Там вы отдохнете, пока наступит утро, и мы сможем сделать соответствующие записи в соответствующих книгах».

Мустье спросил шепотом, подойдя к окну кареты: «Что делать?» Хотя ему уже было ясно: сопротивление бесполезно, усталые лошади не выдержат погони.

«Мы подчиняемся правилам», — послышался негромкий и спокойный голос короля.

Он открыл дверцу кареты и вышел первым.

«А вот и Его Величество! — загоготали в толпе. — И не узнать без орденов».

Будто не слыша, он подал руку королеве. И та легко, грациозно выпрыгнула из кареты.

«А это никак его австриячка!» — захохотали в толпе.

Но королева повернула голову и посмотрела так, как умела только она. Кровь Цезарей. И они вмиг замолчали. Мустье помог сонным детям выбраться из кареты и подал руку мадам де Турзель и принцессе.

Всех расположили в скверной комнате на первом этаже.

Король сел в глубине комнаты, королева и принцесса Елизавета по обе стороны. Напротив на скамье устроились дети. Для того чтобы в любой момент защи-

тить их, Мустье счел себя вправе сесть между детьми — прямо перед Его Величеством.

Вдруг в соседней комнате затопали, загалдели. Это пришла охрана — крестьяне с вилами. И встали у дверей.

Мустье попросил позволения Его Величества прогнать нахалов, но он только сказал: «Сидите спокойно, не следует их замечать».

В это время голова какого-то наглеца просунулась в комнату и обратилась к Мустье: «Правду говорят, что это наш король?»

На что Мустье ответил: «Если вы так считаете, то должны быть у его ног. А если это действительно иностранец, то по какому праву вы смеете нас задерживать?»

Людей в соседней комнате становилось все больше. Запах пота — нестерпимый, и громкие, насмешливые голоса.

Тут Его Величество, видимо, решил, что маскарад унижает достоинство потомка Людовика Святого. Он поднялся, вышел на середину комнаты и заговорил величественным тоном, который должен был тронуть самого подлого мерзавца: «Да, я ваш король. Я устал от оскорблений, которым долгое время подвергался в своей столице. Я решил удалиться из Парижа в провинцию. Я уверен, что там снова обрету любовь народа к своему Государю».

Сос и даже командир Национальной гвардии казались тронуты этой речью. Во всяком случае, так показалось королю. И Его Величество продолжал: «Французы ошибаются, если думают, что преданность к королю угасла в их сердцах. Чтобы доказать им это, я возьму с собой вас, солдаты Национальной гвардии, и вы проводите своего короля до границы».

Но Сос и командир национальных гвардейцев молчали.

Обманутый этим молчанием, король повелительно обратился к Сосу: «Приказываю вам немедленно собрать отряд и велеть запрягать лошадей в мою карету!»

На это Сос ответил печально: «Нет, сир. Мы не имеем права тронуться с места, пока не приедут люди из Парижа».

«Но я так хочу, я вам наконец приказываю!» — сказал Его Величество.

И тогда оба, и Сос, и командир Национальной гвардии... расхохотались. Король резко повернулся к ним спиной и сел.

Взбешенный Мустье выхватил шпагу: «Вы посмели оскорбить своего короля. Защищайтесь, негодяи!»

Но двери распахнулись, и в дверях встали крестьяне с вилами.

Король приказал: «Шпаги в ножны, господа».

«И мы вынуждены были повиноваться под гогот черни, — рассказывал мне Мустье. — Сжав зубы, мы молча отступили, не опуская шпаг... И тогда принцесса Елизавета шепнула мне: «Не суетитесь. Нас непременно освободят. Ничего не предпринимайте. Ждите отряд. Они придут».

И они пришли. Сначала появился тот самый взбунтовавшийся отряд драгун графа де Дама. Они подошли к дому Соса.

Не зная, что драгуны изменили, король и королева торопливо бросились к окнам. Но напрасно. Напрасно король стоял у окна. Напрасно королева брала на руки дофина, а мадам Елизавета — августейшую племянницу. Трогательное зрелище не производило на драгун никакого впечатления. Ибо уже ничто не могло призвать их ни к подчинению, ни к уважению. По требованию столпившихся национальных гвардейцев подвыпившие драгуны только радостно орали: «Да здравствует нация!»

Национальные гвардейцы пропустили в дом одного из командиров драгун, шевалье Делона, и тот спросил короля, какие будут приказания.

«Это можно спрашивать только в насмешку,— отвечал король.— Я не могу больше отдавать приказания. Меня здесь не слушают. Выполняйте свой долг...»

Эти слова, смысл которых был так ясен, Делон предпочел не понять. Он не сделал никаких усилий образумить свой отряд. Он попросту удалился, точнее, сбежал, оставив пьяных драгун, хохочущих, тыкающих пальцами в окно, где еще недавно стоял их король.

Вскоре начал бить колокол. И подходили все новые отряды Национальной гвардии. В свете факелов толпилась уже добрая пара сотен гвардейцев...

Где-то раздался взрыв. Потом Мустье узнал, что все тот же молодецкий офицерик приказал взорвать мост. Видимо, догадался о возможности помощи со стороны границы.

Теперь город был отрезан от границы.

Прошел час. Детей уложили спать. Взрослые не спали — ждали. Верили, что сын маркиза Буайе, находившийся где-то в городе, наверняка оценил ситуацию и, видимо, уже мчится во весь опор, чтобы вернуться в Варенн с отцом и войском.

И действительно, часа через два вдруг раздался топот копыт.

И опять королева бросилась к окну и радостно крикнула: «Они! Пришли!»

Отряд гусар спешил к дому.

Дверь распахнулась...

Нет, это был не Буайе. Это были герцог де Шуазель, барон Гогела и граф де Дама!

Двое крестьян, охранявших комнату, попытались им помешать, но герцог только положил руку на шпагу, и крестьяне торопливо отскочили от дверей.

Шуазель оглядел комнату.

Он потом рассказал мне: «На кровати спал дофин, около него сидела мадам де Турзель, горестно положив голову на руки. У окна стояли принцесса Елизавета и мадам Руайаль, дочь королевы. В глубине комнаты сидели два королевских гвардейца: Мустье и Мальден. Король сидел у стола. На деревянном грубом столе находились хлеб и вино. Над королем на стене висел... его парадный портрет!»

Король встал и радостно пошел к ним. Королева последовала за мужем.

«Где молодой Буайе?» — нетерпеливо спросила королева.

«Он ждал вас с лошадьми в «Великом Монархе».

«Я говорила, сир!» — воскликнула королева.

«Услышав о вашем аресте, он скорее всего поскакал к отцу за помощью. Во всяком случае, въехав в Варенн, я отправил в «Монарх» своего человека, приказал найти молодого Буайе, а если не найдет, то скакать во весь опор к его отцу за подкреплением».

«Кто-то стрелял из пушек? — спросил король с надеждой.— Почему?»

«Это взорвали мост, ведущий к границе».

«Что же делать?» — спросил король в отчаянии.

«Спасать вас, сир! — Это сказали Шуазель с бароном Гогела буквально в один голос.— На реке есть брод. Мы переправимся на лошадях. У нас сорок гусар. Семеро спешатся и передадут вам лошадей. Ваше Величество сядет на одну из них, держа в руках дофина. Барон не раз бывал с вами на охоте, мы знаем, что вы прекрасный наездник. И Ее Величество и мадам Руайаль превосходно ездят верхом, они тоже получат своих лошадей. Я не знаю, как ездят верхом принцесса Елизавета и госпожа де Турзель. В крайнем случае они останутся, и мы выведем их позже, когда в город войдет маркиз со своим полком. Но сейчас гусары

готовы окружить вас, сир, и умереть под ударами тех, кто попытается вас остановить. Мы же с Мустье, Мальденом, графом де Дама и семью гвардейцами, которые отдадут вам своих лошадей, прикроем ваш отъезд. И умрем, если это понадобится!»

Ее Величество взглядом одобрила эти слова. Король же в задумчивости смотрел в окно. Наконец он сказал: «Там их, наверное, несколько сотен?»

«Человек шестьсот, не больше, но подходят все новые, колокол гудит, дорога каждая минута».

«Гарантируете ли вы, что в этой схватке не будут убиты члены моей семьи, моя сестра?»

«Если это произойдет, я убью себя на ваших глазах!» — воскликнул Шуазель.

«Мы готовы, готовы!» — говорили глаза королевы. Было видно, как она мучилась необходимостью молчать, когда говорит король.

«Рассудим здраво, — неторопливо продолжал король, — у вас мало лошадей и немного людей. Если бы я был один, клянусь, последовал бы вашему совету. Но со мной семья и дамы. Скоро час ночи, нас захватили в одиннадцать тридцать. Молодой Буайе должен уже полтора часа скакать к отцу и войскам. Так?»

«Так».

«Маркиз со своими войсками намеревался выйти нам навстречу и ждать нас в Дюне. Отсюда до Дюна не больше восьми лье. Это два с половиной часа быстрой скачки. Следовательно, маркиз с отрядами придет к нам на помощь к четырем утра и мы в полной безопасности уедем отсюда».

«Когда я вышел на улицу, — рассказывал потом Шуазель, — я понял, что мое предложение уже бесполезно. Город был запружен людьми. И не было шанса пробиться. Шел второй час ночи, и тысяч пять крестьян с вилами и национальных гвардейцев с ружьями, как на празднике, горланили песни и слонялись по улицам. Колокол бил не умолкая, будто отпевал несчастную Семью. Я вернулся в дом. Невозможно описать тревогу и надежду, с которой мы ждали рассвета. Дети спали на кровати мосье Соса, а король и королева сидели, вслушиваясь в звуки набата. Как они ждали топота лошадей!»

Часы пробили три, потом четыре... Авангард генерала Буайе уже должен был войти в город. Но никого не было. Между тем наступал рассвет...

Ожидая Буайе, решили укрепить комнаты. Шуазель велел Мустье закрыть все окна. Они понимали, что при появлении солдат Буайе гвардейцы и крестьяне первым делом постараются захватить Семью и, угрожая их убийством, остановят наступавших.

«План был таков, — рассказывал мне Шуазель. — При первых звуках выстрелов мы выгоняем охрану из второй комнаты. Чтобы войти в комнату Семьи, надо было подняться по лестнице. Мы же встанем на лестнице один за другим: я, барон Гогела, граф де Дама, Мустье и Мальден. Чтобы добраться до комнат, надо будет убить всех нас, что потребует времени, достаточного, чтобы солдаты маркиза Буайе взяли дом».

Но часы уже пробили пять, никакого Буайе не было. И с последним ударом часов вошли незнакомые люди. Это были посланцы из Парижа.

Оба были в растерзанной одежде, скакали всю ночь.

Они привезли Декрет Национального Собрания. Говорили, перебивая друг друга: «Сир! В Париже волнения... люди готовы перебить друг друга... Интересы государства... Вот Декрет Национального Собрания... Вам надлежит вернуться...»

Король прочел Декрет и сказал: «Во Франции больше нет короля».

Он положил Декрет на кровать, где спали дети, но королева в ярости смахнула бумагу на пол. И, поднявшись, сказала, обращаясь к посланцам: «Я не хочу, чтобы эта бумага оскверняла сон моих детей...»

Толпа в комнате грозно зароптала, и Мустье торопливо поднял бумагу, положил ее на стол.

Король попросил переговорить с приехавшими. Он сказал им, что Семье нужно время, чтобы, не торопясь, собраться.

Ему обещали. Но кто-то на улице уже разъяснял толпе, что король ждет солдат, которые должны освободить его.

И вскоре толпа угрожающе кричала за окном: «Толстяка в Париж! За ноги втащить его в карету! И шлюху тоже!»

Уже тысяч десять пришло в город.

«Я никогда не видел такой ярости»,— прошептал Шуазелю пришедший с посланцами Сос.

И в восемь часов, окончательно поняв, что Буайе не придет, Его Величество, усталый и беспомощный, уступил толпе.

Под звуки непрекращающегося набата Шуазель предложил руку Ее Величеству, а граф де Дама — принцессе Елизавете.

Шуазель рассказал: «Садясь в карету, она очень тихо спросила: «Вы думаете, мосье Ферзен в безопасности?» «Не сомневаюсь в этом». И тогда она сказала: «Не бросайте, ради Бога...» Я ждал, что она скажет «нас». Но она сказала «его».

Когда Шуазель закрыл дверцы кареты, он вспомнил, как шотландцы выдавали англичанам обреченного на смерть короля Карла Первого.

Маркиз с полком пришел только к девяти часам.

Оказалось, его сын с печальными известиями приехал к нему почему-то лишь в пятом часу утра. Да и неповоротливый немецкий полк собирался слишком долго. Они не горели желанием рисковать жизнями ради французского короля.

У самого города полк Буайе встретили звуки набата, разрушенный мост и несколько тысяч национальных гвардейцев на том берегу. И известие о том, что королевская семья уже час с лишним находится в дороге на Париж!

Полк спешил у реки, не смея форсировать брод.

Маркиз плакал.

Его сын так и не смог объяснить, почему он добирался целых шесть с лишним часов.

Впрочем, по слухам, он рассказал своей любовнице мадам де Стани то, что не посмел рассказать отцу. Его провел какой-то лейтенант, почти мальчишка, который нагнал Буайе-сына и скакавшего с ним посланца Шуазеля виконта Обрио и долго морочил обоим голову, будто Шуазель вместе с гусарами уже освободил короля. Он даже уговорил их вернуться назад помогать гусарам Шуазеля. И, только доехав до города, они поняли, как их провели...»

На этом рукопись обрывалась.

Далее находилось послание, написанное всё тем же почерком Бомарше:

«Моему знакомцу маркизу де С. я оставляю *незакрытым* свой секретер. Дорогой мой простодушный маркиз! Я сказал правду. Все ваше сожжено. Советую именно так поступить и с другими вашими творениями перед смертью. Чем больше вы сожжете, тем меньше дров будет заготовлено в аду под вашим котлом. Пожалейте труд чертей.

Это о яде духовном. Что же касается другого яда, который вы приготовили для меня, тут ваша совесть может быть чиста. Мой Фигаро сообщил мне

с самого начала, что его подкупают отравить Бомарше. Все по очереди предлагали ему деньги: вы (очень мало), граф и незнакомый вам некто Фуше (очень много). Я велел Фигаро взять деньги у всех. На то он и Фигаро. И он взял у всех у вас деньги, чтобы отравить хозяина по **собственной** просьбе... хозяина! Я все видел, все испытал, а нынче меня мучает смертельная болезнь. Согласитесь, долго умирать, страдать совсем не в стиле Бомарше. Далее — тишина — вот что я выбираю. Я принял яд вслед за Сократом. Для такого легкомысленного человека — почетное повторение. Надеюсь, вы согласитесь, что это эффектная концовка интриги, достойная истинного драматурга.

Итак, за окном уже утро. Финал пьесы сыгран.

Уходя, я прощаюсь с вами и желаю приятного дня.

С добрым утром, маркиз де С.».

Закончив читать, маркиз в бешенстве взглянул на Фигаро.

Фигаро улыбался.

— Что это значит? И причем здесь этот мосье Фуше?

Фигаро по-прежнему молчал и улыбался.

И тогда маркиз увидел странную приписку в самом конце страницы. Там было написано: «И с добрым утром, гражданин Фуше».

В тишине ночи было слышно, как в большом доме в разных комнатах били часы. Полночь.

Отложив рукопись, Шатобриан спросил:

— Вы все это сочинили?

— Разве? — Маркиз задумался. — Нет, пожалуй. — Он судорожно сжимал виски. — Скорее всего забрал в секретере. Я имел право забрать его рукопись, ведь он когда-то забрал мою!.. Да, да, там, в секретере, я нашел эту рукопись. Пьесу, как называл ее покойник... Скорее всего так было... Возможно, я лишь дописал то, что случилось в тот день, последний его день... Если бы не так... — Он опять задумался, тер виски, и на лице была мука. — Если бы не так, то почему я не понял тогда эту приписку покойного: «С добрым утром, гражданин Фуше...» Ведь уже вскоре на мой чердак в Версале пожаловали...

Маркиз замолчал.

— Кто пожаловал? — почему-то шепотом спросил Шатобриан.

— Важный гражданин. Вместе с двумя субъектами в черном. И я его тотчас вспомнил! Я видел его в якобинском клубе. Фуше по прозвищу «Лионский мясник», убивший в Лионе людей больше, чем чума. Гражданин Фуше оказался новым министром полиции. Он спросил в лоб, что я предпочитаю: обыск или добровольно отдать бумаги Бомарше? Обыска я не боялся, я успел их хорошенько припрятать. У меня тюремный опыт.

И я сказал ему, что совершенно не понимаю, о чем речь.

Помню, Фуше засмеялся, точнее, ухмыльнулся: «Значит, бумаги, как я понимаю, вы спрятали надежно... Но я надеюсь... Хотя сейчас время глупцов, они обычно всесильны во времена перемен... Но я надеюсь, что вы человек умный... Так что буду ждать, когда вы мне отдадите их сами...»

Я сразу понял — ему был нужен материал против Бонапарта. Этот человек-пчела собирал компрометацию, чтобы управлять людьми. И нес в свой подлый улей. Что мне ненавистно! — вдруг прокричал маркиз. — И я еще раз повторил... нет, крикнул ему: «Не понимаю, о чем речь!.. И не приемлю!»

Я не любил Бонапарта. Я его сразу понял... Я уже тогда написал в своем памфлете: «Республика погубила многих, залила страну кровью. Но независимые люди существовали! При Бонапарте, как при любом солдафоне, все исчез-

нет. «Я приказал, я победил, мои орлы, мои победы» — вот язык подобных людей... И, кроме того, он непременно ханжа, как все генералы. И будет ненавидеть нас, «смелых». Нация, берегись генералов!» Так я писал. Но выдать его?! Или кого-нибудь... Никогда! Не приемлю!

Но человек-пчела читал мои мысли. И он сказал: «Я подожду, пока вы начнете понимать новые времена. Но учтите, буду ждать недолго...» И когда его терпение истощилось, за мной пришли. Меня обвинили в сочинении «Жюстины». Как было сказано: «Самого ужасного из всех непристойных романов». Я всегда умело отрекался от авторства моей «Жюстины», и доказать им ничего не удалось. И он отправил меня в самую мерзкую из тюрем — в Бисетр. В мое отсутствие обыскали мой жалкий дом, но ничего не нашли, хорошее образование получаешь в тюрьмах. Я написал покаянное письмо Фуше, и он подумал, что я наконец-то решил отдать ему бумаги Бомарше. Он пришел ко мне в камеру. Но вместо бумаг получил жаркий монолог о моей невиновности. И все! В ярости он перевел меня в Шарантон. И ждал. А я из сумасшедшего дома заваливал его письмами о невиновности. Интересно, где мерзавец сейчас?

Потом Шатобриан удивлялся, почему он вообще отвечал этому наглецу.

— Убрался из Парижа, кажется, в Феррьер, — сказал Шатобриан. — Оттуда снабжает Париж своими остротами. Недавно, говорят, сказал своему сыну: «Учись усердно, сынок. Образование необходимо во всех странах и при любом правлении... Даже в нашей, которая не управляется вовсе». Этот человек не может жить без заговоров. Если он начинает выступать против власти — первый признак, что эта власть скоро падет.

— И вы думаете, что Бонапарт вернется?

— Так думает Фуше. И это самое тревожное. На днях наш канцлер виконт Дамбре вызвал его для объяснений, но он не дал виконту открыть рта и преспокойно перечислил все прегрешения королевского правительства, после чего так же преспокойно удалился.

— Ну тогда... тогда я должен спешить покинуть Францию... Мне нужны деньги для путешествия... В сумасшедшем доме я сплю с очаровательной шестнадцатилетней особой. У нее крохотная грудь, и она...

Шатобриан поторопился прервать его:

— Вы не закончили о Бомарше.

— Бомарше? Что Бомарше? Не помню... Да, вот это интересно... Как он умер. На следующее утро, как писали газеты, Фигаро принес Бомарше кофе и нашел хозяина мертвым. Я читал сообщение идиотов-врачей: «Смерть наступила ночью около трех часов. Покойный лежал на правом боку. Общий осмотр не оставил сомнений, что гражданин скончался от апоплексического удара...» От апоплексического удара! — Маркиз расхохотался. — После чего Фигаро принес мне записку, где рукой Бомарше было написано: «Вас просят присутствовать на траурных проводах гражданина Бомарше, литератора, скончавшегося в своем доме подле Сент-Антуанских ворот двадцать девятого флореаля седьмого года Республики, кои имеют быть тридцатого числа сего месяца». Он продолжал смеяться надо мной даже за гробом. — И маркиз добавил почему-то шепотом: — Впрочем, порой после смерти он был очень серьезен. Уже после похорон я решил еще раз обыскать дом... в надежде найти свою рукопись... Я проник туда. И у секретера увидел его. Он сидел и слушал музыку... Никакого инструмента, никого в доме... и музыка... Он заговорил, не оборачиваясь:

«Это увертюра к Дон Жуану... Там опасная фанфара... Торжество предвечного... Смерть — это радость. Я пишу здесь пьесу... Седьмой такт. Слышите? Радость небытия... Вместо Смерти был Свет. Именно так и есть...»

Повторяю, он говорил со мной, не оборачиваясь...

Я бежал из дома. Но и далее после смерти он оставался... как бы это сказать... очень деятелен... Только не смотрите на меня как на сумасшедшего... Например, после смерти он написал графу Ферзену...

Тон безумца парализовал Поэта. Он молча слушал.

— Граф получил от покойного большое письмо,— очень тихо, почти шепотом продолжал маркиз.— И он мне тотчас сообщил об этом...

— Но графа, кажется, убили в Стокгольме?

— Да, но это потом... Граф погиб пять лет назад. И случилось это в годовщину побега королевской семьи. Месяц в месяц, день в день... Но сначала убили мадемуазель де О... Я аккуратно получал от нее письма из Стокгольма. И вдруг письма прекратились. Я написал графу. И получил странный ответ, что он «совершенно не понимает, о ком речь, ибо не знает никакой мадемуазели де О.». Я ответил ему возмущенным посланием. Но уже вскоре из газет узнал о его собственной гибели. В Стокгольме составили заговор против бедного графа. Когда он подъехал к Дворянскому собранию, там уже ожидалась толпа. Его выволокли из кареты и размозжили голову булыжниками. Он умер прямо на мостовой. А мадемуазель так и исчезла. Растворилась в ночи... Думаю, мы любили друг друга. Во всяком случае, я тоскую без нее... Она, как никто, умела...

— Перестаньте! — сказал Шатобриан.

Граф Аксель Ферзен.
Несколько важнейших дат моей жизни
(Окончание)

Из комментариев профессора К. Скотта к «Запискам Ферзена»: «25 мая 1799 года граф Ферзен вернулся из Парижа в Вену. Покинув Вену 8 июня, он приехал на родину в Стокгольм. Здесь он и продолжил свои записки».

1799 год. 11 июня. Я вернулся в Стокгольм при необычно теплой погоде. И узнал о смерти Бомарше. ОНА отомщена.

Связка писем от НЕЕ. Каждую ночь, ложась в постель, перечитываю их. И продолжаю вспоминать о важнейших событиях моей грешной жизни и окаянные летние дни 1791 года.

23 июня 1791 года я при сильной жаре вечером прибыл в Арлон и встретил на улице маркиза Буайе! Его вид говорил сам за себя. Он рассказал мне всю страшную правду. Я тут же отослал депешу моему королю Густаву о том, что побег не удался. Привожу целиком мое письмо отцу: «Все кончено. Я в отчаянии. Король арестован в Варенне, в шестнадцать лье от границы. Представьте мою боль и пожалейте меня. Эту новость мне сообщил маркиз Буайе, который также теперь находится в Арлоне — ему удалось бежать из Франции. Примите уверения в моей любви и уважении».

24 июня в 4.30 утра я оставил Арлон.

25 июня в 2 часа дня я был в Брюсселе. Погода жаркая, и вечерами жара не спадала. Лишь через два дня меня согласился принять Мерсье, до революции — австрийский посол в Париже. Он разговаривал со мной крайне неприветливо. И не только как с вестником несчастья, но и как с его причиной. Он прямо сказал мне, что побег только ухудшил положение королевской четы. Ибо ждать немедленной помощи от европейских монархов весьма отчаянно: «Одни государи

и хотели бы помочь несчастной Семье, да не могут, а другие могут, да не хотят». Он очень мрачный человек.

28 июня 1791 г. с верным курьером получил письмо... точнее, торопливую записку от НЕЕ: «Успокойтесь насчет нас. Мы живы. Обращаются с нами неплохо. Свяжитесь с моими родственниками и настаивайте на военном вмешательстве. Если они боятся, попробуйте уговорить их».

ЕЕ родственники... Император Леопольд даже не принял меня.

29 июня (наконец!) получил долгожданное письмо. Привожу не полностью: «Я жива!..

Как я беспокоилась о Вас! Представляю, что Вы вынесли, не имея о нас новостей. Но теперь, надеюсь, небо донесло их до Вас... Не приезжайте в Париж ни под каким предлогом. Им уже известно, что это Вы вызволяли нас отсюда. Все погибнет, если Вы здесь появитесь. Они убьют Вас. С нас день и ночь не спускают глаз. Но мне это безразлично. Будьте спокойны. Все обойдется. С нами не собираются обращаться жестоко. Прощайте. Я не могу больше писать...»

В Брюсселе нынче штаб-квартира принцев, бежавших из Франции. Видел прежних знакомых. Граф д'Артуа и принцы на словах горят желанием драться. А на деле о сражениях никто здесь и не думает. Пьют, играют в карты и главные победы одерживают в постелях да в карточной игре. Я встретил здесь прелестную Полинью. Было столь приятно и столь больно увидеть ее. Она глядела на меня своими единственными в мире лазоревыми глазами. И старалась изобразить печаль на фарфоровом лице. ОНА дала ей все — положение, свою дружбу, богатство... Но Жюли все забыла. Она говорила куда больше о своих делах, чем о несчастьях своей королевы. Она даже посмела намекнуть... нежно пожал мою руку. О человеческая низость! Самое удивительное, я вдруг понял: она никогда не любила ЕЕ. Она всегда завидовала ЕЙ. И только поэтому захотела меня.

Но другая ЕЕ подруга, принцесса де Ламбаль, собралась вернуться в Париж. Я не утаил от нее ужасы, происходящие в столице. Но она была неумолима: «Я должна быть рядом с нею в тяжелые дни».

Р. S. («Записано графом позже, на полях». — Прим. К. Скотта.) Позже, когда королеву уже заключили в Тампл, толпа выволокла принцессу из дома, над ней надругались, а потом убили. Но и этого зверям показалось мало. Они отрубили ей голову и на пике принесли к ЕЕ окну в Тампле. И голова той, которую ОНА так любила, с запекшейся кровью, с выбитыми зубами, с распущенными волосами, которые вымазали в дерьме, глянула на НЕЕ.

И ОНА потеряла сознание.

Звери! Звери! Исчадия ада!

Но это все случится потом. А тогда, в июне, я узнал, что в Париже был подписан обвинительный акт и выдан ордер на мой арест, «как главного виновника бегства королевской семьи».

4 августа в Вене император Леопольд наконец-то принял меня.

Император говорил много и... ничего конкретного.

И только мой добрый король Густав все призывал державы начать войну за освобождение королевской семьи. Но призыв остался без ответа. Всё то же: те, кто хотел, не могли, а те, кто мог, не хотели.

Декабрь 1791 года. Без НЕЕ время перестало существовать. Все это время я вел переговоры и переписку со всеми иностранными дворами. И с НЕЮ.

ОНА по-прежнему заклинала меня в письме: «Не приезжайте к нам!» Но прислала мне кольцо. На кольце были три лилии и надпись: «Трус, кто покинет ее!» Как это ни печально, но, к сожалению, исходя из этой надписи, должно признать, что единственный храбрец во Франции — я.

Все давно покинули их.

Так я понял: ОНА меня ждет.

15 декабря 1791 года. В очередной раз после тщетных уговоров в Вене я вернулся в Стокгольм. Шел мокрый снег при ветре с моря. Я отправился во дворец (как он мал, жалок в сравнении с Версалем).

Добрый Густав предложил безумный план: похитить Семью и вывезти морем.

План Его Величества. Людовик во время охоты должен был ускакать в лес, где его будут поджидать наши люди и увезут к морю. ЕЕ с детьми и Елизаветой должен увезти к морю я, но уже другой дорогой.

Но какая могла быть охота, коли после несчастливого побега их не выпускали из Тюильри?!

Помню, я все-таки вступил в переговоры с верными людьми. И, к своему изумлению, вскоре выяснил, что план только казался безумным. Оказалось, что нынче в Париже все можно купить. Пока чернь безумствует и льет кровь, вожди уже делают состояния. Шевалье де Мустье, замечательно проявивший себя при неудачном побеге, и на этот раз оказал неоценимую услугу. Он познакомился с неким Х., весьма важным человеком в Якобинском клубе.

За очень большие деньги этот субъект, близкий к Дантону, взялся добиться разрешения королю охотиться.

Опять же за большие деньги он взялся провести меня во дворец.

4 февраля 1792 года я покинул Брюссель.

8 февраля в 9.30 утра, ведомый опытным проводником, перешел границу. До столицы добрался без всяких приключений.

13 февраля в 5.30 вечера при дожде со снегом я въезжал в Париж. В трактире на улице Бак я встретился с Мустье. Он передал мне ключ от потайной двери в ЕЕ покои. Оставив своего слугу в трактире, я направился прямо в Тюильри. Не скрою, меня беспокоила мысль: а вдруг все эти предложения Х. были хитрой интригой-ловушкой и они меня попросту арестуют в ЕЕ покоях? Я не боялся смерти. Боялся, что таким образом скомпрометирую и погублю ЕЕ. Эта мысль заставила меня дважды останавливаться в пути. Но желание увидеть ЕЕ!

И я шел дальше!

Подкупленный гвардеец из Национальной гвардии, как и было обещано, ждал меня в условленном месте и провел во дворец... Потайным ходом я прошел к НЕЙ... ОНА ждала меня... Я хотел сказать ЕЙ о своих опасениях, но когда увидел ЕЕ... (Далее зачеркнуто.) Короля не видел.

Опасения оказались напрасными! Оставался во дворце... (Далее зачеркнуто.)

Самые счастливые... (Далее все зачеркнуто.) Сутки был во дворце. И только 14 февраля в 6 часов вечера увидел короля. Когда я начал рассказывать план бегства, он прервал меня и сказал, что не желает об этом слушать, потому что не желает более никуда бежать. «И не только потому, что попытка не будет успешна, ибо таково мое вечное везение. Но как честный человек, давший слово Национальному Собранию никуда не бежать».

ЕЕ лицо при этих словах! ЕЕ несчастное лицо! До смерти буду помнить его. До смерти оно будет разрывать мое сердце.

В 8 часов я ушел из дворца, чтобы никогда более не увидеть ЕЕ. Гвардеец той же дорогой вывел меня на улицу. Я решил не встречаться с Х. Уже уезжая, написал ему письмо, где сообщил, что «N не нуждается в разрешении на охоту».

И теперь, по прошествии стольких лет, я не знаю, что стояло за обещанием Х. Коварство, жестокая игра, чтобы заставить ЕЕ и короля предпринять еще одну попытку бегства и окончательно расправиться с ними во время побега? Или действительно «бешеный революционер» готов был продать за деньги свою революцию?

19 февраля я оставил Париж и вернулся в Брюссель при теплой дождливой погоде.

Брюссель. 18 марта. Только что узнал, 16 марта 1792 года на балу стреляли в короля Густава... О безумный, безумный, развращенный дьяволом мир!

29 марта. Мой добрый король умер. Это был великий монарх. Теперь надежды нет...

3 июля 1792 г. я получил от НЕЕ письмо. «Наше положение ужасно, но не беспокойтесь, я полна мужества, и что-то подсказывает, что скоро мы будем счастливы и спасены. И мы увидимся. Это единственное, что поддерживает меня. Прощайте. Но... увидимся ли когда-нибудь?»

Июль — сентябрь. Все это время метался по Европе, тщетно уговаривая монархов вмешаться... Когда Семью отправили в Тампль, монархи объявляли: «Предпринимать ничего не следует, чтобы еще более не ухудшить положение короля». Когда казнили короля, они ничего не предпринимали, чтобы «еще более не ухудшить положение королевы».

А я все умолял уже нового австрийского императора угрожать Франции и требовать выдачи королевы. Но император пропел всю ту же знакомую песню: «Я боюсь, что тогда ЕЕ сразу же отправят на гильотину». Мне было страшно даже подумать об этом. Я только молился тогда: «Храни ЕЕ Господь и дай нам возможность когда-нибудь свидеться».

Прошло полтора года в пустых попытках ЕЕ спасти. Когда казнили короля, я был уверен, они насытились кровью. И не тронут женщину... Наивный глупец!!!

16 октября 1793 года. 11.30 — ЕЕ КАЗНИЛИ.

С тех пор я не могу думать ни о чем, кроме этого... В последние минуты ОНА была совсем одна, некому было поддержать ЕЕ, не с кем поговорить, некому выразить последнюю волю...

Чудовища!

Только 21 октября я был в состоянии взяться за перо. Я написал сестре: «Моя нежная, добрая Софи, пожалей меня. Только ты можешь понять, в каком я сейчас состоянии. Все для меня потеряно. Только ты у меня осталась... ТОЙ, за кого я отдал бы тысячу жизней, больше нет. Господи, чем я заслужил Твой гнев? ЕЕ больше нет! Я не знаю, как жить, как вынести эту боль. Для меня все кончено. Я не сумел умереть рядом с НЕЮ. Теперь я обречен влачить существование, которое станет моей вечной болью и вечным упреком. Только ты можешь чувствовать, как я страдаю. Как мне нужна твоя нежность. Плачь со мной, моя Софи. Я не в силах больше писать. Я не знаю о судьбе других членов Семьи, Господи, спаси их. И сжался надо мной».

1799 год. 11 июня.

Заканчиваю описание дня.

Я еще раз прочел ЕЕ письма.

Полночь... не могу уснуть... Да, бумагомарака мертв, но он отравил мою совесть!.. Как ловко повернул в своем рассказе негодяй!

Сейчас «она» придет. Все это время рядом со мной живет «она» — его подарок. Я скрываю «ее» в замке от посторонних глаз... И теперь каждую ночь... прочитав сначала ЕЕ письма... я напиваюсь и звоню в колокольчик. И тогда появляется она — «другая». Входит в комнату. Я не велю ей раскрывать рта. Она раздевается, и тело ТОЙ рядом со мной. И мираж абсолютен. Когда Софи увидела ее, она упала в обморок. Я не могу теперь жить без этой шлюхи. Как она без вина...

«Она» идет... Кажется, опять пьяна...

1799 год. 15 июня. Я получил письмо от мертвого Бомарше. *Бомарше продолжает существовать в моей жизни и после смерти.* Не забывает меня.

Привожу полностью письмо от Бомарше.

Письмо Бомарше

«17 мая 1799 года, полдень.

Готовясь отправиться в далекий путь (кстати, утро обещает сегодня отличную погоду), я решил переслать вам, граф, некоторые подробности из прошлого. Они вас весьма заинтересуют.

Вскоре после казни короля я очутился за пределами Франции.

Следя за бурями в Париже, за начавшейся схваткой революционных партий, в спокойной Европе почему-то решили, что революция забыла о королеве. Но я ждал. Я отлично знал, что моего Фигаро можно обвинить в чем угодно, но не в забывчивости. Я не сомневался, что они убьют ее в конце концов. Недаром знакомец мой Дантон, рябой, курносый, с огромными ноздрями и волосами, похожими на проволоку... я часто встречал его в Латинском квартале... искренне объявил: «Мы будем их убивать, мы будем убивать этих священников, мы будем убивать этих аристократов не потому, что они виновны, а потому, что им нет места в грядущем, в светлом будущем». Таков закон революции. Но Дантон не знал еще один ее закон, который сформулирует его друг, тоже великий революционер. Правда, слишком поздно. Поднимаясь на эшафот, где папаша Сансон отрубит ему голову, мой давний знакомец Демулен выкрикнул эти слова: «Революция, как бог Сатурн, пожирает и своих детей. Берегитесь! Боги жаждут!» Забавно, но они все жили в Латинском квартале. Дантон, Камилль, Демулен, Марат... Молодежь Латинского квартала... А в одном из дворов здесь жил папаша Шмидт — друг палача Сансона. Он так облегчил всем жизнь — это он придумал гильотину... И они ее всласть попользовали... пока она не попросила на помост их самих. Но полно, философия не мой конек.

А потом все было, как я предполагал. Фигаро начал суд над королевой. Газеты печатали отвратительные подробности издевательств целой нации над беззащитной вдовой. Вся мстительность Фигаро, которая сделала его кровавым глупцом, была в этом суде. Приговор был известен заранее. Я жил тогда в Лондоне. Внесенный в список эмигрантов, я подлежал немедленному аресту во Франции, что означало встречу с гильотиной... Но я решил. Я должен был ее увидеть.

И я опять придумал... пьесу!

Назовем ее вычурно: «Встреча у эшафота». (Театр — не место для людей с хорошим вкусом.)

Я переправился в Люксембург и уже вскоре благополучно перешел границу.

По маршруту неудачного их бегства через Варенн, Сен-Менеул и так далее я направился в Париж.

В Сен-Менеуле я повидал того самого Друэ. Он стал местной знаменитостью. С удовольствием рассказывает теперь за рюмкой хорошего вина, как узнал и задержал «толстяка и его шлюху».

От этих рюмок, которые щедро наливали за рассказ все приезжавшие в городок, он здорово спился. Я угощал его в трактире, который открыли на площади, на том самом месте, где он их увидел.

Он с удовольствием начал рассказывать то, что я так хорошо знал от моего родственника Мустье.

В конце его рассказа я спросил: «Кто же все-таки придумал перекрыть мост телегой?»

«Я!» — гордо ответил прохвост.

«А если вспомнить?»

«Я!»

«Вы не совсем меня поняли. Я не просил вас повторять это местоимение, столь любимое многими... Я попросил вас вспомнить... о маленьком лейтенанте».

Он даже поперхнулся.

«Ведь это он предупредил вас о том, что едут король и Семья?»

«Нет, клянусь, он и вправду подъехал, но позже... позже!»

«Послушайте, я не интересуюсь, как будет написано в учебниках истории, я интересуюсь истиной». — Я положил перед ним кошелек.

Он придвинул к себе кошелек, засмеялся и начал:

«Мы с дружкой слонялись по площади, поджидая наших девиц... когда появился этот малыш. Он, видимо, устроил бешеную скачку, с трудом держался на ногах. Он сказал: «Сейчас на площадь въедет карета...» И сказал, кто в ней будет. Он велел нам задерживать их, а сам поскакал вперед... Я вначале подумал, что он бредит. Но когда появился тот роскошный экипаж... И я увидел его в окне кареты... точь-в-точь, как на ассигнации...»

И он аккуратно пересчитал монеты в кошельке.

По чужому паспорту я въехал в Париж накануне последнего заседания суда над нею.

Как изменился город, всюду — разбитые фонари. От вольной толпы, упорной избой, не осталось и следа. На улицах — только испуганные или свирепые лица. Одни, проходя, жалась к домам или торопливо отводили глаза, другие, напротив, впивались глазами, выискивали добычу, надеясь различить аристократа. Эти разгуливали по городу с самым наглым видом хозяев... А различить было нелегко, от прежнего многообразия одежд ничего не осталось. Все носили одинаковые унылые, серые куртки и темные платья. Это и была одежда Революции.

Я боялся даже подойти к собственному дому, понимал, что не смогу не зайти. А при всеобщем доносительстве, объявленном добродетелью истинного революционера, мой визит грозил неминуемой гибелью. И не только мне, но им — моим женщинам — сестре и жене.

В городе былолюдно, все радостно ждали объявления по делу Антуанетты, и в тот редкий день в Париже не казнили.

Поэтому мой добрый знакомец палач Сансон должен был быть дома.

И я направился прямо к нему в Пуассоньерское предместье. По дороге я встретил одного знакомого — графа Ла Сюза, но он не узнал меня. Хотя, может быть, сделал вид, ибо сам боялся быть узнанным. Нет, скорее всего не узнал. Человек Театра, я знал, как стать совершенно неузнаваемым. Изменить внешность, наклеить усы или бороду — это полдела. Главное — внутри. Энергичный и вечно юный проказник Б., провожающий глазами всех красоток, более не существовал. Был надломленный, слабый старик... Медленно бредущий по улице.

Оказалось, Сансон переехал. Я легко узнал его новый адрес.

Он купил теперь дом на улице Нев-Сен-Жан. Приехав на эту длинную улицу, я отпустил фиакр. И попросил прохожего указать мне его дом. Тот с готовностью и почтительностью показал. Нет, как все изменилось! Я помнил испуг и отвращение, когда в прежние времена решил впервые навестить палача в его старом доме и вот так же осведомился у прохожего... Я дружил с ним тогда — в пору, когда с ним никто не дружил. Мне было интересно говорить с ним, и еще я обожал плыть против течения.

И вот теперь должность палача, когда-то самая презренная, стала самой уважаемой. И влиятельной. Сам великий Давид нарисовал эскиз нового костюма палача наподобие костюма римского центуриона. Все хотели пожать руку

палачу, добивались знакомства. В газете я прочел слова «бешеного» революционера Эбера: «Пока у палача много работы, республика в безопасности».

Говорят, что во время какой-то очередной казни приговоренный, прежде чем положить голову на эшафот, сказал Сансону: «Гордись, они основали новое царство — твое, палач!»

Его новый дом оказался в начале улицы. Он стоял в глубине большого двора. Крепкий двухэтажный дом с цветником и огородом. Служанка, маленькая старушка, похожая на мышь, пугливо озираясь, повела меня по саду. Другая старушка, его жена Мари-Жанна, копошилась в цветнике.

Я соврал служанке, будто мы условились встретиться с ее хозяином, и попросил доложить о мосье Ронаке.

Служанка повела меня в гостиную, из которой доносились звуки музыки. Оказалось, это был день рождения покойного отца Сансона — палача Генриха Сансона. И все его многочисленные сыновья с женами собрались вместе.

Подойдя к гостиной, я на мгновение остановился в дверях. Ба! Знакомые лица! В гостиной сидели братья — палачи Сансоны. Палачи Реймса, Орлеана и Дижона. И их главный друг (добавлю: и благодетель!) старик Шмидт. Тот самый замечательный настройщик фортепиано, который изобрел гильотину. Братья любили его и были ему благодарны. Еще бы, он **механизировал** (новое модное словечко) **их ручной труд**. Если бы не он, никогда бы не справился им с задачами революции. Эти тысячи обезглавленных... Урожай революции.

Шмидт сидел за фортепиано, а сам Шарль-Генрих Сансон, «мосье де Пари» (палач города Парижа.— Э. Р.), стоял рядом со скрипкой в руках. Они играли Глюка. Я услышал, как они закончили арию из «Орфея». Ария прошла как нельзя лучше. Палачи и жены заплодировали. И Шарль-Генрих объявил, что собирается сыграть дуэт из «Ифигении в Авлиде»... В это время ему и доложили обо мне.

Когда Шарль-Генрих увидел меня сквозь открытую дверь, он меня не узнал. Но когда служанка подошла к нему и прошептала на ухо, что его хочет увидеть гражданин Ронак, я заметил страх на лице палача. Он знал этот мой псевдоним.

Если уже палач боится, то жизнь, видимо, воистину стала кошмаром.

Он что-то сказал служанке, и та повела меня в кабинет.

Шарль-Генрих Сансон вошел. Он очень сдал — совсем стал старик. Но руки и плечи все еще могучи. Лицо изможденное, серое. Еще бы, столько работать — приходится казнить по полсотни в день. И хотя сам не рубишь (спасибо гильотине), но сколько иных забот: всех остриги, свяжи им руки, почувствуй их смертный ужас, да еще потом походи по эшафоту с отрезанной головой, которую теперь непременно требует повидать толпа.

От двери я поймал его взгляд, привычно упавший... на мою шею. Профессия, что делать!

«Я не спрашиваю вас ни о чем, мосье Ронак,— начал он,— но если у вас есть ко мне какие-то вопросы, задавайте».

«Я начну с простого, хотя знаю, что в вашем доме о казни и крови никогда не говорят».

«Эти дореволюционные привычки давно стали воспоминанием»,— усмехнулся Шарль-Генрих.

«Итак, сначала — что случилось с несчастным Казотом? В Англии ходили самые противоречивые слухи».

«В конце сентября его приговорили к смерти. Дочь не смогла его спасти. Хотя в первый раз, когда его арестовали, она вымолила слезами прощение у судей. Но потом перехватили его переписку и что-то выяснили о побеге королевской семьи. Во всяком случае, во время суда он ничего не отрицал, молчал и улы-

бался. Я отвезил его на гильотину. Всю дорогу он читал Евангелие. Я посмел спросить его: правдивы ли слухи, будто он предсказал и гильотину, и свою собственную казнь?»

«И не только свою,— сказал он, оторвавшись от Евангелия,— но всех тех, кто сегодня отправил меня в это путешествие. И его тоже». — Не поднимая головы от Евангелия, он ткнул пальцем вверх.

Мы проезжали по улице Сент-Оноре. Я поднял голову и, клянусь, задрожал. Там в окне стоял Неподкупный. Мы проезжали мимо дома Робеспьера».

Когда я объяснил Сансону, зачем приехал в Париж, он в ужасе замахал руками.

«Ну почему же? — настойчиво сказал я.— Вы будете готовить ее к смерти. Меня назовете вашим помощником».

«Вы объявлены эмигрантом. Вы вне закона. Вам по улицам ходить опасно, а вы хотите...»

«Хочу».

«Вы понимаете, что если вас узнают, вас казнят?»

«Ну почему же меня узнают?.. Если вы меня не узнали. А если еще наклеить маленькую бородку... Вы не раз шутили, как я похож на вашего брата, мосье Дижона. У него как раз милая бородка. Так что шутку сделаем правдой, всего лишь. Вы скажите, что сын ваш заболел и у вас новый помощник, мосье Дижон».

«Все это хорошо в пьесе Бомарше. Но жизнь, мосье, не похожа на пьесу».

«У меня совсем иное мнение... Впрочем, если меня узнают, казнят не только меня».

«Вы правы. И только наша старая дружба заставляет меня терпеть ваши странные, глупые предложения. И... — Он помолчал и сказал: — И не выдать вас немедленно».

«Вы правы. Именно старая дружба заставляет вас это делать. Ибо если меня арестуют, мне придется поведать многие истории, которые легкомысленно рассказывал мне когда-то мой добрый старый друг палач Сансон. Тогда я был одним из немногих, не брезговавших знакомством с этим умным и порядочным человеком... К примеру, он рассказывал о своей нежной связи с графиней Дюбарри... правда, до того, как она стала «подстилкой тирана» и «кровопийцей, ограбившей народ Франции», кажется, так ее называют все добрые революционеры. Так что этого, как я слышал, по нынешним временам совершенно достаточно, чтобы вы поднялись на хорошо знакомый вам помост. Разумеется, уже не убирать чужие головы, а оставить свою. Я надеюсь, вы поняли, что если я способен на такое, мне необходимо... хоть на мгновение ее увидеть».

«Вы правы... вы были в числе немногих моих друзей», — только и сказал бедный Сансон. Он был сообразительный малый и сразу понял, что я не отступлюсь.

Он подумал, помолчал. И наконец произнес:

«Хорошо, вы станете моим помощником на этот день. Благо вы и вправду похожи и, главное, одного роста... Потому что... я придумал... вы сможете быть в маске, когда мы придем к ней в тюрьму. Я постараюсь договориться об этом с Фукье-Тенвилем. У меня есть хорошее объяснение, которое ему понравится... Вы будете в маске, которую надевают палач и помощник только на эшафоте».

Он увидел, как я побледнел при слове «эшафот».

«Но учтите, я не смогу быть...» — сказал я торопливо.

Он презрительно усмехнулся.

«На эшафоте мне будет помогать мой брат. Вы поменяетесь с ним в карете. Это будет нетрудно».

Так я стал его помощником и ночевал в его доме. Ночь я спал отлично, и никаких ужасов под крышей палача мне не приснилось.

И весь следующий день 15 октября я провел в его доме в ожидании результата последнего заседания суда. Сам же Сансон отправился в революционный трибунал. Он должен был получать инструкции после вынесения смертного приговора королеве. В смертном же приговоре «австриячке» никто не сомневался. Шарль-Генрих вернулся только на рассвете. Был шестой час утра 16 октября.

Палач был бледен и очень устал.

— Приговорили, — сказал он хрипло. — Одевайтесь, сейчас поедем.

Прищурившись, он молча смотрел, как я переодевался в платье помощника. На черном одеянии были видны плохо замытые пятна. Я хотел спросить, но его усмешка заставила меня замолчать.

— Как правило, зрители требуют показать им отрубленную голову. Иногда я это доверяю помощнику... Помощник, как вы знаете, мой сын. Он еще молод, не очень аккуратен, и когда обносит эшафот... — сказал Сансон и замолчал.

Я надел маску палача, и наклеенная бородка в точности, как у его брата, торчала из-под маски. Его брат, мосье Дижон, также отправился с нами. Он должен был оставаться в карете, пока мы будем внутри тюрьмы, и сменить меня уже в пути на эшафот.

Чтобы не будить жену Шарля-Генриха, мы вышли на улицу через подвал. Стены подвала мерцали в пламени свечи и были завешены мечами палачей Сансонов. Должность палача передавалась в семье по наследству, и Сансоны занимали ее чуть ли не с первой половины XVII века. Почти два века они передавали своим детям свои мечи. Сансон шутил: «Как короли свои скипетры».

Но теперь палач отправлялся налегке. Не то что раньше, когда он вез с собой обычно два меча. Если первый не справлялся с головой, в работу вступал другой меч. Скольких мучений избегли теперь и осужденный, и палач! Всем помогла гильотина — законное дитя нашего века, века технического прогресса...

Был ранний час, но били барабаны. Это собирались на казнь отряды Национальной гвардии. И на улицах уже появилось много людей — боялись пропустить кровавое представление, хотели занять лучшие места.

По дороге Сансон рассказал мне то, что услышал в здании Революционного трибунала, когда получал инструкции.

Они приговорили ее, естественно, единогласно. Под радостные крики и одобрительные овации зала.

Она выслушала приговор совершенно спокойно. И, не сказав последнего слова ни судьям, ни публике, молча пошла к дверям. В черном платье вдовы она шла мимо торжествующей публики с высоко поднятой головой. Она показала им, что такое истинная королева.

В Консьержери ее привезли в карете в четыре часа утра.

Она очень устала — все эти дни заседания суда шли с раннего утра до позднего вечера. У нее был озноб, опухли ноги. Она бросилась на постель и спала целый час. А потом писала *последнее письмо* принцессе Елизавете, сестре убиенного короля. И много плакала над этим письмом. В шестом часу ей пора было одеваться для встречи с гильотиной. Дочь тюремщика пришла ей помочь. Она попросила девушку прикрыть ее от жандармов, дежуривших день и ночь за перегородкой в ее камере. Но поняла, что этого недостаточно, и сказала жандармам: «Во имя чести позвольте мне переодеться в последний раз без свидетелей».

У них хватило совести выйти на время из камеры.

Она торопливо оделась в жалкое белое платье. Робеспьер оставил великой моднице только два платья — черное и белое. И они очень износились. Она сама выстирала белое платье во время прогулки во дворе тюрьмы в маленьком фонтанчике у стены. И всю ночь накануне штопала его и гладила.

Тюремщик, рассказавший все это Сансону, принес в Трибунал ее *последнее письмо*... Сансон видел это письмо. Ему повезло. Кстати, ему удалось увидеть и последнее письмо короля перед казнью. Оно было написано каллиграфически ровным, равнодушным почерком. У нее же многие буквы расплылись, потому что она плакала. Письмо было большое. И Сансон за десяток минут, пока письмо было в его руках, сумел переписать всего несколько абзацев.

Он дал мне прочесть свои каракули. И, несмотря на его жаркие просьбы ничего не писать, я сделал копию.

«Четыре пятнадцать утра. Сестра, меня только что приговорили к смерти. Но смерть позорна только для преступников. А меня они приговорили к свиданию с вашим братом...

Пусть мой сын никогда не забывает последних слов своего отца, которые я не устаю горячо повторять ему: «Никогда и никому не мсти за нашу смерть...»

Я прощаю всех, причинивших мне зло. И я прошу у Господа прощения за все грехи, которые совершила со дня рождения. И надеюсь, он услышит мою молитву...

У меня были друзья. И мысль, что я навсегда разлучаюсь с ними и что эта разлука принесет им горе, является одним из самых больших моих земных огорчений, которые я уношу с собой в могилу».

Так что перед свиданием с палачом она вспоминала о вас, граф.

В Трибунал Сансон ходил, чтобы договориться о карете, на которой повелительница Франции должна была отправиться на казнь.

Кареты после революции стали редкостью. Знать бежала в них за границу. И тут произошло отвратительное.

Фукье-Тенвиль объявил, что он один не может решить «такой важный и трудный вопрос». Он послал за советом к Робеспьеру. Но тот тоже ничего не решил и переправил дело назад — на решение Фукье-Тенвиля. И тот, уже поняв, чего хочет хозяин, с адской улыбочкой сказал Сансону: «Почему надо везти австриячку на казнь с такими привилегиями?»

«Но так было при казни короля».

«За это время революция поуменела. Мы сейчас страна истинного равенства. Так что королеву повезем в обычной телеге, в которой возят на эшафот обычных преступников. Тем более, как я слышал, это предсказал столь пострадавший за нее Казот. И нечего просить о глупостях, отправляйтесь в Консьержери заниматься своими делами. Уже в полдень вы должны показать гражданам голову вдовы Капет».

«Его грубость меня взбесила, — сказал Шарль-Генрих, — и, уходя, я пробурчал: «Мало ли что предсказал Казот... Он, например, предсказал, что вам отрубят голову по решению вашего же Трибунала».

«А про вас он ничего не предсказал?» — засмеялся Фукье-Тенвиль.

«Предсказал, что отрублю вашу голову я».

(Хотя я уверен, что палач все это только подумал, но сказать побоялся. Теперь в Париже люди смелы только в мыслях.)

В шесть утра мы с Шарлем-Генрихом вошли в старый замок-тюрьму Консьержери. Его брат, мосье Дижон, оставался в экипаже.

Перед главным входом храпели кони — отряд жандармов спешил. У самого входа расхаживали офицеры.

Было какое-то приподнятое возбужденное настроение, как во время праздника. И все время били барабаны.

В маленьком тюремном дворе уже ждала позорная телега. Как раз заканчивалась женская прогулка. Какая-то очаровательная заключенная с тонкими, слабыми руками («плющ нежности!» — так называли бы эти руки в галантном веке) торопливо стирала белье в фонтанчике. (Потом я узнал, что это была маркиза Ла Мезонфор.)

При нашем появлении всех заключенных дам грубо загнали в камеры и двор занял караул. Открыли главный вход — «улицу мосье де Пари». «Улица палача города Парижа» ждала королеву Франции.

Нас провели в ее камеру.

Впереди шел Сансон, за ним я — в маске.

Камера была перегорожена. Над перегородкой возвышались лица двух жандармов. Старые обои клочьями висели на стене. У стены стоял маленький столик, на котором лежала Библия. Кровать была в беспорядке, видно, она спала, не раздеваясь, прямо на одеяле. Спала последний раз в жизни.

Она была в том самом белом, заштопанном ею платье. Плечи прикрыты косынкой. Она сама грубо остригла волосы. И седые, серебряные пряди мешались с белокуроыми. Тонкий нос Габсбургов заострился. Белые бесцветные губы, изможденное лицо. Она была очень нехороша. Только лазоревые глаза и божественная легкая фигура были прежними...

Когда мы вошли, она молча надела белый чепец с черными лентами, прикрывший остриженные волосы.

Следом за нами вошли секретарь Революционного трибунала Напье и еще какой-то представитель Революционного трибунала.

«Почему он в маске?» — шепотом спросил Напье, кивнув на меня.

(Забавно, но этот Напье, как я узнал недавно, следил за мной по приказанию Дантона. Вот была бы сцена, коли он стащил бы с меня маску!)

Сансон с важным видом ответил: «Это придумал гражданин Фукье-Тенвиль. Он сказал: «Пусть австриячка сразу почувствует холод грядущей смерти».

Напье хотел продолжить, но тут заговорила королева:

«Я хотела бы узнать, господа, передали ли принцессе Елизавете мое письмо?»

«Я такую не знаю, — ответил Напье. — Если речь идет о сестре казненного преступника Луи Капета гражданке Елизавете Капет, то я передал ваше письмо, адресованное ей, гражданину Фукье-Тенвилю, общественному обвинителю в Революционном трибунале. Только он может решить судьбу подобного послания, гражданка Капет».

Королева помолчала и, взглянув в мои глаза — в мою черную маску, сказала:

«Я готова, господа. Мы можем ехать».

«Протяните, пожалуйста, руки», — сказал Шарль-Генрих, избегая именовать ее «вдовой Капет».

«Разве необходимо связывать руки? Я слышала, Его Величеству руки не связывали».

Как гордо это прозвучало: «Его Величеству».

«Палач, выполняйте ваш долг, свяжите руки вдове Капет», — приказал Напье.

Она одарила его презрительной улыбкой и протянула руки, как протягивают милостыню жалким нищим.

Сансон отвел их назад, связал, но его руки дрожали.

Я взглянул на ее платье и сказал хрипло, стараясь говорить низким голосом:

«День сегодня холодный».

Она вздрогнула при звуках моего голоса. Я забыл: у нее был идеальный слух.

«Возьмите что-нибудь потеплее»,— предложил Сансон.

«Вы боитесь, что я простужусь, господа? — спросила она и засмеялась, став на мгновение самой собой.— Благодарю вас за заботу. Но она излишняя. Все исполняют **только свои роли**. Вы — палачей, а я — королевы».

Взгляд ее задержался на мне. Она внимательно глядела в прорезь маски.

И вдруг добавила, улыбнувшись: «Прежде я не любила играть эту роль. Я была не права.— Она встала.— Идемте же, господа. Не стоит мешкать».

Клянусь, она узнала! Так что последняя ее строка была адресована вам, а последняя фраза перед эшафотом — мне, граф.

Выходя, она ударилась о низкую притолоку. И даже не вскрикнула. Так высоко она держала голову и так не умела ее наклонять.

Когда она увидела позорную телегу, грязную, с доской вместо сиденья, вот тогда она содрогнулась. Но не проронила ни слова. Телега была высока.

«Вернитесь в карету и принесите табурет»,— сказал мне Сансон.

Я понял. Я вернулся в карету. И вместо меня с табуретом выпрыгнул из кареты его брат. Все та же бородка торчала из-под его маски.

Он подставил табурет и помог ей взобраться. И из окна кареты я видел, как она поблагодарила взглядом меня... то есть уже его!

Он уселся на козлы рядом с Сансоном, жандармы на конях окружили телегу, и ворота со скрипом начали раскрываться.

Распахнулись. И тысячи вопящих и проклинаящих ее людей встретили жалкую телегу, последний экипаж, революционный экипаж французской королевы.

Телега загрохотала по улице. Следом двинулся ждавший у входа экипаж Напье, окруженный национальными гвардейцами.

Ворота закрылись. Я остался один в пустой карете.

«Трогай! — приказал я жандарму на козлах.— К площади».

Он стегнул лошадь. Он был уверен, что везет еще одного помощника палача. Вокруг Консьержери уже не было ни души. Толпа устремилась за телегой с королевой Франции.

Из окна кареты я видел, как телега въехала на мост.

Королева возвышалась, сидя на скамье, с завязанными руками, в белом чепце и белом платье. Прямая спина, гордо откинута голова. Хотя телега качалась, ее спина оставалась прямой.

А народ, заполнивший набережные и мосты, кричал: «Смерть австрийскому отродью!» Я успел увидеть, как кто-то бросился мимо жандармов к телеге и поднес кулак к лицу королевы. И толпа заслонила сцену.

В густой толпе карета двигалась медленно. Не стоило искушать судьбу. Я велел жандарму остановиться, вышел и сказал, что дальше пойду сам, так будет быстрее.

Жандарм пробормотал что-то вроде: «Давить людей он не может»,— и повернул назад к Консьержери.

А я, сняв маску, направился к площади Революции, где должна была быть казнь.

Очередная пьеса Бомарше и на этот раз оказалась совершенной.

В кафе недалеко от площади я увидел Давида. Он сидел, окруженный толпой зевак, рисовал.

Я не поленился, подошел посмотреть. На листе возникала только что проехавшая королева. Я заворожено смотрел, как появлялись ее чепец, прямая спина и острый нос...

Давид отправлял проехавшую королеву в вечность. Теперь она была навсегда в его рисунке.

Но эта остановка у кафе оказалась роковой, ибо я не увидел казни.

Я шел по улице Сент-Оноре и уже приближался к площади. Была четверть первого. И тогда я услышал могучий вопль толпы, донесшийся с площади: «Да здравствует Республика!»

Я понял: свершилось! Я не успел!

«Да здравствует Республика!» — дружно крикнули сверху веселые мужские голоса.

Я поднял голову и увидел в окне трех смеющихся молодых мужчин. Это были Робеспьер, Дантон и Демулен. Они стояли в окне дома Робеспьера, и люди внизу рукоплескали им.

А там, на площади, рукоплескали отрубленной голове королевы. Ее носил по эшафоту сам Сансон.

И еще одну ночь я провел в доме палача.

Шарль-Генрих рассказал мне вечером, что эшафот специально поставили напротив главной аллеи Тюильри, которую она так любила.

Когда Сансон готовился дернуть за веревку, он услышал ее голос: «Прощайте, дети. Я иду к Отцу».

И все заглушил загремевший нож гильотины...

И самое потрясающее. Когда показали ее голову толпе, случилось необычайное. Голова вдруг открыла глаза. Видимо, сдерживая страх, она до предела напрягла мускулы лица. Мускулы сократились на отрубленной голове, и оттого поднялись ее веки, и мертвая кровоточащая голова взглянула на радостно кричащую, гогочущую толпу.

И вмиг толпа замолчала.

А потом глаза закрыли, голову положили между ног. Тело залили известью и в грубом деревянном ящике отвезли на кладбище Мадлен. И закопали в тайной безымянной могиле. Оставшееся после королевы изношенное черное платье отдали в богадельню.

На следующее утро я встал засветло. И полдень застал меня уже далеко от Парижа. Через два дня я был в Бельгии.

Надежный человек переправил меня через границу».

Из комментариев К. Скотта: «Это письмо от Бомарше Ферзен вложил в свою запись о ЕЕ смерти.

Письмо это никогда не публиковалось. Может быть, из-за надписи, сделанной на нем рукой Ферзена: «Все это вздор и ложь. Наверняка всего лишь очeredная Пьеса бессовестного человека».

Писатели уходят

Весь июнь 1810 года Ферзен писал о НЕЙ в «Записной книжке»:

«ЕЕ образ, ЕЕ страдания, ЕЕ смерть. Я не могу ни о чем другом думать».

«Только теперь я понял, как люблю ЕЕ. О как я виноват перед НЕЮ. А если правда все, что говорил бумагомарака? Расплата? Расплата!»

«Мне кажется, что Бомарше... поселился рядом. Я часто думаю о нем. Но самое ужасное — ощущение постоянной вины, которое негодяй подарил мне... Вины перед НЕЙ!

И еще один его подарок. Я уже не могу без «другой»... без ее тела. Вчера я узнал, что «она» спит с моим кучером. Я приготовился изгнать негодяя! Но «она» сказала: «Кучер будет спать со мной, или я убегу от тебя...» Ад! Ад!

Но ночами... я вымаливаю у нее ласки. И этот ее последний стон... И это бесстыдное движение губ. Туанетта! Туанетта!»

«Демон убит. Но теперь я... один».

После этой записи идут пустые страницы. И вклеен смятый, а затем старательно разглаженный обрывок из газеты от 12 января 1810 года. «Вчера в канале обнаружен труп неизвестной. Ее лицо зверски обезображено...» Далее все вырвано.

На последней странице «Записной книжки» (почему-то в середине страницы) осталась последняя запись графа:

«20 июня 1810. Сегодня у нас в Стокгольме похороны наследника. Стоит прохладная погода. Приходил барон С. Враги распространяют слух, будто наследника отравил я, чтобы осуществить безумную мечту — стать самому королем Швеции и начать войну с ненавистной мне Францией. Слухи распространяют друзья маршала Бернадота, которого Бонапарт решил посадить на наш престол.

Добрый барон С. умоляет меня не ездить на похороны. Говорит, что составлен заговор и меня убьют. Ну что ж. Лучшего способа убежать из постылой жизни у меня не будет. Там, за окном кареты, будет та же кричащая тупая толпа. Так похожая на ту, которая ровно девятнадцать лет назад, в то же двадцатое июня, окружила ЕЕ карету.

Сегодня Годовщина.

Я надеюсь уже сегодня прийти к ТЕБЕ.

Стокгольм, вечность».

— Я часто думаю о смерти графа, — сказал маркиз Шатобриану. Он вдруг стал печален и заговорил монотонно, без интонации: — Впрочем, они почти все умерли, все, кто был в тот день. И даже его слуга Фигаро лежит где-то в снегах России. Хитрец Бомарше просил похоронить себя подле купы деревьев в саду своего дома. Отличная идея. Я, наверное, сделаю то же самое, коли вы не дадите мне денег за рукопись и придется остаться во Франции...

Он прислушался. И добавил все с той же бесстрастной грустью:

— Но теперь это уже не имеет значения.

За стеклянной дверью в темноте возникла фигура в белом халате. В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, человек в белом вошел в Башню.

Он поздоровался и не без торжественности объявил:

— За господином маркизом приехала карета.

— Ну вот и все, — вяло сказал маркиз. Но уже в следующее мгновение им овладело бешенство и он закричал срывающимся голосом: — С кем имею честь?! Кто вы такой, сударь?

— Дорогой маркиз, я ваш врач, неужели не узнаете? — Пришедший повернулся к Шатобриану и церемонно представился: — Гражданин Рамон, врач маркиза в Шарантоне. Гражданин де Сад покинул нас, никого не предупредив.

— Я вас вижу в первый раз! — орал маркиз. — На помощь!

Но в дверях уже стояли несколько человек. В темноте призрачно белели халаты.

— Прошу вас, гражданин, — настойчиво сказал Рамон.

Маркиз вдруг расхохотался:

— Ваша взяла!

Он встал, изящно поклонился Шатобриану и пошел навстречу людям в белом.

Шатобриан увидел, как пришедшие уводили его в темноту, держа за обе руки.

Мосье Рамон вежливо улыбался.

— Прошу покорно простить за все беспокойства, причиненные бедным маркизом. Поверьте, маркиза можно только пожалеть. Его сын год назад погиб в императорской армии в Испании. После чего он стал совсем плох. Заговаривается... Недавно объявил, что в будущем его ждет слава, и потому он должен спешно рисовать проект будущего памятника себе. Причем памятник он нарисовал очень странный... На нем он изображен с думом в руке убивающим... кого вы думаете?

Рамон остановился и вопросительно взглянул на Шатобриана. Шатобриан промолчал. Он понял.

— Бомарше! Почему Бомарше? При чем Бомарше? Еще раз простите за беспокойство. Сейчас даже в сумасшедшем доме нет никакого порядка. Впрочем, как и везде. Вся страна превратилась в сумасшедший дом. Это не то что во времена императора. И пациенты часто бегут.

— До свидания, — сухо сказал Шатобриан.

— Я ваш верный почитатель. Жаль, что не знал, к кому приведут поиски бедного маркиза. Я захватил бы томик ваших стихов. Я всегда мечтал о вашем автографе.

И, поклонившись, исчез в безлунной ночи.

И опять заскрипели ступеньки — вошел слуга.

— Простите, мосье, но мадам просила сообщить, она беспокоится...

— Почему посторонние проходят в наш сад? Почему мне не докладывают о них?

— Мосье! Здесь нет посторонних. Мы исполнили ваш приказ: облазили весь сад, как вы велели. И никого! Всюду пусто.

— Как это пусто? Только что отсюда увели полного старого господина в сопровождении нескольких тощих, как смерть!

Слуга посмотрел на него с изумлением. И Шатобриан замолчал.

Но обглоданная курица лежала на столе.

А потом наступила зима.

Шатобриан все собирался поехать в Шарантон, но уже вскоре ему стало не до того. Наполеон покинул остров Эльбу и высадился во Франции.

Как пополнилась его книга.

Шатобриан немедленно отправился в Париж.

До Парижа уже дошли слухи о крепостях, без боя сдававшихся Бонапарту. Поэт умолял короля остаться в столице. Пусть королевская семья уедет, Парижу нужен только он — король.

— Мы укрепимся в Венсенском замке и приготовим Париж к обороне. Мы воодушевим тех, кто в состоянии бороться против Бонапарта. Да, скорее всего мы погибнем, погибнете и вы, сир. Но эта гибель станет бессмертием Бурбонов. Честь короля, исполнившего долг, будет спасена! И последним подвигом Бонапарта станет убийство бесстрашного старца. Несколько часов сопротивления обогрят священной кровью триумфальное шествие вернувшегося тирана...

План Шатобриана пришелся королю по душе. Но как вытянулись лица у придворных! Они уже паковали королевские бриллианты.

И вскоре король, объявивший нации, что смерть за народ будет достойным финалом его жизни, который поклялся, что умрет только на французской земле... бежал в Гент! В ночь на 20 марта к Поэту явились из дворца и сообщили:

король покидает Париж. И просили последовать за своим властелином. Он не хотел ехать, но Селеста буквально впихнула его в карету.

20 марта в четыре утра вне себя от ярости Поэт вместе с королем бежал из Парижа.

Наступили страшные дни в Генте. Король назначил его исполнять должность министра внутренних дел, потому что тогда не было иных охотников на роли министров сбежавшего короля.

Бонапарт признал впоследствии, что Поэт в Генте «оказал королю важные услуги». Бонапарт слишком щедр. Единственная услуга — Поэт дождался вместе с королем Ватерлоо...

Этой фразой (но лучше написанной) можно закончить очередную главу в его книге.

А потом было Ватерлоо, и Поэт вернулся в Париж с королем вслед за иноземными солдатами.

Он жил в суете — вчерашний министр, а ныне пэр Франции.

Пришел октябрь, и наконец Поэт сумел сосредоточиться над книгой в Волчьей долине.

Он торопился, с деньгами было неважно, и вскоре предстояло продавать любимое имение. А здесь хорошо писалось.

В Волчьей долине он вспомнил о странном госте. И вновь собрался поехать к нему в Шарантон.

Но накануне дня Святого Франциска приехала очаровательная Жюльетта. Они так давно не виделись.

Мадам изобразила радость. Жюльетта была частью славы Поэта. Приходилось с нею мириться...

Октябрь опять выдался на редкость теплый. Светило солнце. Тишина, мирные звуки. Где-то пилили дрова на зиму... Звуки пианино. Это Селеста играла Моцарта. Нервно.

О Жюльетта. Она сама нежность. Они сидели в роще на ее любимой скамейке, там, где дорога поворачивала вверх к вершине холма.

— Тепло. Будто лето. Какой прекрасный вечер.

Он помнил ее совсем юной, беззаботно подставившей лицо дождю. Теперь она не любит сидеть при солнечном свете. Но в вечернем свете она прекрасна по-прежнему.

— Тишина,— сказал Поэт.— Падает лист, кружит на ветру, висит в воздухе. Ветер, вздохи — шорохи листвы.

Молчание. И ее слова, тоже как вздох:

— Мой милый друг.

Она погладила его руку. Приглашение к беседе.

Их беседа могла показаться бессвязной, потому что в долгих паузах они продолжали беседовать молча. Они так понимали друг друга.

Она рассказала, как сразу после битвы при Ватерлоо Веллингтон решил совершить и другое завоевание:

— Герцог влетел ко мне в гостиную с криком: «Я разбил его в пух и прах!» Он был уверен — и здесь его ждет победа. Каков глупец.

Она ненавидела Наполеона, но еще больше Веллингтона, посмеявшего уничтожить славу Франции...

Он испытал те же чувства.

В книге надо соединить эту сцену с другим воспоминанием...

Войско Наполеона уже стояло совсем рядом с Гентом, где обосновался жалкий двор сбежавшего старого короля. И несчастный король, и двор, и сам Поэт ждали с часу на час начала решающего сражения. И уже приготовились бежать дальше.

Тогда, чтобы успокоить нервы, Поэт вышел на Гентскую дорогу.

С любимым томиком «Записок Цезаря» под мышкой он шел, печально улыбаясь своим мыслям.

Когда хотели арестовать мудрого Кондерсе, его узнали по томику Горация, с которым он не расставался. И если завтра ему суждено погибнуть, его опознают по любимому томику Цезаря.

Он шел по пыльной дороге в совершенном одиночестве. Небо было чистое, но где-то громыхал гром. Он отчетливо слышал эти нарастающие удары. Однако небо... небо оставалось совсем безоблачным. И вдруг он сообразил: это были не гром и не гроза! Где-то совсем рядом шло великое сражение.

В этой битве сейчас решались и судьба Франции, и его судьба. Если победят союзники, то Поэт-министр вернется со своим королем победителем в Париж, но... Но это будет конец славы Франции — ее оккупация. А если победит Наполеон, это будет конец его мечтам. И до смерти ему придется быть бездомным, нищим изгнанником.

И он... он пожелал победы тому, кто преследовал его все эти годы.

Он выбрал славу Франции.

Но это была битва при Ватерлоо.

Все это он рассказал ей. И все это он напишет в книге. И опять благодарное пожатие ее руки.

— Ах, моя Жюльетта! Наступает какая-то новая жизнь. Что же она нам сулит?

(«Кроме жалкой старости». Последнее не сказал. Но она поняла.)

— Да,— ответила она.— Сколько великих имен кануло в Лету, сколько честолюбий, а мы вот живем, не переставая страдать...

— И славить Господа,— закончил он.

Он уже почувствовал приближение гения. Он откинул назад остатки кудрей. Это был все тот же Рене... ее Рене, перед которым никак нельзя было устоять.

Глаза его сверкнули. И он сказал несколько нараспев:

— Человечество живет между мучительными невозможностями. Люди мечтают о цивилизации равенства. Может быть, равенство и пойдет на пользу всему роду человеческому, но личности оно пойдет во вред. Невозможно для народа жить с Титанами, которые не терпят равенства. И невозможно для духа жить без них.

И другая невозможность. Свобода, а точнее вечный беспорядок свободы, порождает тягу народов к деспотии. Недаром сама деспотия вырастает из корня, называемого народным представительством. Так учил Платон. И это еще одна мучительная невозможность. Невозможность жить без свободы и невозможность жить без деспотии...

Я чувствую наш век — это только начало пути в бездну. Готовятся вселенские катаклизмы. Восстанут целые народы по нашему образцу... Ощущение грядущей великой крови не покидает меня. И все чаще мне мерещится зловеющая рука, которую порой среди волн видят моряки перед великим кораблекрушением.

И этот добрый мир, который сейчас вокруг нас... Обрамленное плющом окно... путник на горизонте... холмы и летящая одинокая птица... покойные ночные шорохи — все исчезнет в катастрофах, в железных звуках грядущего. Но, успокаивая себя, дорогая, я говорю: «Грядущие кровавые сцены меня уже не коснутся. У них будут другие художники. Так что ваша очередь, господа».

Она задумчиво повторила:

— Зловещая рука...

Потом нежно улыбнулась и протянула ему для поцелуя свою пухлую нежную руку.

А потом они говорили о смерти.

— Я все чаще к ней возвращаюсь,— сказала мудрая красавица.— Вчера мы долго говорили о смерти с молодым де Садом. Вы с ним не знакомы?.. Жаль... У него не так давно умер отец. Бедняга просидел в Шарантоне всю империю. В революцию он... Ах да, в революцию вы не были во Франции. В революцию он успел издать ужасающие романы, полные непристойностей и богохульства. Но перед смертью бедняга раскаялся и оставил завещание: «Все рукописи сжечь. Чем раньше обо мне забудут, тем лучше...» Так он написал.

— Я слышал о нем. Кажется, у него что-то случилось с Бомарше.

Жюльетта засмеялась:

— Даже вы об этом слышали! Да, это была странная мания: он утверждал перед смертью, что убил Бомарше. Образ Бомарше его преследовал... Он даже завещал себя похоронить в саду замка, где прошло его детство... «Как похоронили Бомарше, в саду его имения»... Но самое смешное: выяснилось, они даже не были знакомы с Бомарше. И никогда не встречались.

После игр

Тотчас после смерти маркиза де Сада в Шарантон приехали несколько людей в черном. Предъявив документы сотрудников полиции, в присутствии врача Рамона они старательно обыскали бумажный хлам, оставшийся в столе умершего, а затем долго рылись в его комнате.

Как рассказал потом врач Рамон, под паркетом они обнаружили искусно сделанный тайник. Оттуда на свет Божий они извлекли некую рукопись в вишневом переплете с названием «Пьеса» и несколько исписанных листов, озаглавленных «БЕГСТВО В ВАРЕНН, точно записанное господином Бомарше по показаниям участников — шевалье де Мустье и герцога Шуазеля».

Рамон клялся, что собственными глазами видел имя Бомарше.

Но удивительные события в комнате покойного маркиза продолжались.

Вслед за людьми в черном, унесшими бумаги маркиза, в Шарантоне появились новые люди. Тоже в черном и предъявившие точно такие же документы сотрудников полиции. После долгих разбирательств выяснилось, что первые, изъясившие рукопись и листки, были самозванцами.

В декабре 1820 года, через шесть лет после смерти маркиза де С., в далеком Триесте умирал Фуше.

Шесть лет назад Фуше совершил свое последнее предательство. Предавший Бога, Робеспьера, якобинцев, Директорию, он сумел наконец предать и Наполеона.

Но в первый раз Фуше проиграл. Вернувшийся король отправил его в изгнание.

Как изменился Фуше за эти несколько лет изгнания! Бывший богоборец и осквернитель святынь теперь исправно посещал мессу в городском соборе и в мучительном бездействии ждал смерти.

И вот дождался. Он тяжело заболел. И хотя врачи уверяли его, что он выкарабкается, Фуше только усмехался. Ему было скучно жить.

18 декабря 1820 года он велел слуге принести деревянную лестницу из библиотеки и разжечь камин.

Он плохо переносил холод и зябко кутался, сидя перед камином.

Слуга ушел, и Фуше позвал сына.

Он попросил сына открыть потайной ящик высоко в стене. Стоя на маленькой лестнице, сын сбрасывал вниз бесконечные бумаги.

Это был бумажный дождь. Весь пол был устлан листьями.

А потом Фуше деловито начал бросать бумаги в камин, иногда со смешком объявляя имена авторов:

— Жозефина... Сийес... Баррас... Дантон...

Эпоха отправлялась в огонь. Горела великая империя, которую он создавал долгие годы. Доносы, которые писали для него столь многие, разоблачения, которых дрожа ждали современники, — всё становилось пеплом. Перед смертью Фуше захотел покоя, тишины.

Последней в камин полетела рукопись в вишневом переплете. И сын явственно услышал:

— Прощайте, лейтенант. Занавес.

И раздался шелкающий смешок.

Всемогущий циник стал сентиментален.

26 декабря 1820 года Жозеф Фуше, носивший титул герцога Отрантского, умер в Триесте.

Комедия закончилась.

Послесловие

1834 год.

В тот день Шатобриан вернулся домой под вечер. Шестнадцать лет назад была продана Волчья долина... Шестнадцать лет прошло... Кем он только не был за это время: министром, послом, пэром Франции... Где только не жил: в Берлине, Лондоне, Риме... И вот все в прошлом... Четыре года назад ушел из политической жизни... Все вернул: и титул пэра, и пенсию... И вот опять жил в Париже.

Он прошел в кабинет, сел за стол. Последнее время он все чаще сидел за столом и ничего не писал... Просто сидел...

Вчера умер Лафайет... Его хоронили на кладбище Пикпюс, где похоронены убиенные революцией, так успешно начатой Лафайетом... На заседании Палаты после торжественного объявления о его смерти в зале раздался смех... Когда-то в «Мониторе» после заметки о казни Людовика XVI шло объявление: «Амбруаз. Комическая опера...» А три строчки о смерти Наполеона!.. Человечество!..

Впрочем, мир, который он и Лафайет видели из колыбели, давно исчез... Все меньше становится нас — собеседников великих людей и свидетелей великих событий... Последние обломки галантного века...

Вечер. Солнце заходило за шпиц Собора Инвалидов... И где-то в волнах Млечного Пути, в океане солнечных вод, в расплавленном металле света — сырца будущих миров — плыла наша планета... Как мал человек на этом мельчайшем атоме... как жалок век его жизни... «Краткодневен век его и пресыщен печальями... Как цветок, он выходит и опадает, убегает, как тень, и не останавливается...»

Можно было писать «Послесловие».

Он открыл нижний ящик стола, где лежали «Дневник» Ферзена и та рукопись.

И сразу понял: она рылась в его бумагах.

И тогда он услышал ее шаги. Селеста вошла (ворвалась) в комнату. Она не умела быть сдержанной. Гнев, гнев...

Он не обернулся.

— Какая гадость! — зашептала она прямо от двери.— Мало того, что ты не любишь меня... ты не любишь и себя... И поверь, в отличие от тебя Бомарше любил своих родственников. Но забавно, ты о них даже не вспомнил, даже не упомянул! В этом ты весь! А у него были жена, дочь, сестра... И он любил их! В отличие от тебя! И никогда Бомарше не ушел бы сам из жизни, хотя бы ради них!.. Но автор бессердечен. Ты готов выставить на позор... и его, и меня, и даже себя!

Шатобриан пытался говорить, как опасно рыться в чужих бумагах и какое это дурное воспитание в конце концов...

Но Селеста не слушала, она только горько рыдала, как рыдают обиженные дети, и все повторяла:

— Нет, нет... ты не любишь меня.

И ушла, хлопнув дверью.

Шатобриан вздохнул. К концу жизни женщины вновь начинают править нами. Кажется, Бомарше сказал: «После рождения и перед смертью — их власть».

Так что Селеста не права, он любил ее...



Я здесь

Этот текст — не совсем проза, потому что здесь мало вымысла, но это и не моя жизнь, как она шла, строилась, разбазаривалась, мучила меня и наслаждала. Можно, конечно, сказать, что это — воспоминания о том, что случилось со мной в разные времена,— и точка. Но вспоминаю-то я не столько сами события, сколько мое тогдашнее их восприятие, что вполне сравнимо по зыбкости с каким-нибудь чешуекрылым существом. К тому же я все те происшествия и мои возгласы, ужасы, восторги и бредни осознаю заново, теперь, пробуя их буквами и словами, лист за листом превращая их в текст, в сrostок с самим собой. В смесь бабочки и гусеницы. В человекотекст. Так где же я — там или тут, тогда или теперь? Ответ: в этом тексте.

Ранний Рейн

Евгений Рейн уже своим ярким, словно искусственно придуманным именем запоминался, как театральная афиша. Называться рекой, к тому же еще такой знаменитой, бывает в пору только литературным или оперным персонажам. Но Онегина он несколько не напоминал, хотя внешность его была по-своему незаурядна. Огромные черные глаза с длинными ресницами под густыми бровями сообщали ему таинственный вид авгура и заклинателя, хотя и не без легкого намека на шарлатанство, разумеется... Меня эта странность привлекала как залог будущей пародийности его поведения и общей «несерьезной серьезности», а иных она явно бесила. Прямой твердый нос, чуть одутловатые щеки и мешающие четкому выговору губы вместе создавали гротескное, двойственное сочетание: он как бы пугал и смешил одновременно. Чичкина и Мазгалина, например, прыскали невпопад, с чем бы он к ним ни обратился. Он мог вдруг чертом пройти по столовой, выхватывая чужие пирожки, и все лишь глядели на него заворожено. А первая красавица института Вава, когда я спросил, нравится ли ей Рейн, ответила кратко и с непонятым возмущением:

— Урод!

Злокозненный Гарик Ройтштейн высмеивал в нем все — и якобы неблагозвучные инициалы имени, и «бочкообразную» грудь при общей сутулости юного Евгения Борисовича, и его выходки, делая это, впрочем, с осторожностью: высокий рост и длинные руки с крупными кулаками придавали Рейну внушительный вид,— он и в двадцать лет казался уже сорокалетним. Что бы он ни делал, кисти рук, высунутые из рукавов неизменного френчика, все время шевелили плоскими белыми пальцами: он будто разминал ими воздух, или мял невидимый пластилин, или налаживал прозрачную скрипку, формируя в катыш, возможно, не эстетический принцип, а всего лишь козявку из носу.

Шутки он выкрикивал отрывисто и гулко, стараясь, чтобы звучало четче, но это не всегда удавалось, а повторять их было негоже по закону жанра. Но

когда звук удавалось прокрутить в памяти, то во фразе обнаруживалось необычное слово, стоящее как бы поперек, — в нем и заключалась острота, если и не смешная, то литературно забавная.

Мне нравился этот юмор, а Рейн ссылался все чаще на неизвестный источник. Наконец, пригласив меня домой, он его обнаружил: Ильф и Петров, в то время вроде бы не существовавший ни в библиотеках, ни в продаже реликт довоенной культуры. Как удалось ему такое достать?

— Я хотел купить эту книгу, но владелец мне ее так отдал.

— Как? Почему?

— Сказал, что она несерьезна.

Человек без чувства юмора? Впрочем, мой друг, как я не раз убеждался, мог сам заимствовать полюбившуюся книгу «за так». А приключения обаятельного жулика скоро были переизданы, и все шутки Остапа Бендера стали известны наперечет. Знатоки и поклонники даже устраивали между собой турниры на знание «священных» текстов. У Рейна для таких поединков было припасено секретное оружие — записные книжки Ильфа, но и они скоро стали общим местом, объектом новых пародий.

На одной из обязательных лекций по ОМЛ (Основы марксизма-ленинизма) мы, уже, можно сказать, «два друга», затеяли рукописную газетку, пародирующую ту, из «12-ти стульев», которая, в свою очередь, пародировала реальный «Гудок».

— Наша будет называться «Блоха», — говорил Рейн, глядя на сидящего впереди Володю Блоха.

Я вырвал разворотный лист из толстой тетради и этим определил формат газеты.

— Блоха прыгает, жалит, это будет ее первый укус, — говорил Первый главный редактор.

Второй главный редактор выводил в это время шапку газеты, слегка имитируя шрифт «Правды». Вот, как у «Правды» — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», у нас появился свой эпиграф: «Ройтштейн, что вы прыгаете, как Блох?» Это была шутка Н. Бурдина, преподавателя начертательной геометрии, желчного язвенника и ревматика, отличавшегося отменными афоризмами. Шутку эту он произнес на вчерашнем занятии, и мы с Рейном, не сговариваясь, заплодировали ему, как премьеру на сцене.

Ниже заголовка я вывел «Орган 434 группы». Рейн уже писал ахинеюскую хронику светской жизни. Я пустился изобретать ребусы и шарады, вместе мы накинулись на отдел объявлений. Вот его шедевр: «Разыскивается профорг». (Наш профорг, добродушный и немного сонный красавец-брюнет Мика, отсутствовал на лекции.) «Особые приметы разыскиваемого: на носу бородавка, на щеке другая, профорган неестественно увеличен».

Новорожденная «Блоха» заскакала по столам аудитории. «Блоха, ха-ха-ха-ха!» — мусоргско-шляпинский хохот неслышно сопровождал ее. Выпустив четвертый, почему-то «юбилейный» номер газетки, мы прекратили это дурачество.

Я наслаждался общением с Рейном и его речениями, в которых находил много неизвестных мне литературных фактов (зачастую им же и придуманных), имен и явлений. Мы судили, рядили и гадали — если не обо всем, то о многом. Острил он порой неожиданно и дерзко, бывало, «ради красного словца» не пожалев и дружбы.

Вот наша группа в деревне на границе Ленинградской и Вологодской областей — мы на очередной «барщине» убираем колхозный горох, скручивая блье со стручками в рулоны. Вечером — тихий отдых в избе. Мика читает Фейхтвангера. Люся Дворкина, чистая душа, наверное, — Толстого. Скорей всего «Крейцерову сонату», потому что она вдруг отрывается от книги и спрашивает, недомывая:

— Ребята, а что такое онанизм?

Ни секунды не помешкав, Рейн выпаливает:

— А об этом лучше спросить у Мики.

Миролюбивый Мика как сидел за столом, так, взревев, со столом и пошел, поднимая его над головой, на Рейна. Лишь громкая матерщина хозяйки, вбежавшей в горницу с ухватом, остановила возможное другоубийство.

Да, дерзок мой друг бывал чрезвычайно, но и робок тоже не в меру — панически боялся начальства. Тогда же на гороховое поле прислали нам инструктора из райкома, самоуверенного невежду, который двух слов правильно связать не мог. Все сидели на рулонах гороха, слушали его, иронически улыбаясь. Рейн стоял навывыжку, чуть ли не комически трепеща. Может быть, не «чуть ли», а просто «комически»? Нет, видно, еще до института был он если не бит, то крепко пуган и так же крепко об этом молчал. Но иногда ради публички или из-за неловкости шел на демарш. При мне замдекана, тот самый злющий Павлюк, к которому Рейн обратился: «Хозяин», — шипел на него, аж побледнев:

— Вы не на даче, не в деревне, вы в деканате в конце-то концов!

А как было к нему обращаться — «товарищ»?

Можно ли было дружить с таким человеком? В одном окопе, как говорится, не посидишь, в разведку вместе не пойдешь. Но я и не хотел сидеть в окопе и ходить в разведку. Я хотел читать и писать свежие, неслыханные стихи, хотел знать больше о литературе, до самозабвения хотел слушать и говорить о поэзии, а для этих занятий лучшего компаньона, чем Рейн, право же, не было и до сих пор не найти!

Да он и сам гудел из своей «бочкообразной груди» стихами — непрерывно и зачастую невпопад с обстоятельствами. Вот он в том же колхозе мешком сидит на спине тощего мерина. Вокруг — поле мерзлой грязи, из которой мы выковыриваем картошку. Рейн читает вслух «Улялаевщину» Сельвинского, воспроизводя самые героические и разбойные ритмы поэмы:

Д'ехали казаки,
д'ехали казаки,
д'ехали казаки,
чубы по губам.

Слушают его только двое (не считая мерина): однокурсница да я, не раз возглашавший, будучи по-своему зачарован этим Паганини без скрипки:

— Куда смотрят наши девицы?

Вот одна и смотрит, когда мы плывем по Неве втроем на речном трамвайчике: Петропавловка, Василеостровская стрелка, Острова, барокко, ампир, купы деревьев... Рейн при этом декламирует, конечно, не Пушкина, что было бы тавтологией, не Агнивцева и Г. Иванова (которых мы еще не знаем), а почему-то Багрицкого:

Эх, Черное море,
вор на воре...

Багрицкий — потому что романтика и южная школа, которой оказался привержен на всю жизнь. На какую бы тему ни были его стихи, всегда в них можно безошибочно определить, почему нынче помидоры на рынке. Конкретность, напор, подъем — вот что ему нравится в книжных сборниках 20-х годов, которые он попеременно носит с собой в кармане френча и при первой же возможности читает вслух. День проводит с Багрицким, читая мне несслыханный, ошеломляющий и мутный «Февраль», день — с Антокольским, Сельвинским, Луговским... Откуда такая богатая коллекция? Что-то он глухо и неодобрительно говорит о домашнем собрании первого отчима, о книжных развалах в Лавке писателей и у букинистов на Литейном и с восторгом — о баракхолке:

— Ты даже не знаешь, где она находится? Едем туда в ближайшее же воскресенье!

Барухолка 50-х годов устраивалась по воскресеньям на Лиговке, на пустырях и дворовых площадках, располагаясь в глубь квартала от травянистого склона Обводного канала: пыльное, грязное, даже вонючее, но и яркое, пестрое зрелище. Инвалиды раскладывали на газетке свинченные медные краны, бабки трясли полами полупальто, демонстрируя прочность подкладок, другие негоцианты, наоборот, ни за что не показывали товар, ожидая лишь верного покупателя. Это был действительно свободный, хотя и с сильной опасной и воровской оглядкой, рынок! Ради курьезу мы пошли посмотреть ряд искусств и ремесел: крашенные глиняные коты-копилки с выпученными глазами, пронзительные клеенки с красавицами и лебедями, настенные коврики с прудами и замками в лунном свете...

— И это — искусство? — спросил Рейн риторически крепкую сорокалетнюю тетку, продавщицу этого добра. Та, не смутясь, отчеканила:

— Настоящее искусство, молодой человек, которое за километр видать!

А вот и книжники. Сколько крамолы лежит в открытую, это ж невероятно! Воспоминания генерала Деникина, рижские издания эмигрантов. Но — дорого, а денег мало. Наконец я покупаю «Розу и крест» Блока отдельным изданием, Рейн — «Пушторг» Сельвинского.

Найдя во мне, что называется, «благодарного слушателя», Рейн однажды у себя дома буквально зачитал меня стихами. Он читал вперемежку, на выбор из Тихонова и Антокольского, и добавлял что-то еще, звучавшее чуть иначе и ближе.

Я понял, что он меня мистифицирует, но вдруг до слез взволновался строчкой «Этой ночью меня приговорили к бессмертью...». Волосы встали дыбом на голове, сердце запрыгало в такт, и я произнес:

— Женя, это же ты... Это же гениально.

Молодой Найман

Я хотел назвать эту главу «Ранний Найман» по аналогии с предыдущей, но подумал, к какому же периоду «жизни и творчества» отнести его вчерашний звонок из Нью-Йорка? Я накануне оставил на автоответчике в том доме, где он гостит, мою стихотворную реплику на его «Колыбельную внучке»:

Видно, верному — медленным быть велено:
сквозь жизнь доехало только сейчас...
Вот и не спрашивайте, по ком колыбельная,—
она ведь — по любому из нас.

Вопрос «По ком колыбельная?» немедленно воскрешает другой: «По ком звонит колокол?», что тут же вызывает имена Донна, Хемингуэя и Бродского, сразу связывая проповедь, роман, большую элегию и заодно — эту колыбельную, а также времена, пространства и наши увлечения воедино. Надо ли говорить, что Анатолий Генрихович все связи мгновенно уловил, тем более что они были намечены в его «Колыбельной», и он поблагодарил меня учтиво и просто. А потом голос его как-то по-давнишнему дрогнул, и он спросил:

— Хочешь, прочитаю совсем новое?

Он стал читать стихотворение «Караванная, 22» — это был адрес его детства: в двух шагах от Невского, у манежа, кинотеатра и цирка. В нем повторялся образ, просто просящийся в заглавие книги — львы и гимнасты, входящие в цирковой подъезд. Яркие и упругие, золотые и клетчатые, как метафоры Юрия Олеши.

Он кончил читать, возникла секундная пауза, он ждал моей реакции.

— Ну что ж. Я бы сказал «гениально», если бы ты уже не слышал этого раньше,— обронил я заветное слово, тут же его как бы и отозвав.

Мы рассмеялись, оба по-своему счастливые. Кто это был на линии — «поздний Найман»? Нет, прежний, тот же. Пусть «седьмой десяток», пусть внучка, и он, стало быть, дедушка, но в наших отношениях не было бурных конфликтов и переломов, как с Рейном, во многом благодаря уму и такту Наймана, умевшего вовремя переключиться на «более неотложные дела», да и я избегал выступать с очевидной, но нежелательной критикой — вот и получилась наша «дружба с первого взгляда» столь протяженной...

Наблюдать молодую толпу в Техноложке лучше всего «под часами» в вестибюле, на излюбленном месте встреч, в особенности перед ранним уходом с занятий. Но и не уходя можно было там увлекательно пропустить час-другой обучения в разговорах, покурировании, анекдотах, знакомствах и обсуждении статей, характеров и успехов всех мимо снующих зубрил и хвостистов.

Вот лестничный поворот огибает скромно-яркая Вава Френкель. Она в чем-то сером, подчеркнуто-будничном, а движется, как балерина.

— Здравствуй, Дима!

Исчезла...

Тут же возникает Леша Порай-Кошиц, сын покойного академика, учащий-ся на другом потоке. Видимо, наблюдал за ней с другой точки.

— Ты знаешь эту девушку? Познакомь меня!

— Видишь ли, Леша...

Нет, Вава, увы, не «моя» девушка, но подарить ее Порай-Кошицу я не собираюсь.

Подходит Кира Певзнер — точеная фигурка, манеры жеманные, но с подначкой, глазища «туда-сюда» заставляют не замечать тяжеловатых книзу щечек. Вот она, вроде бы «моя» девушка, но это только так. То манит, то отталкивает — держит при себе, а сама ищет новых знакомств.

Мелькнула Люба Попова — совершенно дейнековская боеподруга. Кольнула синей насмешкой из-под легкого желтого локона: мол, стоишь, остолоп, ну и стой, все равно вокруг меня станешь виться, когда поумнееешь.

Достал «беломорину», прикурил от моей сигареты Виктор Колин: хорошая стрижка, костюм, белая рубашка, галстук. Скрипуче пошутил, оправдывая свой англичанский вид и фамилию:

— Люблю все добротное...

(Спустя время он читал этим голосом добротные, вероятно, лекции там же, где слушал их теперь. А вот — уже не читает. Нет его.)

Вот проходит Юра Берг, аспирант и артист, — благородный профиль, тихий отчетливый голос, манеры и вид джентльмена, он с нами не останавливается, лишь делает жест издали: мол, рад бы, ребята, с вами потолковать, да некогда...

А Володю Брагинского, наоборот, разбирает жажда общения: он сегодня тоже поэт. Достает из портфеля, читает: «Половой голод».

— Володя, ты же такой обаяха, чего ж ты тогда полово голодаешь?

И я выгляжу не позорищем рядом с элитой: приехавшая повидаться с сестрой тетя Лида ловко скроила мне куртку из синей простроченной ткани, приспособила к ней на всю полу с распахом «молнию», и — носи на здоровье! Я и носил.

Вот по широкому маршу спускается Юра Михельсон: длинная вытянутая фигура, длинное вытянутое лицо, — при виде «избранного общества», собравшегося под часами, глаза его исчезают в улыбке. Пока он подходит, я успеваю услышать с одной стороны: «Сын профессора Михельсона», а с другой: «Сам гениальный композитор, между прочим». Как может музыкальный гений учиться у нас?

— Господа! — обращается он. (Это в 55-м-то году «господа»!) — Я надеюсь, среди нас нет стукачей?

Ничего себе! А если есть? Ну и пусть! Далее следует «Армянское радио», потом «Рабинович в Большом доме»...

Композитор? Это мне интересно. Я побывал в михельсоновской большущей вроде бы квартире, в которой видел только Юрину келью: кушетка, два сту-

ла и рояль, на котором стояла картонная цитата из камердинера Монтегье: «Вставайте, граф, вас ждут великие дела!»

«Граф» Михельсон сел за рояль спиной к окну, за которым близко-близко плескалась Фонтанка, ударил по клавишам, бурно заиграл что-то свое, «еще не готовое», бросил.

Бурно, вздымая руки, заговорил о Шостаковиче — гений, гений! Захотел поставить пластинку, но я эту музыку слышал уже в концерте.

— А вот что ты наверняка не знаешь. Послушай!

И, действительно, закрутилась какая-то музыкальная машина с нечеловеческим размахом и энергией, вовлекая мой слух и сознание, а стало быть, и предметы, людей, обстоятельства, жизни, связанные со мной, в увлекательный и трагический танец, в головокружительный фортепьянный концерт, который должен сейчас оборваться. Не обрывается, не обрывается, не обрывается... Вот и оборвался. Конец.

— Ну что это? Кто написал?

— Не знаю... Шостакович-не-Шостакович, Прокофьев-не-Прокофьев. Но — гений.

— Это — Галынин! Слышал о таком?

Никогда раньше не слышал. Да и потом — тоже глухо. Спасибо, Юра, тебе за Галынина. Технолога из тебя, как из всех нас, не получилось, композитора — тоже, а вот либреттист Юрий Димитрин вышел отменный.

По лестнице спускается в вестибюль ладный молодой человек в куртке, почти как у меня, только моя темно-синяя, а у него — темно-вишневая. Я уже замечал этого юношу в институтской толпе: черные брови и чуть удлиненные волосы, бледное лицо, глаза то задумчивы, то сверкают, вид — надменный. При этом, как я узнал о нем, — круглый отличник, школьный серебряный медалист. Значит, пойдет в науку. Жаль, пропадает такое сходство с брюсовским адресатом, воплощением молодого поэта:

Юноша бледный со взором горящим...

Но этот юноша вдруг подходит ко мне, протягивает руку и говорит:

— Я Анатолий Найман. Я знаю, что вы — поэт Дмитрий Бобышев.

— Да, я пишу...

— Я пишу тоже и хотел бы вам почитать.

— Великолепно! В конце часа я должен сдать журнал в деканат и после того, если вы не против, мы могли бы поговорить где-нибудь вне этих стен.

Он был не против, мы вышли из института, повернули налево по узкому длинному Загородному, мимо всех этих мнемонических улиц «Как можно верить пустым словам балерины», пересекли бревенчатую набережную Введенского канала (ныне засыпанную), прошли мимо Витебского вокзала, на ступенях которого задохнулся когда-то Анненский, мимо Пяти углов, вышли на широкий и короткий Владимирский, пересекли Невский, миновали букинистов, затем каменную кулебяку дома Мурузи, не заметили, как миновали Большой дом и Литейный мост, добрались с переколенцем до Сампсоньевского (тогда — Карла Маркса), до дома 70, где жил Толя, и вышло, что я проводил его до дому. Раз так — мы повернули обратно, перешли вновь Литейный мост, повернули налево по Чайковской, прошли сквозь сад, оказались у моего дома 31/33 по Таврической улице, и уже вышло, что он проводил меня. Тогда, ради полной справедливости, мы вернулись к Неве и посредине Литейного моста, наконец, растались.

Все это время мы говорили только о стихах.

Стихи, стихи, стихи...

Стихи Наймана, прочитанные им на этой прогулке, как и мои стихи, уже не были первыми опытами, но и самостоятельными и состоявшимися их тоже вряд

ли можно было назвать. Даже тогда это было нам обоим ясно: неперебродившие гормоны, бледный синтаксис... Но скорая в восемнадцати-девятнадцатилетнем возрасте интуиция угадывала еще неслучившееся, несочиненное и ненаписанное, летя впереди наших жизней. Взаимные замечания по текстам схватывались на лету и благодарно учитывались на будущее: отсекалась банальность, отбрасывались легкие способы и эффекты. Даже скорей эстетически, чем как бы то ни было иначе, установился барьер презрения к тому, что делало стихи «советскими», проходными для печати. Вкус отвергал все это раньше, чем срабатывала этика.

Я поверил в талант моего внезапного друга (признаюсь) после второй встречи, он поверил в мой сразу. Когда иссякли собственные тексты, мы стали читать на память излюбленные. Некрасова тут же заткнули портяночной пробкой, горько и высоко зазвучал Лермонтов, но ненадолго, ибо и он оказался весьма пожеван школьной программой, а Баратынский и Тютчев, наоборот, на удивление поражали своей незахватанностью. И тут воспарил, конечно же, Блок, Блок, Блок.

А слышал ли он нечто совсем другое? Переходя на образцы не безусловные, но все равно заветные, я прочитал куски поэзии из «Орды» и «Браги», перекочевавшие в мою память из кармана рейновского френча.

Найман был ошеломлен:

— Тихонов? А я думал, это — официоз...

— Нет, он поэт, и подлинный. Вот слушай:

Захлебываясь,плыли молча
мамонты,оседая.
И только голосом волчьим
закричала одна,седая...

Багрицкого он знал, Луговской царапнул его лишь поверхностно. Как мало мы знали тогда, но как уже верно чувствовали! К Пастернаку мы оба лишь подходили, Мандельштам был еще не прочитан. Впереди лежала неоткрытая, да и не совсем еще написанная великая поэзия, и где-то в ней мечталось и угадывалось нам угнездиться.

Наша дружба «с первого взгляда» не требовала подтверждений. Продвигаясь стремительно в том, что оба выбрали главным, мы нуждались в частом общении, и скоро он стал заходить ко мне на Таврическую, а я был тепло принят в его семье: доброжелателен был и отец Генрих Копелевич, инженер, техническая косточка, и мать Ася Давидовна, врач и сочувствующий нам гуманитарий, и младший брат Лёка, видом пошедший в отца. Толя был в мать, и она своему первенцу старалась передать кое-что сверх его блестяще восприимчивого интеллекта, быстроты мысли и обаяния: свой европейский опыт, приобретенный в студенческие годы в Париже. Вот откуда появились в его еще ученических стихах эффектные перепрыги с русского на французский!

Я, конечно, рассказал о нем Рейну как другу и ментору. Он был скептичен:

— Знаю я стихи этого отличника...

— Но он развивается!

Действительно, все больше забрасывая науки, развивался он, как и мы, скачками. Вот написал вычурно-отталкивающие, но забавные «Отродья»: «У мужчины родился урод, / человеческий только рот»; витринная манекенша забременела от магазинного воришки, в результате чего родилась уродка, подходящая подруга для первого. А уж от них, от двух уродов, пошло поколение нормальных людей, то есть, читай, все мы — отродья...

Дерзко, необычно, нелеповато... Найман давал читать это компании «под часами»: знатоками были отмечены политические аналогии «Отродий» с партией и комсомолом и библейско-мифологические — с Адамом и Евой. Но скоро новизна стала у него связываться не с изобретательным вымыслом, а с личной неповторимостью, дыханием, сердцебиением, генетическим кодом, и он научился легко ее выражать в простейшем:

Живу в квартире номер семьдесят,
дом семьдесят по Карла Маркса.
Мой дом и здания соседние
похожие имеют маски.

Рифмы здесь калиброваны. Маски домов могут быть схожи, и все ж точные номера дают не только неповторимый адрес, но и полное совпадение стихов с действительностью, пусть даже в анкетном ее проявлении. Реализм? Не совсем, потому что здесь нет примата реальности над искусством. Это в конце концов лишь ранний, несколько упрощенный пример великого гетевского принципа «Поэзии и Правды», притчи о двух сосудах, взаимно наполняющих друг друга.

Нет ничего легче и продуктивней, чем наполнить стихи собой, и если не мешают препоны между языком и авторским переживанием, то индивидуальность текста получается словно самопроизвольно. Жестикуляция, мимика, тембр голоса отпечатываются чуть ли не дактилоскопически в словах. О чем бы ни писал поэт, он изображает свой портрет: так ранний Найман описал каток, вполне демократическое место скользких зимних забав молодежи. Он — о том, как «в облегающих рейтузах / садятся девушки к парням, / приобретая позы клоунш», а я вижу его в Эрмитаже на третьем этаже, рассматривающим гротески Тулуз-Лотрека. При этом он, приподняв бровь, косит в сторону, интересуюсь, замечен ли он читателем именно там, в тех залах, где висят импрессионисты, то есть прочитан ли код, сообщающий о взаимной элитарности обеих сторон.

Эффект «клоунш» признал и Рейн; мы втроем стали появляться в литературных компаниях, и я помню, как Толя читал «Каток», стараясь понравиться Леше Лившицу, тогда студенту журналистики, который слыл авторитетным и взыскательным филологом.

Нет, элитарный код не был им прочитан, стихи Наймана вызвали скепсис, как, впрочем, и мои стихи. Из нас троих Лившиц признал лишь Рейна, да и то с оговорками: интеллект, культурность, книжность не считались ценностями среди университетских поклонников Хлебникова. Это отношение, вместе с авторитарностью, Лившиц усвоил и воспринял от своего ментора Миши Красильникова, тогда исключенного из университета за публичный демарш в духе славянствующего Велимира. Былинно рассказывалось, как Миха со приятели явились на лекцию по советской литературе в посконном, сотворили квасную тюрю и стали хлебать ее деревянными ложками. Даже привычкой говорить нараспев эта легендарная личность повлила на идущих вслед универсантов-филологов. Распев, впрочем, восходил к манере бытовой речи Пастернака, которому в стихах жестоко подражал Леша Лившиц, но о своих опытах до поры умалчивал.

Непризнание казалось несправедливым и обидно досаждало Найману, как если бы, к примеру, его футбольная команда продула противнику, а он «стоял в голу». Но, в сущности, оно было правомерным. Своей собственной, даже такой обаятельной манеры для той поэзии, которой мы взыскали, было недостаточно. Оригинальную манеру лихорадочно ищут и не могут найти участники литературных кружков, но для подлинного певца это не более, чем умение опереть свой голос на диафрагму. Что и как он запоет — вот в чем все дело!

И Найман вскоре зазвучал по-новому. Это было стихотворение «Пойма», торжественное и напевное, где библейские архаизмы естественно сочетались с современными метафорами и образами среднерусского пейзажа:

Всем, что издревле поимела
обильная дарами пойма:
водой солодкой, хлебом белым
я был накормлен и напоен.

В стихах были истинно красивые тропы, совсем не затронутые какой-либо слащавостью, а ведь для того, чтобы не предать красоту, как это сделало боль-

шинство поэтов нашего поколения, требовалось духовное мужество. Но и мастерство тоже:

Стреноженные кони косо
водили плавными хребтами,
прозрачнокрылые стрекозы,
прицелясь в воздух, трепетали...

«Аркадий, не говори красиво!» — сказал тургеневский Базаров, заморозив на полщеки лицо русской литературы. Впрочем, Бальмонт, Блок и Белый заговорили было о прекрасном — возвышенно, но на них притопнул с Триумфальной площади советский Маяковский, и всем стало стыдно. Гении, даже на фотографиях, стали выпячивать свои квадратные подбородки, скошенные лбы, двугорбые, как верблюды, профили. Добавилось с Запада, от изысканно безобразных кубистов и мовистов до Сальвадора Дали, с явным сожалением, но все же искажающего красу, и даже до безупречного эстета Матисса, провозгласившего в поддержку своей оппозиции: «Красивое — уже не красота!»

Начавшийся с ранних уродов и «Отродий» Найман стал писать все более чеканно и отточенно, сканно, серебряно-червлено, воздушно-барочно и, стало быть, демонстративно и вызывающе красиво.

Крымские дачники

К разгару белых ночей квартира на Таврической опустела: Бобышевы всем семейством уехали на дачу в Крым, а я оставался доделывать курсовые проекты и держать очередные экзамены, — их общее количество, если считать с седьмого класса, уже исчислялось многими десятками: сколько невидимых миру нервных напрягов и надрывов!

Сад вваливался в раскрытые окна, небо было прозрачно расцвечено если не карамелью, то акварелью: вечерние зори в нем занимались прохладными нежностями со своими выходящими в утреннюю смену товарками. Науки меж тем все усложнялись, и сочетать их с экстазами по поводу великого поэтического поприща бывало нестерпимо. Я уходил из дому в ночную тень — к уже розово освещенному по верхам Смольному собору, где изредка попадались подобные мне тени сверстников и сверстниц, томимых тем же брожением. Одна из них присоединилась ко мне:

— Можно с тобой? Я — Бэлка.

— Почему не «белочка»?

— Диминитивов не обожаю.

Ладная подкрашенная блондинка, глаз — голубой, манеры свойские. Учится на шведском отделении университета, расположенном в античном тупичке сразу же за монастырем. Общежитие — там же. Шпионскую школу, конечно, знает. И более того — многократно туда ходила, и на танцы, и так. Что значит «так»? То самое и значит — там же и была завербована в эти самые, в шпионки.

Мы с ней подружились именно потому, что я ей не поверил. Ну не может же настоящая шпионка так вот выкладывать первому встречному всю конспирацию... Просто, должно быть, хотела по-своему удивить, произвести впечатление. Что ей, кстати, и удалось!

Нет, на следующую встречу притащила крохотный фотоаппаратик, явный диминитив: не смогу ли я определить, испорчен он, или это она что-то не так с ним делает? Потом говорила о сложностях кодировок и же совершенно непреодолимо трудных зачетах на шведском отделении. Я ей — о предчувствии необычной судьбы и тоже об экзаменах. Исчезла на недели. Наконец исчезла на годы. И вот вдруг звонит, чтобы встретиться. Боже! Появляется советская вобла в двубортном костюме, сияет золотыми фиксами — и сразу в койку:

— Расскажу все потом...

— Никаких «потом»! Где ты, что ты?

— В Ту-у-ле, на одном предприятии, начальником первого отдела. Командировку себе выбила. Думаешь, это легко с моей секретностью?

И тут я в ее бывшее шпионство поверил: начальницей секретного отдела за так просто не станешь, тем более на оружейном заводе. А в Туле — только такие. Ну, конспираторша, сколько военных тайн ты можешь выдать?

Нет, в джеймсы бонды я не годился; не получался из меня и путный технолог-механик, — о последнем стали догадываться, к сожалению, даже преподаватели. Сдавая проект по «Машинам и механизмам» Кириллову, чей бритый череп с нахлобученным лбом воплощал техническую мысль, я услышал от него укор с пришепетом:

— Какой же из вас, Бобышев, инженер получится, если вы гайки чертите с пятью гранями? Вы что, собираетесь изготавливать нестандартные гайки? Рабочие вас засмеют.

— А сколько их нужно?

— Чего — гаек? Рабочих?

— Нет, граней, конечно...

— Вот видите, вы даже вопрос правильно задать не умеете...

Уел меня на русском языке. А доцент Шапиро — на «Насосах и компрессорах». К его экзамену я готовился один, а к переэкзаменовке — вдвоем с Блохом, тот же экзамен завалившим. Передавали кое-как, но я получил троечку, а Блох — четверку!

Бывали и обратные варианты. К «Физической химии» меня натаскивала Галя, считавшая долгом своей жизни выручать поэтов. Совсем недавно я как поэт вырос в ее глазах, прочитав нервные и размашистые строфы из «Февраля на Таврической улице»:

Каждый угол на этой улочке,
затвердившей его ненастье,
был обшарен глазами колючими...

Она дала им самую высшую оценку, на какую только была способна:

— Знаешь, это даже лучше, чем у Женьки.

Натаскивала она меня упорно, и сама на экзамен пошла раньше, чтобы успеть рассказать мне об обстановке, прежде чем я пойду отвечать. А принимала совсем новая преподавательница Нина Андреева, молодая, не без некоторой даже привлекательности дылда, и никто не знал, что она такое.

Выходит Галя — бледная, аж в зелень:

— Пара!

— Как?! Тебе — пара! Что ж тогда я получу? Минус двойку?

— Иди, иди, ты получишь четверку.

Так оно и вышло. Русские фамилии получили четверки-пятерки, еврейские — двойки-тройки. Ну что было делать? Из протеста отказаться от спасительного балла? Тогда получились бы у меня две переэкзаменовки, что означало исключение из института. Впрочем, Галя пересдала на следующий день заведующему кафедрой.

А Нина Андреева преуспела, если не в физхимии, то в политике, и в годы перестройки даже возглавила партию сталинистов...

С тяжелым чувством накопленных неудач я встал в длинную очередь на поезда южного направления. Очередь пересекала по диагонали кассовый зал, расположенный под башней, в бывшей Городской Думе на Невском. Я пытался развлечь себя, сосредоточившись на томике Дос Пассоса, но мысли разбегались, в голове мелькали какие-то смутные сцены.

Вот, например, — выгородка из того же зала, окна на Невский раскрыты, оттуда врываются сырой холод и шипенье троллейбусных шин по мокрому снегу. Но внутри — жарко, надышано, полно народу. Это явно эпизод из будущего: седоватый лысеющий мужчина «весь в заграничном», одолевая голосом уличный шум, читает стихи, и дата подтверждает — сегодня второе января 1989 года. Прилетев накануне «с того света» и встретив Новый год на Тавриге, я высту-

паю в Российском культурном фонде. «Впервые после десятилетнего отсутствия», — как объявил секретарь фонда. Да и вообще, считай, такое — впервые в жизни. В передних рядах раздраженные возгласы, в задних — большой одобряж, а в целом — сосредоточенное изумление: «Неужели это все взаправду?» Я читаю «русские терцины».

— Перестаньте издеваться, позорить Россию!

— Нет уж! Раз я решился высказать самое главное, так хоть сажайте, хоть сегодня же высылайте из страны... Здесь ведь не только личные мысли. Это — психоанализ моего русского «мы»:

А, может быть, твердить еще больней,—
да, мы рабы, рабыни и рабенки,
достойные правителей, ей-ей...

А вот — воспоминание о прошлогоднем евпаторийском лете: мы с братом Вадимом спим на койках под деревом в абрикосовом саду. Я пробуждаюсь от резкого крика: на черепице соседнего дома сидит павлин, завесив хвостом чердачное окно и переливаясь золотом с зеленью по кобальтовой глазури. Вновь пронзительно крикнул и полетел, таща за собой ворох красавицыных глаз на хвосте...

Путешествия во времени попеременно с невнимательным чтением были вдруг прерваны, когда моя очередь приблизилась к кассе.

— Вы не могли бы мне взять билет до Евпатории?

Чуть моложе и чуть выше меня. Вроде как абитуриент. Голос интеллигентный, хотя и сипловатый, и немного грассирующий. Можно и отказать, — вон сколько людей стоит позади, а вы, мол, без очереди... А можно и согласиться, — в кассе, действительно, дают по два билета, и случай мне предлагает попутчика.

— Хорошо. Давайте деньги.

— Вот вам без сдачи.

Это был Володя Швейгольц, ставший не только нескучным спутником для двухдневного путешествия, но и пляжным приятелем моих крымских каникул, затем перейдя в разряд питерских более-или-менее литературно-богемных знакомств. В компаниях его звали просто Швейк.

Еще в поезде начался наш книжный спор на извечные русские темы: Толстой или Достоевский? Пушкин или Лермонтов? Да русский ли только этот спор? А — Гёте или Шиллер? И вообще — классицизм или романтизм? Швейк мертво отстаивал идеи не столько даже Достоевского, сколько его героев: подростка-Долгорукова, Ивана Карамазова и, увы, роковым образом Родиона Раскольников. Но спорщиком я уже был заядлым и то и дело дожимал аргументами юного нищсеанца.

Зато он обучил меня множеству практических вещей, годных на все сезоны. Например: позавтракай супом и до пяти часов не вспоминай о еде. Или на зиму: пока молод, носи с юмором боты «прощай, молодость», причем на размер больше: тепло и дешево, и в гостях, легко скинув их, не натопчешь. Этому совету я долго сопротивлялся, покуда он, посетив меня на Таврической, скорей всего нарочно не оставил свои боты, и однажды в злобно-морозный день я их все-таки надел да так и проходил в «ботах от Швейгольца» до конца зимы.

А на лето — в качестве пляжного костюма купи за 12 копеек детские трикотажные трусики, и на твоих взрослых чреслах они приобретут тугую элегантность!

Швейк обитал с матерью и сестрой на другом конце городка, пронизанного сетью малых, как швейные машинки, трамваев, но, видимо, с утра зарядившись питательным супом, приходил напрямую по берегу на нашу часть пляжа, и мы целые дни проводили, как олимпийские боги. Ровный жар солнца сверху и снизу, отражаемый белым ракушечным песком, невесомая голубизна прозрачного мелководья, сочетания в одной перспективе самых крупных и самых дальних планов (я все еще увлекался фотографией), например, загорело-округлого плеча с белой полоской от вчерашней бретельки с нешуточной синью горизонта, — все это питало глаз не хуже, чем утренний кулеш.

У Швейгольца было несколько вытянутое, «эль-грековских» пропорций тело, и плавал он, как торпеда. Хотя и самоучка, он вызвался мне преподавать, как плавать истинным кролем. Учился (и учил) он по брошюре Джонни Вейсмюллера «Мой американский стиль плавания». Кто такой Вейсмюллер? Да его весь мир знает — чемпион по плаванию, приглашенный Голливудом на роль Тарзана!

Неужели — Тарзан? Пловец, сложенный, как Аполлон, но вдвое крупней своего мраморного истукана! Я с воодушевлением стал следовать довольно странным заповедям героя нашего отрочества. Чем причудливей, тем верней они казались:

— Грудь работает в качестве кия.

— Ноги должны лишь поддерживать положение тела.

— Руки — это мотор. Но главное умение — не напрягать их, а расслаблять.

— Вдох достигается из подмышки.

И так далее, похоже на «дыр бул щыл убещур».

Но на сегодня хватит плавательных наук, идем лучше исследовать лиман. В Евпатории только и говорят о лимане, о его целебных грязях, недаром здесь столько костнотуберкулезных санаториев для детей. Когда маленькие калеки колонной по двое пересекают пляж в корсетах, с костылями и ходулями, песок еще более замедляет их шаг, и переждать, пока они, ковыляя, освободят тебе путь, занятие нестерпимое.

Наконец они миновали, и мы идем вдоль побеленных стен из ракушечника, пыльных ветвей абрикосов, серой листвы диких маслин. Туда же направляется и нарядная юная дама; ступает и держится, попросту сказать, грациозно. Она решается заговорить с нами:

— Простите, не эта ли дорога ведет на лиман?

— Надеемся... Мы сами туда путь держим.

Высокая брюнетка, а глаза синие. Пока идем, знакомимся:

— Володя Швейголец, выпускник школы.

— Дима Бобышев, студент Техноложки.

— Оля Заботкина, балерина.

Потрясающе! И все трое — из одного города. Да, она бывала на подобных курортах, но здесь впервые. Эти скучные пыльные места, эти грязи — обычный профессиональный удел для многих балерин. Она живет у курзала в доме отдыха. Да, я могу зайти навестить ее, но она пока не знает, когда... Она так часто бывает занята. Завтра к тому же — двухдневная экскурсия в Ялту.

Что это — вежливый отказ или робкая форма приглашения? Неземное создание исчезает в дощатой кабинке для процедур. Плоский лиман с застойной илистой водой не представляет никакого зрелища. Но еще несколько лет мне было интересно следить за ее ярковой, но, увы, кратковатой сценической и экранной карьерой.

А вот еще одно пляжное знакомство — солнечная девушка по имени, кажется, Света, из Москвы. Во всяком случае, по фамилии Савельева, это точно. Да, «Света Савельева» звучит так, что я сразу вспоминаю хрупкое изящество, которое мучило не только нас со Швейгольцем, но, кажется, и ее саму. «Не Саломея, нет, соломинка скорей» — подошло бы к ее облику в ту пору более всего, но этих стихов мы пока не знали. Легко и сухо пахло от ее волос, а чистота глаз менее всего казалась пустой. Возможно, взгляд ее наполнял удовольствие быть собой, скорее предчувствовать себя в восторженных аппетитах двух загорелых парней, но ответить им она была не готова. Швейк проводил ее с пляжа домой и на завтра был мрачней тучи: от ворот поворот. Попробовал я — с чуть большим успехом. Прощаясь, почувствовал и запомнил запах ее волос, вкус, лепет неясных обещаний, обменялся с ней адресами, помялся и забыл.

А через несколько лет от нее посыпались письма, как продолжение того прощального лепета, многостранично исписанные красными чернилами.

От красных букв пестрило в глазах, каждое слово кричало. Я был тогда в очередном личном кризисе, из глупой гордости разводясь с женой, наперекор своему (и ее) желанию. Московская корреспондентка настаивала на встрече.

Наконец приехала, остановясь в туристской гостинице. А мне ее некуда даже было пригласить. Посидели у нее. Тетка как тетка. Поплакала. Уехала.

Готовясь к отъезду из страны, я разбирал наслоившуюся корреспонденцию — что-то на выброс, что-то на хранение, а что-то и попытаться вывезти с собой. Вот пачка ее писем, надо бы их выбросить. Перед экзекуцией решил в них заглянуть, дать ей полпетать напоследок. Открываю одно письмо, другое, третье — и не верю глазам. Четвертое, пятое — все то же самое: бумага пуста, и ни человека, ни текста! Предваряя наваливающийся на меня мистический трепет, я успел ухватиться за объяснение: красные чернила непрочны.

Лето 1955 года склонялось к концу, и я не забыл об уговоре с Рейном навещать его в Мисхоре, где он должен был находиться в это время с матерью Мариной Александровной, преподававшей в Техноложке немецкий язык. Мисхор — это где-то за Ялтой, а в Ялту я уже ездил в прошлые крымские каникулы с Вадиком и его отцом. Вспоминалась долгая автобусная поездка, жара, Никитский ботанический сад, где мы с Вадимом, загоняя в пальцы колючки, пополняли тайком кактусовую коллекцию дяди Тима, помнился и экзотический ночлег в гостинице.

— Ничего, краденые цветы лучше растут, — говорил в наше утешение добродушный дипломат, укладываясь на бильярдном столе, который был предоставлен нам за неимением лучшего места.

В общем, поездка в Ялту представлялась мне сложной, а Швейгольц был очень не против составить мне компанию, и я опять взял его в попутчики.

В изнуренную жарой Ялту мы приехали к вечеру, дальше автобусов до утра не было. На роскошь бильярдного стола мы не рассчитывали. Решили идти ночью пешком. Когда вышли на Царскую тропу, с горы упала тьма, но над морем взошла полная луна, зачернила кипарисы, засеребрилась, зафосфоресцировала на воде, словно десяток Куинджи. На запах остывающего асфальта накачивали валы хвойных ароматов, запахи сухой глины, сладкие выдохи медуницы и ночных табаков.

Сипловато, но музыкально мой попутчик нарушил тишь, вполголоса запев романс «Выхожу один я на дорогу...». Положим, не «один», а вдвоем, и путь совсем не «кремнистый», но звезда все же заговорила со звездой, в небесах было и в самом деле «торжественно и чудно», и Лермонтов состоялся. Затем, к моему удивлению, Швейк сымитировал голосом сложнейший квартет Бетховена, расчлняя его на партии, а к концу пути перешел на «фортельянные» импровизации нашего изумительного джазового гения Цфасмана.

Мой приятель и спутник, одаренный не только музыкально, но, как утверждал он, и математически, все-таки кончил плохо: он стал убийцей. Да, убийцей, и об этом я расскажу позже.

Итак, мы еще затемно входили в Мисхор.

Женька-друг в одних трусах захопотал у калитки, не пуская нас, однако, внутрь.

— Понимаешь, если б ты был один, а то вы вдвоем...

В глубине постройки послышались властные модуляции женского голоса, возня, и через минуту Рейн вышел к нам с двумя одеялами. Утро мы встретили, лежа на земле в парке, головами прислонясь к валуну. Кверху по склону горы в кипарисах прятались дачи, прямо перед нами садовник поливал огромную клумбу с цветочными часами в середине, внизу блестело море с торчащими из воды скалами.

— А где же Мисхор?

— Вот это он и есть. Тут бывают многие знаменитости. На днях, например, был Козловский. Подплыл саженками вон к тому камню, взобрался на него и спел: «Плыви, мой челн, по воле волн».

— Саженки... При чем же здесь челн?

— Ну что ты хочешь от тенора!

— Кстати, о саженках... Вот этот молодой человек обучает меня американскому стилю плавания по методу Джонни Вейсмюллера...

За день мы прошли и проехали по основным красотам и сногшибательностям курортного Крыма: поднимались на Ласточкино Гнездо, откуда якобы прыгал в море Женькин геройский приятель Генка Штейнберг, постояли в Ливадии, словно цари, на мраморной галерее, прогулялись по запущенному парку, где наш путь пересек павлиний выводок, и заключили прогулку нестерпимым великолепием бухты и скал в Симеизе. Будущий убийца деликатно молчал, когда два поэта обсуждали свои литературные дела и планы, и оказался как нельзя кстати для фотографирования. Я привез с собой камеру и выстраивал сложные игровые композиции на скалах — например, «Дедал и Икар», а Швейгольцу оставалось только нажать на спуск. Я был готов взлететь, Рейн меня и благословлял, и предостерегал от падения.

Турнир поэтов

«Технически» Рейн был старше меня всего на три с половиной месяца, но его день рождения приходился на самый конец декабря предыдущего года, и это «старило» его на целый год — обстоятельство для юных компаний заметное.

Но не это было причиной того, что я, хотя и с оговорками, все же признавал его старшинство.

Сначала — оговорки: мы поступили в институт день в день, в одну и ту же группу, ходили на те же лекции, нервничали во время тех же экзаменов, знали не только слабинки один другого, но и неблагоприятности, и это — нормально, из этого складываются отношения однокашников.

Делала его старше какая-то изначальная не-наивность, какой-то скрываемый, пережитый ранее опыт унижения, стыда или страха, экзистенциальный, как говорили тогда, опыт, не только отделивший его от остальных, «неопытных», но и позволивший ему их использовать даже с некоторым игровым азартом. Это, впрочем, касалось дел околобытовых, и тут уж он не позволял себе пожертвовать ни единым пустяком — ни ради дружбы, ни ради хороших отношений, ни просто так, ради чужого удовольствия.

Зато он был самозабвенно предан поэзии, и не только своей, но и моей, Наймана, Заболоцкого, Смелякова, Гитовича, Сельвинского, Лапина и Хащревина, Артюра Рембо и Тихона Чурилина. И он знал много о нашем предмете, любил это демонстрировать, а мне только того и надо было: то, что он сообщал о поэзии, укладывалось в багаж на всю жизнь — факты, тексты, оценки, порой вместе со вздором и выдумками, которыми Рейн вдохновенно заполнял свои неизбежные зияния и лакуны.

А самое главное: к нашему знакомству он в основном уже сложился как поэт. В самиздатский сборник «Анилин», составленный им к концу нашего студенчества, он включил стихи 53-го года, и они звучали тогда убедительно и свежо. Убедительно и даже победительно звучит и выглядит вся эта книжица даже сейчас. Если ей искать генеалогию, то она — из высокопородных, вся в спектре «От романтиков до сюрреалистов» Бенедикта Лившица, плюс наши авангардисты-романтики 20-х годов. Но — ни одного «партийного» звука! Язык ее если не вспахан плугом, то весь перекопан штыковой лопатой — смыслы перевернуты:

У зеркал хорошая память,
там, за рутью — злоба и ко́рысть.

Патетический ужас губами
собирается в сыпкие горсти.
Вылом скул по гравюрам узкий,
киновари налет пожарный...

Казалось бы, что есть в мире беспамятней, чем зеркало? Но вдохновение перелопачивает очевидное и открывает подспудное: корысть (ударение ставится на колени перед рифмой), ужас и злоба делаются так же конкретны и материальны, как ртуть амальгамы. В книге множество грубо, смачно, кубистически раскрашенных метафор, — Рейн знает толк в новейшей живописи, и, как ни странно (в жизни ему медведь на ухо наступил), она джазово, свингово музыкальна. Она и патетична. Но дороже всего это:

Жизнь сквозь стих — светло и жестоко.

Это действительно бесценно: сказано так рано и подтверждено всей протяженностью возраста. «Поэзия и Правда» — так я назвал бы свою запоздалую рецензию.

Как раз когда писались эти стихи (и поэма «Лирическая вертикаль», и поэма «Рембо»), Рейн разузнал о готовящемся турнире поэтов в Политехническом институте. Он заторопил меня, и мы отнесли рукописи в отборочный комитет, который был представлен всего одним — и то хитроватым — лицом Евгения Лисовского. Кто он — поэт? Не слышал о таком... «Специалист по стихам»? Рейн и тут все уже знал:

— Он для присмотра. А настоящий отбор будет делать Глеб Семенов.

В институте ко мне подбежал встревоженный Найман.

— Ты знал об отборе и ничего мне не сказал! Как ты мог?!

— Прости, так уж вышло... Ты еще успеваешь. Вот адрес...

17 ноября (кажется, так!) 1955 года состоялся наш общий дебют. Актовый зал Политехника — огромный, не хуже чем в Техноложке, был весь заполнен. Еще бы: 38 участников — это уже какая ни есть толпа, и каждый приглашал еще кого-нибудь послушать, не считая просто публики, которой позарез нужны стихи и поэты!

На сцене сидели соведущие Глеб Семенов и Леонид Хаустов, председательствовал тот же Лисовский. Я узнал, что это не турнир, а Смотр студенческой поэзии Ленинграда, будет два отделения, а в перерыве, возможно, вывесят стенгазету, над которой уже идет работа, и если некоторые из участников смотра увидят в ней шарж на себя, пусть воспринимают это без обиды и с чувством юмора. По рядам будут пущены опросные листы. Список участников в порядке их выступления...

Мы с Рейном выступаем в первом отделении, Найман — во втором. Кроме них, я не знал никого. Но и меня никто не знал! И что же? За вычетом случайных лиц и с добавлением вошедших в круг чуть позже это были все те, кто стал в течение следующих десятилетий новым поколением поэтов. Связанные общим возрастом и делом, в остальном все разительно отличались внешностями, темами, манерами чтения и письма. Соперничество обостряло отличия, что же тогда говорить о чувстве защитной иронии? Оно эту остроту затачивало до бритвенного лезвия.

В первую очередь запомнились те, кто был на годик-другой постарше, опытной и выступал не впервые.

Вот Леонид Агеев, с косой русой прядью на тяжелом лбу. Шумно шмыгнул носом, и кто-то в зале даже слегка хохотнул, но он замодулировал голосом грубо-нежно о земляном, трудном и медленном, подводя слушателей к весоному и простому выводу крестьянской мудрости. Аплодисменты.

Владимир Британишский, с иконным лицом и в горняцкой тужурке с бляхами на плечах. Скрипуче, строго и бесстрашно отмерил порцию общественной честности. Рифмы — отточенные, аплодисменты ему — осторожные.

Кудлатый Глеб Горбовский смирившимся Кудеяром то бормотал, то выкрикивал в зал стихо-ключья горько-забавной беднячко-пропойной действительности. Бурные, долго не смолкающие...

Молодец, Глеб! И молодец Глеб Семенов, давший всему этому разнообразию зазвучать. Вот он глядит чуть ли не влюбленно на Агеева, на равных и с уважением на Британишского, с чуть отстраненным довольством на Горбовского, как на хорошо выполненное изделие, но это еще далеко не вся его «продукция». Геологи и геологини шли заметно в ногу, командным шагом: Гладкая, Городницкий, Кумпан, Кутырев, Тарутин.

После деревенских и демократических серьезных белобрысы Олег Тарутин позабавил всех полуклапунком своих настояще-студенческих виршей — зачеты, влюбленности, юмор. Аплодисменты!

Странно, что филологи-универсанты представлены так слабо: какой-то самоуверенный Горшков, канувший потом в никуда, какой-то лихорадочный Сорокин, читавший надтреснуто «Отрывки из ненаписанной поэмы». Оказалось впоследствии, что и в самом деле он ее не писал. Плагиат! Эх, нет здесь Миши Красильникова...

Но вот выступает Рейн: «Рабочий дождь в понедельник!» Акустика в зале плохая, дикция у автора тоже известно какая. Кричит, бушует:

Он бил цветы в яичных кадках,
он фортки взламывал, ревя...

Кажется, это он о самом себе, а не о дожде. Да так ведь и есть: поэт — только о себе... Но — для кого? —

...для железа и бетона
заброшенных в восторге рук.

В зале — нет, не восторг, и руки не особенно плещут. Скорей пробегает обмен удивлений: кто-то не принял, кто-то не понял. А в общем — недоумевая, но заметили!

Александр Кушнер, как объявлено, — будущий педагог. Голос высокий, рост низкий. Волосы темно и густо курчавятся вверх, и сам он, привстав на цыпочки, тянется кверху за голосом:

Поэтов любимы путями
сживали с недоброй земли,
за то, что с земными властями
ужиться они не могли.

Зал замер: вот оно! Встают из праха горестные тени Мандельштама и Павла Васильева, еще неисчислимо многих, замученных этой бесчеловечной властью... Нет, стихи, оказывается, не о Мандельштаме, а о Лермонтове, и власть, стало быть, не эта, советская, а та, царская, которую критиковать и можно, и похвально.

Но либеральное впечатление все-таки остается. Умен, и горя от этого ума ему не будет. Аплодисменты.

Но это — уже второе отделение, а я выступал в первом. «Дмитрий Бобышев, будущий технолог», — объявляет Лисовский. «Ну при чем тут технолог? — думаю я раздраженно. — Что я — курсовую работу сдаю?»

Я читаю белые стихи из двух частей, на городскую и деревенскую тему, соединенных рифмованной вставкой. Называется не очень хорошо: «Рождение песни», но так надо, потому что вставка и есть песня, а город и природа — это два начала, необходимые для ее рождения. Что-то вроде мужского и женского, если хотите, только не так буквально. Город описывается возбужденно-эйфорически, природа — горестно и элегически. Пока читаю, мельком вижу улыбку Глеба Семенова: мол, материал-то есть, но — сырой... Слушают хорошо, отдельные образы нравятся даже больше, чем целое.

Аплодисменты. Перерыв. Расспросы, приветствия, комплименты, укоры. Младший Штейнберг (который Шурка и учится в Политехнике) показывает мне

опросные листы, собранные у публики. Вот, оказывается, кто я: «убогий декадент», «интересный поэт», «футурист» и даже «певец космоса».

А на стенах фойе, соответственно, развешивается стенная газета (когда успели?): громадные шаржи, да еще и с эпиграммами. Кто это? Черная бровь, крупный глаз, нос. И подпись:

Рейн читал, забыв про негу,
хоть звучал немного в нос.
Он талантлив, как телега,
а работал, как насос.

А это — неужели я? Знаю, что выгляжу моложе возраста, но изобразили меня совсем уж младенцем. А строчки — строчки вроде мои:

Троллейбусы, как стадо мастодонтов,
идущее к Неве на водопой...

Мол, смешно и так, не надо и пародировать... Тут же дошел и положительный смысл этих насмешек: мы отмечены, ведь шаржей было намного меньше, чем участников.

«Будущий технолог» Найман выступил после перерыва, и не очень удачно: он взял для чтения что-то совсем новое, сбился в самом начале, остальное скомкал.

Внимание зала переключилось на литературный роман, разворачивающийся прямо на сцене. Крупная решительная девица, по имени Людмила Агрэ, поэтесса из Лесотехнической академии, выпалила в зал нечто совершенно сапфическое:

Хочется взять пальцами за подбородок,
заглянуть в опечаленные глаза,
такие пронзительно черные,
погладить волосы, как крыло вороново,
и, близко-близко наклонившись, сказать:
«Мальчик, не будем спорить с природой,
это не под силу ни тебе, ни мне...»

Зал ахнул от такой смелости. Побежали шепотки, говорки в ладошку, которые усилились, когда был объявлен Марк Вайнштейн, тоже из Лесотехнической... Вышел миниатюрный юноша, хорошенький, как на поздравительной открытке. «Это он, это он», — прошелестело по залу. Глаза его блестели, щеки ярко горели, волосы были черные-черные, как вороново крыло, голос едва слышен, а в стихах — ни слова о любви, но зато — о природе.

Я ехал домой в 32-м трамвае, со мной заговаривали какие-то девушки, спрашивали, кого им надо читать, но сознание было переполнено впечатлениями вечера, и в основном я осваивал факт состоявшегося события, перейденного рубежа и той жизненной дали, которая, как мне чудилось, открывалась за ним. И, в самом деле, начиналась новая эпоха, ставшая известной под названием Оттепели. Так назывался роман Эренбурга, в то время обсуждаемый, но которого я, впрочем, так и не прочитал. Для нас она началась не с доклада Хрущёва на XX съезде их партии, а вот с этого вечера и закончилась не падением партийного властелина, а значительно раньше, когда он танками подавил студенческое восстание в Будапеште. То есть продлилась эта либеральная эпоха всего один год.

1956 год

Перемены чувствовались и внутри, и снаружи. Мои неясные экстазы и предрекания необычного поприща получили, наконец, первое подтверждение.

Давящая твердь властей отошла на шаг, жизнь сама собой заводилась на огороженных прежде территориях, появились и выходцы из-за колючей проволоки, из мерзлой тундры партийно-советских, чекистски-кагебешных, называе-

мых сталинскими, лагерей. Выходцы были битые, ученые этим битьем и вели себя крайне осторожно. Действовали они келейно, бумажно отвоевывая себе реабилитацию, комнату в коммуналке и пенсию либо тихую, не ответственную должность. Литераторы — в литературе: Сергей Тхоржевский стал собирать какой-то молодежный альманах, куда я в очередной раз не попал, Сергей Спасский стал одним из редакторов в «Совписе» (о книге нечего и думать), а Зелика Штейнмана приставили смотреть за молодежью в литобъединении «Промки», куда мне было самое место захаживать.

Стихи высказывали из-под пера, удивляя меня яркой забавностью своего появления. В городе помимо литературных кружков, куда я уже мог себя считать вхожим, оказались и симпатичные компании литераторов нашего возраста, да и мы трое сами образовывали такую компанию. Завязывались знакомства.

Вот появился ироничный атлет Илья Авербах — медик, театрал, пишет стихи. Привел Додика Шраера, тоже медика, тоже стихотворца, как бы повторяющего в разбавленном виде черты старшего друга.

Сергей Вольф читал свою джазовую сказку «Колыбельная Птичьего острова», заворожил всех свинговым ритмом фраз.

Вот позвонил Марк Вайнштейн, и мы с ним бродили, читая стихи и пересекая тропы моей первой прогулки с Найманом. Тихий голос Вайнштейна произносил тихо написанные строки и строфы, которые мне казались, увы, вялыми и описательными. Ну и что? А кому-то другому они понравились даже очень. Вот он снова звонит о встрече, предлагая сообщить нечто необыкновенное.

— Ну так скажите!

— Это — не по телефону...

С некоторым недоверием иду. И у него, оказывается, действительно сенсация — письмо от Пастернака! Как же получилось, что мастер и полубог ему пишет? Давно ли они знакомы?

— Да совсем незнакомы! Но лето я проводил под Москвой, где подружился с его сыном и попросил об услуге: взять стихи и в добрую минуту показать их отцу. И вот только теперь, в декабре, эта минута нашлась.

— Потрясающе... А почерк-то, почерк!

Почерк торопливый, романтический: перекладины букв летят, отставая от мчащегося мысле-чувства. Читаю. Письмо большое. Тон доверительный, но и вызывающий, словно писалось оно не в добрую минуту, а скорее в задорную, и суть его вот в чем. К своим стихам Вайнштейн приложил записку с просьбой оценить его шансы на поступление в Литинститут, и Пастернак комплиментарно отговаривал его от этого шага. Compliments были нешуточные, подпись под ними стояла подлинная, так что по идее само это письмо могло бы стать рекомендацией не то что в Литинститут имени Горького, а прямо на Парнас к богам и музам. Но Пастернак именно не рекомендовал ему этого, а споря неожиданно с фразой Маяковского о поэтах хороших и разных, высказывался против массового производства поэтов. Он обосновывал это тем, что все множество стихотворцев занимается заведомо ложным делом, наподобие средневековых алхимиков, в то время как нужно-то нечто противоположное, подлинное и настоящее. Какую именно «химию» он считал этим истинным делом, он не пояснял, но самого себя со всеми ранними книгами относил к такой «алхимии», от которой теперь с горечью отрекался.

И комплиментарная часть письма, и критическая вызывали свои недоумения, казались неразрешимыми. Какое-то звено контакта с гением отсутствовало, за его мыслью трудно было следовать. Письмо рождало догадки, его с пожиманием плеч обсуждали по компаниям, Рейн, например, все объяснял эксцентричностью мастера, но кого-то оно заставило и задуматься, в особенности когда только что возникший самиздат поместил эти идеи в контекст со

«Стихами из романа», а позднее и с самим «Доктором Живаго». Стало по крайней мере ясней, что Пастернак противопоставлял произвол художественного творчества целенаправленности творчества религиозного. Но тогда мы до этих идей еще не созрели.

Между тем наступил 1956 год. Василию Константиновичу по старой памяти доставили из подсобного хозяйства его бывшего завода пахучую пушистую ель, все семейство село за овальный стол. Наступил момент, которого все ждали: Федосья принесла на стол, и без того уставленный яствами и разносолами, горячий пирог с рисом и фаршем. В нем запечен гривенник. Кому он достанется в этом году? Мать режет пирог на куски по числу сидящих за столом.

— Выбирайте себе по одному, берите на счастье!

Откусывая с осторожностью, все сосредоточенно едят. Как-то мать умеет повернуть поднос, что удача попеременно достается детям. А мне она так нужна! О! Я чуть не сломал себе зуб... Разворачиваю вощаную бумажку, гривенник в этом году — мой!

Год и в самом деле выдался поначалу удачным.

Все чаще после (или даже вместо) лекций мы с Рейном отправляемся на какие-либо литературные затеи, которых в городе происходит все больше: выступления в Доме писателя в Шереметевском особняке на улице Войнова, обсуждения в ЛИТО, чтения стихов на дому... Или — просмотр заграничного фильма, какой-нибудь «Пепел и алмаз» со Збигневом Цибульским... Или — чей-нибудь день рождения — неважно, если не знаешь виновницу торжества, важно, что можно хорошо угоститься!

Вот мы всей компанией на новогоднем вечере в Академии художеств. Мы даже в расширенном составе — нас уверенно привел туда Сережа Вольф. Он длинный, пластичный, весело-циничный, с глазами, как у Джеймса Бонда, голова при этом трясется, как у старца, о зубах лучше не вспоминать, но девушки от него мрут. Он проводит нас помародерствовать в зал, где только что закончился банкет. Картина не для слабонервных. Но кого-то привлекают недопитые бутылки портвейна, кого-то — остатки торта в картонной коробке. Варварски, из горла, руками...

А теперь — танцы! Буги-вуги! Рок-н-ролл! Элвис Пресли! Ловкий Найман подхватывает одну из натурщиц.

One o'clock, two o'clock,
three o'clock rock!..

Он ее откидывает, швыряет, крутит, ловит. Шоколадные пятерни остаются на белом платье девушки.

Вот по Невскому, минуя дворец Энгельгардта, заплетающейся походкой идет немолодой человек с портфелем, явно «на автопилоте». И даже слегка попкуивает. Рейн, указывая на него, читает мне вслух:

Видели Саянова,
трезвого, не пьяного?
Трезвого, не пьяного?
Значит, не Саянова.

Я хохочу. Раззадоренный Рейн подходит к сановному пьянчуге.

— Виссарион Михайлович! Мы, молодые поэты, ценим ваши ранние книги: «Фартовые годы», «Олёмка»... Как вы писали! А теперь что?!

Саянов с любопытством косится на нас, но, следуя «автопилоту», сворачивает на канал Грибоедова по направлению к писательскому дому. Сталинский лауреат, член правления...

— Дайте пять рублей! — неожиданно требует Рейн.

— Ребята, да я не при деньгах. Вот, возьмите папирос сколько хотите...

Вообще-то я курю сигареты, но, раз предлагают, беру одну «казбечину». Рейн — целую горсть, хоть и не курит. Сует мне в карман, когда Саянов удаляется.

— Кури, куряка!

А это — в кружке Глеба Семенова: выступает Сергей Спасский. Поэт, сейчас редактор. Сидел, реабилитирован. Худое лицо, сложение — хрупкое. Седая челка под Пастернака. Он с ним и дружил, но воспоминания читает о Маяковском и Есенине почти по тексту книги, которую я одолжил по такому поводу у Казанджи. Но книга интересней его выступления, сухого и осторожного. Мы с Рейном похищаем Спасского у горняков, идем его провожать вдоль Невы, через мост лейтенанта Шмидта, расспрашиваем больше о Пастернаке, но и о Хлебникове, читаем свои стихи. Под звон трамваев, сворачивающих с площади Труда на бульвар, Рейн кричит в его ухо только что написанную поэму «Рембо»:

Программа девственниц с клеймом на ягодице —
«А. Р.» — такое же, как под столбцами рифм...

Какой-то толстячок-провинциал в бурках и при портфеле наткнулся на нас, опешил: «Виноват!» Скрылся.

Есть медь и олово — из них получают бронзу.
Есть время и стихи — они не предадут.

Я читаю «Рождение песни», потом что-то новое. Спасский растроган. Мы напомнили ему молодость. Мы напомнили ему, что есть настоящая поэзия. Он приглашает нас к себе в «Совпис», а там посмотрим... Он надписывает мне книгу (не мне принадлежащую): «Евгению Рейну, в память о разговорах на необязательные темы. С. Спасский». Все перепутал! Как я отдам ее теперь владельцу?

Нет, это я шаржирую. Конечно, Спасский вписал «и Дмитрию Бобышеву», и я долго держал у себя эту небольшую книжицу, но, когда уезжал, пришлось ее вернуть. Я скучал без нее — там много живых эпизодов, подлинных реплик, верных описаний, ее хотелось перечитывать. И вот именно сейчас, когда я это пишу, она случайно бросилась мне в глаза на полке в здешней библиотеке. Разумеется, другой экземпляр, но тоже знаменательный: вместо автографа — штампы. Заприходована Всесоюзной библиотекой имени В. И. Ленина в 1940 году, в год ее выхода. Прошла проверку военной цензуры 1944 года, новую идеологическую инвентаризацию в 47-м году, а сколько книг тогда было казнено! Проштемпелевана в 50-м году, когда автор ее сидел в местах отдаленных, и в 56-м, когда состоялась наша встреча, и в 70-м, когда автора уже не было в живых, и в 78-м, за год до моего отъезда в Америку. И вот — я держу эту книгу в 2000 году в Иллинойском университете. Как ты здесь оказалась, долгожительница? И — как я?

А тогда, возвращаясь в 56-й год, мы с Рейном ликовали, мы ждали, мы были у Спасского в кабинете над «Домом книги». Надо ли добавлять, что дело кончилось ничем?

Вот — Глеб Семенов, который, конечно, Сергеевич, но мы зовем его за глаза по имени. Мы забрели на полуноваторскую, полународную выставку мексиканской графики в Доме писателя, и он — там. Нас интересует новаторство, его — народность. Вышли вместе на улицу проводить его к остановке. Он все же авторитет, разбирается в деле и к тому же старается как-то помочь тем, кого считает питомцами. Нас он явно выделил после того вечера в Политехнике, меня — даже определенной, чем более яркого Рейна. Называет футуристом, похваливает язык. Пока разговариваем, пропустили с десятков автобусов. Наконец Глеб предлагает, даже назначает мне выступление-обсуждение в Горном институте и уезжает.

И я читаю в Горном:

Раз навсегда плюнувши...

Геологи, «гвардейцы Глеб-Семеновского полка», как они себя называют, недоверчиво слушают:

Шатались мы, мудрые юноши...
...проклятое статус-кво.

Выступает Британишский, мой назначенный оппонент: «Протест Дмитрия Бобышева, несомненно, имеет социальное основание. Действительно, общественность разделилась у нас на тупую силу тех, кто желает удержать статус-кво, и “мудрых юношей”, с этим статусом несогласных». Он проводит литературные параллели, называет имена, но его обрывают: здесь заведено правило (видимо, против говорунов и эрудитов) не ссылаться на мнения других, пусть даже великих, а говорить свое.

Выступает Рейн с апологией не общественности, но эстетства: «Я никогда не слышал голоса такой поэтической силы и свежести, как у Бобышева». Спасибо, Женя,— вернувшись домой, я запишу твои слова и запомню их на всю жизнь. Помни и ты их.

Корифеи смущены и хотели бы покритиковать, да что мелочиться, если уж крупные категории заворочались: этика, эстетика, общественность.

Выступает сам Глеб, он от запрета на имена освобожден. Человечность нужна, человечность, и не как чувствую «я», а как чувствует «другой», вот чего всем нам не хватает. Некрасов это умел, Анненский это знал, и наш Агеев умеет и знает. Будет это в стихах — будет и в обществе.

Так он верил.

В обществе между тем происходила тихая революция. «Секретный» доклад Хрущева прорабатывался повсюду на закрытых собраниях: вход по партийному или комсомольскому билету, но только ленивый или не в меру осторожный на такое собрание мог не попасть. Содержание доклада слишком хорошо известно, чтобы его излагать, стоит лишь сказать о его сути, как она воспринималась тогда. Многими — как колоссальная провокация, и их заботой стало «не засветиться». Будущее показало, что они-то и были правы. Но для нас это звучало как косвенный (поскольку партийный), но все же призыв к жизни. Нам по двадцать лет или около того, и мы набиты будущим, оно распирает нас. Дайте нам превратить его в настоящее, не мешайте нам, это ведь — наши жизни!

Исчезли усаые портреты вождя. Но остались и даже размножились изображения основателя. Округлости черепа делали его еще более монументальным — мол, на века! Но, как жучки-древоточцы, изгрызали его монументальность непочтительные анекдотики, хиханьки, хаханьки исподтишка. Лозунг призывал вернуться к «ленинским нормам социалистической морали», а анекдотец ехидно цитировал: «Феликс Эдмундович, гасстгеляйте товагища!» Партийно-чеккистский барбос ворочал на все это глазами, большими, как тарелки, даже как тарелки, поводил волосатым ухом, но пасть пока не раскрывал.

В наших глазах это была уже не оттепель, а весна, и мы ей простуженно радовались. Двадцатилетние гении высказывали повсюду, как из-под земли. 15 марта в университетском кружке обсуждался Владимир Уфлянд, гриппозный и забавный. Каламбурные рифмы расцветивали его карнавальную маску советского колобка, из-под которой лукавилась круглой выпечки ироническая улыбка.

Я вылеплен не из такого теста,
чтоб понимать мелодию без текста.

Комсомольские лидеры просто набросились на него: «В поэзии должна быть партийность, идейность, народность...» «И еще — классовость»,— подсказал Илья Фояков. Интеллектуалы Лившиц, Виноградов, Герасимов полезли в бутылку: «Есть у него и партийность, и идейность! Есть и классовость, и народность!» Изумление вызывала такая форма дискуссии. Кавычками ко всем этим понятиям торчали рыжеватые лохмы поэта.

Молодежных гениев появилось так много, что писательское начальство

вынуждено было, хотя бы для учета, если не для эшелонирования, объявить Конференцию молодых литераторов Ленинграда и области. Открытие назначено на 14 апреля. Трехдневные заседания в Шереметевском доме на Войнова официально освобождали от работы или занятий. Авторы были распределены по семинарам к «мастерам» Н. Брауну, Н. Грудининой — в Белую гостиную, в Красную гостиную, в библиотеку. Я попал в семинар к А. Гитовичу и В. Шефнеру за компанию с университетскими взаимными антиподами — Лившицем и Фоянковым. Леша Лившиц тоже, оказывается, пишет... Интересно, как же? Да так же, как я когда-то, и тоже про комсомольскую поездку всем факультетом:

А на пятую ночь, на пятую,
вопреки паровозной возне,
поезд въехал в Ясиноватую
и задумал остаться в ней.

Мастера начали анализировать, обсуждать. «Вопреки паровозной возне» звучит очень уж по-пастернаковски, зато остальное — как у Дмитрия Кедрина. «Дмитрий Кедрин, Дмитрий Кедрин», — заговорили участники семинара. Зашедший поддержать своего протеже Миха Красильников заметил распевно:

— Кедрин — поэт ма-а-ленький, как мошонка у мышонка.
И вышел из Белой гостиной, спускаясь в буфет.

Карпаты

Гуцульский поселок Ясиня. Бурлящая Тиса, стремящаяся как можно скорее впасть в Дунай. Красно-бревенчатые терема турбазы, окруженные голубоватыми пихтами, травянистые склоны гор с хвойной полосой сверху. Выше — опять трава: полонины. Туда мы и намечаем свой путь назавтра.

Мы — это два ленинградских поэта, Евгений Рейн и я, приехавшие сюда по путевке, чтобы отправиться в поход по этой дикой части Европы, а с нами еще около дюжины разношерстной молодежи, наших попутчиков. Да кудреватый самоуверенный парень из Львовского педучилища. Спортивный разряд по туризму. Подрабатывает проводником.

Сегодня — день Ивана Купалы, гуцулы спускаются с полонин, собираются выше поселка у костров. Белые рубашки и блузки, темные свитки-безрукавки на мужчинах, узорные передники на женщинах. И это не смотр самодеятельности — так они нарядились для себя.

В это время на турбазе происходят возня и ажиотаж: проводник распределяет рюкзаки, палатки и одеяла. Пока я глазел на гуцулов, мое одеяло куда-то делось. Где мое одеяло?

— Ничего не знаю. Я его выдал под вашу ответственность. Придется вам заплатить двадцать рублей.

— Как же так? У меня украли, и я еще должен платить! Куда ж оно могло деться?

— Почем я знаю? Может, вы его успели продать...

— Ах, так? Где директор турбазы?

— Сегодня суббота, директора нет.

— Женья! — Я гляжу на моего громогласного друга в надежде на его могучую поддержку, но он, как-то линия на глазах, помалкивает, скромничает, сникает. Да-а... Отказаться от похода? Остаться до понедельника, чтобы разобраться с начальством? Жулик-проводник все равно уйдет с группой. Боюсь, что и мой друг — с ними. К тому же наши вещи и паспорта уже отправлены грузовиком в Мукачево, конечный пункт. Значит, надо идти.

И вот мы карабкаемся по каменистому ложу ручья, таща на себе поклажу, перешагиваем через поваленные стволы деревьев, ступаем по валунам, забира-

ясь все выше и выше в горы. Скальными кручами вдали завиднелась Говерла. Но она — для альпинистов. Мы же, туристы, идем на отлогие полонины.

Вот мы их и достигли. По существу это плавные травянистые холмы, только на большой высоте, о которой дают знать виды и дали, виды и дали, а также головокружительные каменные обрывы, у одного из которых мы устроили привал. Рейн сбросил рюкзак, остановился, не на шутку задыхаясь.

— Что с тобой?

— Астма...

— Надо же, как у Багрицкого! — восхитился я.

Проводник тем временем рассказывал об альпийских лугах, о горной растительности:

— Здесь растут эдельвейсы. По гуцульской легенде, если подаришь этот цветок девушке, она никогда тебя не разлюбит.

Но эдельвейсы растут на кручах. В поисках популярности проводник наш лезет туда и вскоре дарит нашим девушкам по цветку. Ни одна не отказывается. Вид у многозначительного цветка не очень казистый: серо-серебристые толстые лепестки с ворсом. Теперь я знаю, как он выглядит!

— Нельзя туда! Непрофессионалам запрещено! — кричит на меня проводник, но уже поздно.

Я карабкаюсь по каменистым уступам. А вот и эдельвейс! И еще один, и еще. Чуть дальше я вижу целый пучок серебристых звездочек. Можно дотянуться, но надо соблюдать правило альпинистов и всегда опираться на три точки. Я его нарушаю, и сразу же следует наказание: камень вываливается из-под опорной ноги. Я повисаю, руками схватившись за дернистый выступ. Но дерн этот ползет! Две секунды жизни остаются мне для решения. Ногой я дотягиваюсь до какой-то ступени и отталкиваюсь руками от выступа, на секунду положившись лишь на одну-единственную опору — ступень. Она выдерживает, и я спасен. С эдельвейсами, торчащими из кармана штормовки, я выбираюсь на безопасное место. Теперь мы с Рейном всматриваемся в глубину кручи, из которой я вылез.

— Да, это была бы амба! — заключаем мы оба.

Весь день я находился в эйфории. Спускаясь и поднимаясь, мы шли по плавному травянистому хребту. Облака переваливались через него, то погружая нас в мокрую непроницаемую взвесь, то вдруг обнаруживая пронзительную бесконечность горизонта, светлую зелень полонин с белыми россыпями овечьих стад, темную зелень лесов и голубизну дальних гор. На подъемах я шел, подпрыгивая, впереди проводника, на спусках сбрасывал поклажу и, подпихивая надоевшую тяжесть ногами, катил ее вниз. Проводник не делал мне замечаний, но, когда другие стали следовать дурному примеру, отчитал их за порчу казенных рюкзаков.

Рейн в это время то задышался, то бормотал что-то в прострации, а у костра на ночлеге вдруг прочитал мне следующее:

Укрываясь брезентовой полостью,
эдельвейс видел весь я, полностью.

Не мощами в ужасных гербариях —
размещаясь и вой перебарывая...

Вылез Бобышев, напугав.

Тихий, сам живой.

А в руках — табунок
замшевый.

Говорили, горло мамой прополаскивая:

— Ну там, что там, ничего там,
будь поласковее.

И пошли. Положи
стадо эдельвейсово.

Горы, травы. Сны большие.

Дальше — весело.

Нигде позже он не публиковал этих стихов, и я их цитирую так, как запомнил. Только пропустил самое главное: описание кручи и строение цветка. А дальше действительно было весело: с полонин мы стали спускаться на уровень лесов и наконец вышли к очаровательному озеру Синевир, где был объявлен не только ночлег, но и днёвка. Весь следующий день мы купались до одури; к нам прибились в компанию две простушки-москвички и бакинский житель Гуревич, намекавший со сложным акцентом, что и он не чужд литературе.

— Что там в столицах делается? — допытывался он.

Что делается? Новые имена появляются. Леонид Мартынов, например. Явный хлебниковец. «Вода благоволила литься» — разве вода эта не из Велимирова колодца? Ну, положим, Мартынов — это не совсем новое имя: надо знать «Лукоморье», вышедшее еще до его посадки. А вот Борис Слуцкий — кто о нем раньше слышал? Хотя и не молод: фронтовик. Совсем недавно (неужели вы не читали?) Илья Эренбург написал о нем в «Литературке» хвалебную статью, представил его читателям, там же была помещена подборка. И, что самое удивительное, — стихи его действительно сильные!

— Политрук и есть политрук, — вдруг возразил Рейн. — Давайте-ка лучше сами письмо Эренбургу напишем.

«Синевирцы» стали сочинять послание (в стихах) московскому султану. Я начал подбрасывать рифмы: «Синевир — усынови», «лязгая — дрязгами»...

— Не по делу, — отклонил их Рейн.

— «Лузгая — Слуцкого».

— Это годится.

Гуревич следил с открытым ртом за рождением шедевра.

...И мы просим Илью Григорьевича
написать про них и про Гуревича.
Лучше случка с овечьим пузиком,
чем соития тусклого Слуцкого,
перепуганного
эренбурканьем.

Гуревич тихо лопнул и с тех пор в жизни не попадался.

Поход закончился в Мукачеве, где при этом всплыло паршивое «одеяльное дело».

— С вас причитается еще двадцать рублей за пропажу одеяла.

— Да я... Да вы знаете... Это ж абсурд!

— Платите, иначе паспорт не получите.

Денег катастрофически не было. Занять у Рейна? А вы ноктюрн сыграть смогли бы на флейте водосточных труб? Оставались Бобышевы, которые в то лето все отправились на родину Василия Константиновича в город Дмитриев Курской области. На последние копейки послал телеграмму: «ПРОПАЛО ОДЕЯЛО ТЕЛЕГРАФЬТЕ ТРИДЦАТЬ». Потом меня мать корила за слово «телеграфьте» — разве так пишут? Да, именно так требует этот изысканный жанр! В ожидании перевода мы по корешкам путевок ночевали на турбазе. Съездили на экскурсию в Ужгород, побывали в крепости и в музее, где Рейн сфотографировал меня в доспехах. Целыми днями шлялись по городку, от которого в памяти остались лишь вывески: «Перукарня», «Идальня», «Взуття», словно все жители только и делали, что брились, ели и обувались. Впрочем, «идальни» оказались дешевыми и вкусными: можно было заказать суп и умять с ним буханку свежего хлеба. А потом — пойти бродить с раскрытыми ножами по базару и «пробовать» у торговков, отрезая у одной полгруши, у другой — кус арбуза...

Получив перевод, я выкупил паспорт, и мы решили съездить автобусом до Львова с остановками, где заблагорассудится, а оттуда поездом — домой через Москву. На прощанье с уже надоевшим Мукачевым Рейн учудил, рисуясь передо мной, выходку: украл две свечи под носом у продавца в москательной лавке,

символически «отплатив» этой местности за мое одеяло. Я был в восхищении и ужасе от его дерзости. Но, может быть, мне не примстились однажды выдохнутые им три слова: «Я был вор»? Чтобы не отставать от приятеля, и я схватил с прилавка две стеариновых свечи.

Через час автобус нас уносил, петляя, от скальных россыпей к долинным дубравам, и, увидев несколько изб между отягощенных плодами деревьев, зеленоструйный поток и дорожную стрелку «Свалява 8 км», мы попросили нас высадить.

Дружелюбный и гостеприимный Венц Которба принял нас в первой же избе, отведя для гостей горницу с двумя перинными кроватями по углам. Между ними стоял длинный дощатый стол для трапезы и письма. Пахло сухим деревом и яблоками. Венс, чешский парень, рассказал свою историю: он влюбился в мадьярскую девчонку, живущую здесь, и из своей деревни, пересекая не одну границу, ходил к ней на свиданки, да еще во время войны. Чего только не было! Осели все-таки здесь. Настрогали детишек, которые в это время ползали по двору кверху грязными попами. В общем, живите, гости дорогие, с дороги угостим вас кукурузой, а дальше что Бог вам пошлет!

Питаясь ежевикой и сливами, мы прожили там дней пять: бродили, дивясь, по буковым гладкоствольным рощам, спускались к ручью и отмякали от горных напрягов и восхождений. Вечером зажигали ворованные свечи, и каждый что-то писал. Рейн — о тумане, который по сути был облаком, а я — о буках, помня дедово уважение к их древесине. Наконец сорвались в путь дальше. Миляга Венц не взял с гостей ничего, и мы вышли ждать попутку у того же дорожного знака. Позднее у меня сложилось об этом:

Камнем по камню

Около укатанного шоссе
двигались медлительные часы.
Мы медленно сидели в ожидании попутных машин.
Помнили твердо правило:
«Встань у дороги и рукою маши».
Мой однокашник Рейн Женья
ворочался на груди камней,
наблюдая за редким на дороге движением.
Камни скатывались ко мне.
Мы ели мало и мучались голодом.
Я думал об этом и двигал ногами.
Куски песчаника были очень ровно колоты,
плоские, гладкие. Замечательные камни.
Я схватил слегка шероховатую плоскость
(тут же валялись куски кирпича и известки),
и сразу сделал просто и броско
на сером камне — красным и белым — рисунок.
Он назывался «Двое в буковой роще».
И темы пошли на меня, громоздясь и наваливаясь,
сами материалы (кирпич, известка, песчаник)
направляли мой росчерк.
Рейн, быстро посмотрев, признал мою гениальность.
Я, оживившись, изобразил себя и его
и пошел выражать все понятия, явления, звуки, мотивы.
Меня закружило пещерное божество.
Мои великолепные примитивы,
расставленные так хорошо вдоль межи, уже не
камни, а суть вещества. Я вибрировал. Я вращался.
Но Рейн потащил к поджидавшей
остановленной им машине.
И я попрощался с ними. Я попрощался!

Московские знаменитости

Машина, остановленная Рейном, оказалась грузовиком-лесовозом, и водитель, у которого уже кто-то сидел в кабине, любезно предложил нам ехать на бревнах, правда, за бесплатно. Несколько часов мы то ползли в гору, то летели под уклон безостановочно, трясаясь на каких-то смолистых комлях, за нуждой отползая к гибким (и гибельно виляющим) вершинным спилам, пока, наконец, не въехали во Львов.

Прелестный город, старомодно элегантный, составлял контраст мятой пропыленности наших одежд. Но и в провинциальном виде и статусе он сохранял столичное достоинство — это было нам, питерцам, по душе. Памятник Мицкевичу — поэту, а не какому-нибудь генерал-губернатору! Стрыйский парк! Но пора на вокзал.

В Москве жили все литературные знаменитости — и официальные, и те, что «по гамбургскому счету», последние нас и интересовали. Рейн поселился у своих родичей, я — у своих, но не у Ивановых на Кутузовском, а у Зубковских на «Соколе» в «генеральском» доме, — братец Сергей недавно женился и съехал оттуда; мне освободилась его кушетка. Я ночевал либо там, либо в Баковке, где семейства обеих сестер — Лиды и Тали — снимали дачу.

В один теплый дождливый день я, накинув полковничью плащ-палатку дяди Лени прямо на футболку и трусы, отправился разведать дорогу в Переделкино и пошел себе мимо баковских дач, полем и сквозь лесок, по мосткам через какую-то запруженную заводь, опять мимо уже переделкинских дач, и вдруг оказался у ворот к Дому творчества.

Я пожалел, что оделся так по-простому, по-дачно-спортивному, но решил узнать, там ли Владимир Луговской, к которому мы с Рейном планировали на днях съездить. Подойдя к дверям, я как раз и столкнулся с ним. Он возвращался с высокой дамой, обликом напоминавшей красавицу, когда-то позировавших Дейнеке и Самохвалову.

Пришлось представиться как есть. Дама нас оставила вдвоем, и мастер, которым я так восхищался, разглядывал меня с недоумением. Объясняя свой, конечно же, неприличный для визита вид, я сам разглядывал прославленного поэта: высокий рост, тот же узнаваемый из тысяч мужественно-исступленный профиль, черные густые брови, волосы, теперь уже совсем седые, откиннутые назад, — знакомый по портретам облик. Но и какая-то едва уловимая дряблая дряхлость проглядывала в подбородке, в безволосой лодыжке ноги... А голос — роскошный, даже несколько показной.

Я рассказал ему, как до морозных мурашек по коже любил его поэзию — не только знаменитую «Балладу о ветре» или «Мужество и нетерпенье вечно мучили меня» — образы, кстати, объяснившие мне собственные отношения с подругами, но и любовные, нежные и даже трогательные стихи...

— Какие же именно?

— Ну, например: «Стоит голубая погода, такая погода стоит, что хочется плакать об августе и слышать шаги твои...» Или: «Девочке медведя подарили...»

— А-а...

— И все-таки наиболее сильными мне кажутся поэмы из сборника «Жизнь», образующие новую линию. Так сказать, линию «Жизни»...

Мастер был этим замечанием очень доволен и сказал, что он как раз заканчивает книгу новых поэм, продолжающих эту «линию жизни», если хотите. Название сборника, впрочем, — «Середина века». А сейчас он просит меня прочитать что-нибудь свое. И я стал читать. Когда я кончил, он сказал:

— Ну что ж. «На срезе тяжелого холма» — это хорошо. «Жизнь есть способ передвижения белковых тел» — это выражено смело. Может быть, даже нагло. А «лучики ромашек» — это, извините, — «лучек и рюмашек». Но вы пришлите мне тексты, эти и новые, и я, возможно, вас поддержу.

Странный пустяк: я не взял его почтового адреса. Некуда было записать, да и казалось, что всегда успею. Но, созвонившись с Рейном, я на завтра привел его к Луговскому. Глубоким низким голосом мастер читал нам поэму из «Середины жизни» (так у меня сейчас объединились оба названия) о бомбардировке Лондона. Образы были видимыми и резкими, но напоминали они не реальность и не поэзию, а кино, снятое оператором Урусевским. Впоследствии Рейн, переставив юпитеры и притушив освещение, усвоил эту манеру для своих ностальгических баллад о былом.

Год спустя, когда Рейн был на Камчатке, пришла весть, что Луговской вдруг умер в Крыму. Я написал другу открытку, добавив придуманных кинематографических красок к скупому сообщению: поэт умер внезапно, идя купаться в море и упав лицом в куст цветущих опунций. Неправда стала поэзией. Рейн написал в «Японском море»:

Всякие смерти, и дивная смерть Луговского...

«Дивная» — только от цветущих опунций и колочек, вонзившихся в мертвое лицо поэта.

А когда мы вышли в тот августовский визит от живого Луговского, стоял белый день и Рейн предложил навестить еще одну поэтическую легенду — Илью Сельвинского, который, по его сведениям, жил там на даче. Сказано — сделано. Нас пустили в дом, и крупная, энергичная женщина («Абрабарчук, его муза», — шепотом пояснил мне Рейн) вела переговоры с верхним этажом дачи, принять нас или нет. Сверху распорядились принять, и мы поднялись в заваленную журналами и книгами, завешанную картинами гостиную, где на диване возлежал хворающий простудой мастер.

— Илья Львович! Мы ленинградские студенты... — стало само собой произноситься затверженное приветствие.

Он выглядел грузным, набрякшим, но говорил живо. Еще более оживился, когда Рейн рассказал, что собирает его книги, — «Пушторг» был последним приобретением. Что он пишет? Больше редактирует старое, забывает о театре. Пожаловался на критику — та его замалчивает, он чувствует себя виолончелистом без канифоли: играет, а в зале не слышно. Театры тоже не ценят его как драматурга, не хотят ставить трагедию «Орла на плече носящий» — героическое им сейчас не подходит. О нашей любимой «Улялаевщине» не говорили — уж очень он ее испортил в поздних редакциях. Зато — об «Охоте на тигра»! И о «Севастополе» — какой там есть могучий образ-рефрен: «Домашний ворон с синими глазами». Такое — именно надо придумать!

Расспрашивали о других мастерах. О Пастернаке он выразился как-то для нас непонятно:

— Конечно, талант, и еще какой! Но он же, как леший, — сидит у себя и ухаёт из колодца. Этот его роман... Знаете, есть такой червь, который с собой совоупляется...

Размашистая, в синих тонах живопись по стенам и на камине — это его дочь-художница, она училась во Франции. Виды Парижа, театральные фантазии... Ее муж отвезет нас на машине в Москву — электрички сейчас ходят редко. Но сначала нас нужно как следует накормить.

Мы спускаемся вниз, муза поэта готовит раблезианскую глазунью, а затем его зять отвозит нас уже в темноте в Москву.

Крупный поэт, вертевший словами, как силач гирями, истинный соперник Маяковского! Может быть, именно за это его «зашикала» критика? Партийные стервецы! Но и братья-писатели друг на друга ножи точат... Его суждения о Пастернаке тоже скорее всего издержки поэтической ревности или неизвестных нам дрызг. И все-таки он знал, что молодые поэты должны быть непременно голодными: яичница у Сельвинского была грандиозна. Настолько, что мы оба запомнили ее на всю жизнь, только Рейн, к моему изумлению,

перенес ее в воспоминаниях на кухню к Пастернаку, где мы, увы, никогда не были и нас не угощали!

А повидаться с Поэтом хотелось, как и с Прозаиком с большой буквы Юрием Олешей, тем более что они оба жили в Лаврушинском переулке на одной лестнице писательского дома.

Лифтерша, в точности такая, как на Таврической, остановила нас своей малой, но хватистой властью:

— Вам к кому?

— К Юрию Карловичу.

— Нету.

— К Борису Леонидовичу.

— Нету. Отдыхают в Крыму.

Бредем в сторону Третьяковки. Как же так? С утра — и никого нет. Ну, конечно, лето. Но странно, что Пастернака, у которого весной был инфаркт, повезли летом на юг. Может быть, в какой-нибудь специальный санаторий? В сомнениях возвращаемся. Лифтерши нет. Едем сначала на самый верх — к Олеше.

Открывает изящная пожилая женщина в ярком халате с чертами мелкими, но точно набросанными на ее лице колонковой кистью Конашевича — Суок! Пропускает нас в кабинет.

— Студенты из Ленинграда. Как вы сами назначили.

Сам он стоит посреди пыльных рукописей и наслоений журналов — в брюках с подтяжками прямо на нижнюю рубашку: рост небольшой, взгляд колкий, брюшко косит вправо, к печени.

Вчера мы познакомились с ним в «Национале», куда я входил не без робости — место было шикарным, но обстановка в зале оказалась несколько не натянутой. Мастер был весел и нас вычислил сразу:

— От вас приезжал этот, как его, Вольф.

— А, Сережа! Ну, как он вам понравился?

— Талантлив. Великолепно девок описывает! Как у него там? «Во время танца она профессионально, спиной, выключила свет».

— Мы хотели бы почитать вам стихи.

— Я стихов давно не пишу да и не читаю. Впрочем, приходите завтра ко мне, поговорим.

— В какое время?

— В восемь утра!

В восемь утра? Что это — чудачество или шутка подгулявшего автора «Трех толстяков»? Мы специально тянули до девяти, а потом еще эта лифтерша...

— Ничего не знаю, мне уже нужно собираться ехать в другое место.

Сами виноваты. Мы побрели по ступенькам вниз. Проходя мимо квартиры Пастернака, я остановился. Рейн уже спустился на два марша. Почему бы не попытаться? Я позвонил.

Дверь открыл человек в голубом пиджаке (наверное, в том, что его близкие называли «аргентинским»), в белой рубашке с повязанным галстуком и седой челкой на лбу. Сам! Свежее, почти молодое лицо. Яркие карие глаза излучают энергию и радушие.

— Борис Леонидович! Мы студенты из Ленинграда. Были в Карпатах, остановились проездом в Москве, чтобы повидать вас.

Рейн единым духом взлетел на два марша вверх — и вот уже стоит рядом. Представляю его и себя.

— Конечно, конечно. Пожалуйста, заходите.

Коридор, и сразу направо узкая комната: книжные полки, кушетка.

— Есть ли тут стулья? Сейчас я вам принесу.

Побежал в глубь квартиры, ступая неравномерно.

А какие у него здесь книги? Вот стоит Сельвинский, и как раз «Улялаевщи-

на». И — с его пометками. Смотри, Женя! И я, как будто показывая ему фокус, засовываю книгу за пазуху.

— Ты что, с ума сошел? Поставь на место немедленно!

— Да я же шучу!

В узком коридоре загрохотали стулья. Внес их, расставил, рассадил нас. Чем он может нам служить?

Читать ему свои стихи было нелепо, как если бы утомлять мадонну фотографиями чужих младенцев. Все собственные находки заранее казались вялыми, вымученными по сравнению с его: «Ужасный! Капнет и вслушается...», не говоря об искрометном множестве других. Рейн любопытствовал, может ли он увидеть «Близнеца в тучах», первый сборник стихов Пастернака.

— К счастью, он весь пропал, до единственного экземпляра,— загадочно ответил автор.

Рейн спросил, что он пишет теперь, добавив, что часть его новых стихов стала доходить, циркулируя какими-то своими путями. Да, подтвердил я, «Свеча», «Рождественская звезда», «Гамлет» передаются от друзей к друзьям, напечатанные на папиросной бумаге.

— Хорошо,— сказал он.— У меня есть какое-то время поговорить с вами. Правда, ко мне уже пришли двое журналистов, но они подождут. Дело, однако, в том, что в течение этого получаса должен прийти парикмахер, и он-то уж ждать не будет. Тогда мне придется с вами расстаться.

— А можем ли мы оставаться с вами, пока он будет вас стричь? — спросил Рейн.

— Что вы, я ведь не Анатолий Франс.

И Пастернак заговорил, поворачиваясь жарким коричневым глазом то ко мне, то к моему другу. В эти моменты на его свежем белке становился виден красный узелок лопнувшего сосуда, напоминая о недавнем инфаркте. Он говорил о своих ранних образах и книгах, как о прискорбной ошибке, о которой он теперь сожалеет. То было ложное занятие, наподобие алхимии, которому он был привержен издавна и по-пустому.

Сразу же вспомнилось: те же мысли он высказывал в письме черноглазому Марку! Но если захватывающая душу искренность «Сестры моей — жизни» — ложна, то что же тогда подлинно?

Он сказал, что недавно закончил роман, где, может быть, я найду ответ на мои вопросы. Но будет ли книга напечатана, зависит от общей обстановки в стране. Сейчас она неплохая, и если это продлится, в чем есть сильные сомнения, тогда и можно будет поговорить о предмете. О чем написан этот роман? Пожалуй, обо всем, что пережило его поколение: о революции, о гражданской войне и даже о второй мировой.

И о лагерях? Нет, не только. Можно сказать: вовсе нет, хотя есть некоторые касательства этой темы...

Рейн, покосившись на меня, задал вопрос, который показался мне неуместным:

— Борис Леонидович, как быть еврею русским поэтом?

«Да вот же он перед тобой»,— напращивался мой безмолвный ответ, но сам вопрошаемый отнесся к нему всерьез:

— Я понимаю вас и вижу этот путь лишь в полной ассимиляции.

Раздался звонок в дверь. Это, видимо, пришел парикмахер, и мы распрощались. С Пастернаком мы провели в общей сложности около сорока минут.

Газета «Культура»

Противоречивая хрущевская «оттепель», разыгравшаяся особенно в теплые месяцы 56-го года, была двусмысленной во всем, начиная с фигуры самого «освободителя». Действительно, одних он освобождал, закабалая при этом дру-

гих, а еще третьих, как, например, нас, молодежь того времени, провоцировал и обманывал.

Коротконогий лысый толстяк с вульгарной речью и манерами, он обликом казался подобием Санчо Пансы, особенно усилил это сходство, когда выбрал себе партнером дряхлого и козлотородого Булганина, только тем и похожего на Дон Кихота. Вдвоем они были в тот год летом в Питере, отметив странно некруглый 153-й юбилей основания города и прокатившись по его проспектам в открытой машине. Толпы были нагнаны, чтобы их приветствовать, еще большие толпы явились поглазеть сами. Я увидел катающихся правителей на Петроградской, оказавшись на углу у особняка Кшесинской притертым боками к двум местным оторвочкам. Бойко стрельнув по сторонам глазами, одна из них объявила подружке:

— Ой, какой он противный! Я бы с ним не легла.

— И я. А с Булганиным легла бы.

Не желая сблизиться ни с кем из окружающих, я выбрался из толпы.

Похоже, что, выпустив сотни тысяч (думаю, все же не миллионы) из лагерей и наполовину (на четверть, нет, на чуть-чуть) развязав языки прессе, он выжидал, наблюдая за обстановкой: чья теперь возьмет? Либералы, сами тому не веря, туманно намекали на пришествие свободы. Консерваторы, перестроившись, рывкали здравницу «дорогому Никите Сергеевичу», но мертво стояли на своем. Остальные пребывали в состоянии конфуза и недоумения.

Выдвинулись в литературе те, кто наработал задел, дождался и выстрелил им вовремя, именно в эту пору, обогнав цензуру на повороте. Разрешенными только для них смелостями поражали Евтушенко и Вознесенский, один — политическими, другой — авангардистскими, но и они, когда надо, клялись революцией, Лениным и Советами.

А те, кому не разрешалось, пустились вольнодумствовать на собственный риск и при самодельной страховке. Вдруг открыли выставку Пикассо в Эрмитаже, но запретили обсуждать, а тех, кто все-таки собрался на дискуссию, трепали и даже исключали из институтов. В киосках появились невиданно пестрые обложки — журнал «Польша» начинал их дерзостями в двойном пересказе с французского: «Нет искусства без деформации!» — поляки, по тогдашнему анекдоту, были самым веселым баракком в социалистическом лагере. Носить их журнал в руках было вывеской бескомпромиссного инакомыслия.

С полускандалом прошло несанкционированное эстрадное представление «Весна в ЛЭТИ», половина участников которого потом стали профессионалами в развлекательной индустрии. «ЛЭТИ» напомнило мне о былых амбициях: и я бы там, наверное, участвовал... Однако и в Техноложке затевалось нечто — шла самая настоящая предвыборная кампания в комсомоле. Выдвигались (а не назначались) кандидаты, происходили потешные дебаты, в которых зарабатывалась подлинная популярность. Так, быстрый разумом Боб Зеликсон прославился математической шуткой, простой и совершенной, как «Курочка Ряба»:

— Почему пятью пять — двадцать пять, шесть шесть — тридцать шесть, в то время как семь семь — уже сорок девять?

— Знаюки особенно смаковали в ней словосочетание «в то время как»... Наша медия, устная и самодеятельная, призывала к избирательной активности. В одной из демократических агиток я принял участие.

«Выберем достойных» — под таким, конечно же, ироническим заголовком шла наша одноактная пьеса, которая по ходу репетиций сочинялась самими актерами. Тот же Боб, один из главных кандидатов, был тут как тут. В ореоле светло-рыжих кудрей, с непрерывно смеющимся, как маска комедии, лицом, он играл немного юродствующего, чуть философствующего Арлекина нашего действия, по существу, самого себя.

Мне досталась роль Пьеро, только фамилию для персонажа я придумал по рецепту Юрия Олеши — «высокопарную и дурновкусную»: Аметистов; так я в этой роли пародировал неадекватность происходящему, тоже, наверное, свою.

Ценитель и гурман пародийного языка Миша Эфрос, один из идеологов клуба «под часами», совсем не на шутку ушедший потом в науку, был нашим режиссером, и он попустительствовал моему Аметистову, кидавшему в зал цитаты из Экклезиаста или так же невопад декламировавшему со сцены свидетельства другого, современного пророка — Ти Эс Элиота, в переводе Мих. Зенкевича:

Так вот как кончается мир,
так вот как кончается мир,
так вот как кончается мир,
только не взрывом, а взвизгом!

Мир, однако, не кончился, комсомольским секретарем избрали Зеликсона, и вскоре он собрал в старой институтской гостиной с белой изразцовой печью всю, какая только наличествовала, элиту из-под часов. Посмеиваясь и балагурия, балагания и пошучивая, он изложил грандиозный план: издать стенгазету. Но не такую, чтобы ее засиживали мухи, а, если хотите, даже скорее стенной журнал под названием «Культура». И — чтоб во всю стену! И — чтоб только свои мнения, а не предписанные сверху. И — чтоб было не хуже, чем в «Литературке»! Таланты есть. Главный редактор — Леонид Хануков, ему слово.

Ничего о нем прежде не слышали; он взял слово, чтобы силпо передать его обратно. Так почему же именно он — главный? Ясно. Либо — «зитц-председатель Фунт», как у Ильфа и Петрова, либо, наоборот, приставлен для надзора. Он застенчив, Виталий Шамарин будет чем-то вроде его заместителя.

Опять рассуждает Зеликсон. Отдел публицистики будет вести Веня Волынский, передовая статья уже в работе. Отдел литературы — Дима, ты не против взять его на себя? Я — не против, если другие литераторы не претендуют. Рейн? Будет писать о живописи. Найман? О кинематографе. Значит, литературный отдел мой. Тут же заказываю статью Генриху Кирилину — он любит Хемингуэя да и похож на него, только без бороды, пусть о нем и пишет. И — начинаю сам обдумывать эссе о современной поэзии, а точнее, об Уфлянде: писать о нем будет по крайней мере забавно. Музыка — конечно, Михельсон, и, конечно, о Шостаковиче. Театр — сразу несколько девушек, среди них — Галя Рубинштейн. Балет... Природа... Юмор — этот отдел, разумеется, за самим Зеликсоним. Ну, навалились!

Через несколько дней газета висела на огромном щите, и площадка парадной лестницы была заполнена народом так, что было трудно пройти в деканатский коридор. И — трудно было ее не заметить! Вадим Городыцкий, сын одного из наших преподавателей и художник-любитель, хорошо поработал над заголовками и коллажами: в ход пошли вырезки из журнала «Польша» — «Нет искусства без деформации»!

Веня Волынский написал роскошную проблемную статью «В порядке обсуждения» — о восприятии культуры в условиях общественных перемен. Ее уверенный, несколько вальяжно-журналистский стиль был действительно не хуже, чем в «Литературке», в ней изобиловали либеральные намеки и, что было заметней всего, совершенно отсутствовали идеологические цитаты и ссылки. Толпа выхватывала оттуда лозунги, ахала или оспаривала их: «Надо самим разобраться в искусстве»; «Не бойся, если твое мнение пойдет вразрез с чьим-то авторитетом»; «Иди своим путем, без груза предубеждений». Даже такие очевидности казались тогда острой и пряной крамолой.

Рейн написал апологетическую заметку о живописи Поля Сезанна, и уже

это воспринималось как дерзость: «ценности соцреализма» охранялись почему-то не менее ревностно, чем идеологические догматы. Разумеется, в заметке провозглашались иные принципы. Но — вот незадача! Имя художника было правильным лишь в заголовке, который написал Городыцкий, а в тексте машинистка напечатала всюду «Сюзанн», так что в родительном падеже и вовсе выходила какая-то сомнительная «Сюзанна» — не то служанка, не то содержанка великого постимпрессиониста... Раздосадованный насмешками Рейн сорвал свою статью и ушел куда-то править ошибки.

В разделе «Кино» — «Чайки умирают в гавани», рецензия Наймана на бельгийский фильм под таким названием, снятый в авангардной манере. Либеральным чудом казалось появление этой картины в прокате среди индийских мелодрам и китайских назидательных агиток. Необычен был сам киноязык: крупные планы, стремительный монтаж, стоп-кадры. Найман писал:

«В фильме много действия, но мало слов. Поэтому к словам надо прислушиваться особенно внимательно. А зритель привык к тому, что если на экране линия не жирная, а пунктирная, то ее покажут еще раза три и раз пять о ней расскажут. Ну а тут надо меньше отвлекаться и больше смотреть на экран...

В фильме мы увидели и совсем незнакомое нам выражение ритма — это ритм видом. Взгляд подымается вверх по дому внутри какой-то конструкции. И вот балки этой конструкции, пересекая взгляд, своим видом отбивают ритм: так, так-так-так, так, так-так-так.

Или — маленький Беглец, задыхаясь, бежит мимо цилиндрических и шаровых емкостей. И сразу чувствуешь, что из этой великанной страны ему не выбраться, что он в ней заблудится, а она его не выпустит, раздавит.

И вот мертвый Беглец повис на перилах, раскинув руки. Ветер треплет его волосы, а он недвижим в позе мертвой птицы, и перед ним воды Рейна, на которых покачивается мертвая чайка, как осуществление бельгийской легенды о том, что чайка погибает со смертью хорошего человека...

...Модерн, в котором разрешен этот фильм, снова показал, как многообразны пути развития мирового искусства».

Кто-то приписал внизу от руки: «значит, и поповщина», кто-то карандашом поставил «четверочку» — то ли самому фильму, то ли рецензии на него, — оценку, в любом случае задевающую самолюбие автора.

Галина заметка о сценических постановках режиссера, художника и комедиографа тех дней Николая Акимова «Тени» и «Ложь на длинных ногах» называлась «Два спектакля — две удачи». Но не по поводу содержания статьи или ее стиля, а по поводу заголовка разыгрались в редколлегии насмешливые упражнения, возможно, под влиянием «математических» методов Зеликсона: «Три спектакля — две удачи», «Четыре спектакля — три удачи», «Одна заметка — две неудачи»... Разобидевшись, юная театралка хотя и не вышла из редакции, но писать перестала.

Свою статью я, как ни торопился, не успел закончить к открытию газеты и с некоторым опозданием вывесил ее, потеснив другие заметки литературного раздела.

Вот она, в том виде, как сохранилась. Я лишь чуть-чуть поправил огрехи торопливого пера, да и то не все.

Хороший Уфлянд

Осенью прошлого года в Университете состоялось обсуждение стихов Владимира Уфлянда. Кто-то уже слышал об этом имени, и на чтение собралось довольно много ревнивых толкователей и бестолковых ревнителю поэзии.

Уфлянд был рыжий, курносый и нечесаный. Он замотал шею зеленым шарфом и начал читать простуженным голосом. Есть в манере нынешних по-

этов нарочито плохо читать стихи, не обращая внимание слушателя на их звучание. Уфлянд читал именно так, небрежно произнося слова и делая ударения лишь на начало и конец строки.

Но слушатели были захвачены этим Уфляндром из стихов. Чувствовалось, что он любит жизнь, любит ее смущенно и нежно. Тепло и бережно он относится к вещам, даже если это довоенная фотография или заглохший холостяцкий дом; к людям, даже если это пыльный пьяница или бразильский эмигрант.

Есть поэты, которые, вследствие уж очень бережного отношения к поэзии, сделали из своих стихов культ. Они слишком ценят свое, именно поэтическое, а не бытовое отношение к жизни. И в результате ради удачного эпитета или рифмы они грешат против действительности.

Но у Уфлянда по его небрежному отношению к стихам чувствовалось, что они не становятся между поэтом и жизнью, что эти стихи и есть поэт и его жизнь. Это и есть хороший, добрый Уфлянд и его отношения к вещам, детям и коммунистам.

У него есть стихи о детях, отец которых забыл, как их звать, но они не остались одинокими:

Женщина по имени Россия
накормила их, велела спать,
не задумываться над вопросом:
— Утром солнце будет ли сиять?
Если дети доверяют взрослым,
это называется семья.

Да, это и есть большая семья, в которой Уфлянд живет и спит спокойно и доверчиво, как ребенок...

Все люди разнятся друг от друга, но дело поэта показать, чем именно он похож на всех людей, а поэтому, чем он отличается от каждого из других поэтов. И как результат — неповторимость манеры, поэтическое своеобразие. Подлинное своеобразие рождается лишь в коротких отношениях с действительностью. В любом ином случае — это только формальное различие авторских приемов.

Судя по стихам, Уфлянд придерживается очень верного и трезвого мнения о назначении поэзии. Он не хватает своего читателя за шиворот и не тащит его, уставшего после работы, на борьбу и сражения. Он дружески приглашает читателя войти в его настроения, давая ему начальный импульс для размышлений:

Тот человек. Он, если шубу скинет,
на сцену выйдет, впрямь как за порог,
то может женские сердца мужскими
на время сделать, то наоборот.
А если шубу он не снял в прихожей,
вбежал к ребенку, не успев раздеться,
то сам никак от нежности не может
понять: кто сыну — мать или отец он.
И удивляется, узнав, что отчим он...
Припоминает ясно, онемевши...
В людских сердцах вот отчего
считает он себя невеждой.

И читатель поддается душевному и доброму поэтическому слову. И настроение стихов не пропадает долго после их прочтения.

Из каждого факта можно сделать значительное событие. Факт обрастает деталями, образами и ассоциациями, ему навязываются аллегории. Рассуждения зарифмовываются, и получается стих. Но это, по существу, муха, раздутая до размеров стихотворения. Такой метод чувствуется у поэтов более старшего поколения, так пишут и люди одного с Уфляндром возраста — Г. Горбовский и М. Ерёмин. В значительно меньшей степени это встречалось и у Уфлянда.

Но сейчас Уфлянд подходит вплотную к большой правде мира. Он становится на путь проникновения в глубь факта и нахождения первобытной сути явлений. Этот путь — упрощение форм, углубление содержания и сближение с бытом — и есть сегодняшний путь поэзии.

Уфлянд входит в литературу как обещающее явление — этот бывший студент и рабочий, будущий солдат и настоящий поэт.

Донос

Статья эта, вместе с большой подборкой стихов моего героя, казалась ярким материалом, но провисела она в газете недолго. Хануков все это снял и унес в партком утверждать.

Пока они мою статью перечитывали, утверждали и отвергали, в институте стали происходить некоторые «климатические» изменения. Да и не только в институте, а и в городе, и — шире — в стране и за ее пределами.

Сначала выступила многотиражка «Технолог». Обычно никто не замечал это бесцветное печатное издание, оказавшееся в глубокой тени от нашей популярной стенгазеты. И вот оно выступило с заметкой «По поводу газеты “Культура”». Без обиняков некто «Я. Лернер, член КПСС» высказал в ней «свое личное» партийное мнение.

«Мне кажется, что газета “Культура” должна заниматься не абстрактно-просветительной работой, а быть активным проводником идей партии в деле борьбы с проявлениями чуждых взглядов, идей и настроений. Редколлегия газеты не должна забывать, что у нас господствует социалистическая идеология, нерушимую основу которой составляет марксизм-ленинизм.

Однако уже в первом выпуске газеты редакция допускает серьезные извращения, в отдельных статьях прямо клеветает на нашу действительность, с легкостью обобщая ряд фактов, и преподносит их с чувством смакования, явно неправильно ориентируя студентов на события сегодняшнего дня. Путь, который указывают Хануков, Бобышев, Вольтский, Кацман, Михельсон, Глубокий, Рубинштейн, Гинзбург, Рейн, Найман, Шамарин, Романова, Горыдынский, — не для нас, не для советской молодежи, и является глубоко порочным.

В газете имеется попытка навязать свое мнение нашей молодежи по ряду вопросов, связанных с зарубежным кино, живописью, музыкой (статья Наймана о кинофильме “Чайки умирают в гавани”, статья Е. Рейна о Поле Сезанне и т. д.).

Удивляет и то, с какой легкостью ко всем вопросам подходит член редколлегии газеты секретарь комитета ВЛКСМ т. Зеликсон Б., который не только не пытается разъяснить ошибочность и порочность работы членов редколлегии газеты “Культура”, но и сам во многом стоит на их позициях. И уже совсем непонятен либерализм партийного комитета института, который до сих пор не принял мер к коренному улучшению работы редколлегии газеты, которая призвана стоять на позициях такого воспитания наших студентов, как того требует партия. Ибо “всякое ослабление влияния социалистической идеологии означает усиление влияния идеологии буржуазной”. Об этом у нас, к сожалению, забыли».

Донос, настоящий политический донос! Михельсон помчался куда-то вверх по главной лестнице, потрясая газетой. Возник некоторый переполох. Ясно было, что на нас выпустили первую собаку, с глазами размером пока еще с чайные чашки.

Кто же такой этот Лернер, неужели тот самый «Яшка-завклубом», увольнения которого ждала институтская самодеятельность — театр и хор?

Чернявы, довольно еще молодой нахал с безграмотной речью, он не только не скрывал своей связи с КГБ, но, должно быть, ее преувеличивал, временами являясь на работу в майорском кителе: будучи заведующим клубом и распорядясь театральным реквизитом, он в принципе мог бы появиться хоть в генеральских лампасах. Одежды и личины для его по-своему незаурядной личности были тем же, что для Остапа Бендера милицейская фуражка, — средством внушения и обмана. Наш комбинатор умудрился для почти профессионального театра и чуть-ли-не-совсем профессионального хора Техноложки устроить платные гастроли по области. Доходы от гастролей не достались актерам и певцам и не поступили в институтскую казну, да и не могли туда поступить, поскольку самостоятельным коллективам гонораров не полагалось. Когда стали разбираться, куда же они все-таки делись, заодно обнаружилась пропажа целого рулона тюля для занавеса...

Но не под этим летучим покровом, а под толстым одеялом секретности в администрации и парткоме происходила из-за Лернера крупная возня: «отдать под суд» или «уволить с выговором по партийной части». Патроны Лернера из КГБ, очевидно, отреклись от своевольного жулика и самозванца. И он нанес упреждающий удар по нам, желторотым либералам, заодно упрекнув в либерализме и партком! В результате, сделав этот ход конем, он уволился «по собственному желанию» и всплыл некоторое время спустя в добровольной народно-милицейской дружине Дзержинского (а не какого-либо другого) района Ленинграда. Там он опять «прославился» в деле Бродского, затем угодил-таки за мошенничество под суд и, отсидев положенный срок, всплыл снова во время гласности как отрицательный герой эпохи.

День поэзии

В ту осень не только наша «Культура», но и другие студенческие клубы, неофициальные и рукописные журналы, независимые объединения поэтов стали возникать в городе. Будоражило ли это сыщиков политического надзора, тревожило ли это железобетонное ленинградское начальство? Не знаю. Но думаю, что временно им было не до нас. Москва замахнулась тесаком реформ, провинция хватала ее за волосатое запястье. Пока потные гиганты сопели, перетаптываясь, процветала наша «Культура», в ЛИИЖТе звучали «Свежие голоса», в Библиотечном мололи «Чепуху», «Тупой угол» издавали интеллектуалы-физики в Политехнике, декаденты распускались «Синими бутонами», футуристы открывали «Литфронт Литфака»...

Из Москвы приезжали знаменитости: Евтушенко, Слуцкий. Каким-то невероятием Рейн их зазвал в Техноложку и скоростным образом устроил (видимо, через Зеликсона) для них выступление в Большой физической аудитории. Более того, не чувствуя себя уверенным перед огромным залом, он вытащил и меня за кафедру, и вместе мы представляли гостей. Московские звезды были осторожны, читали проверенное. Евтушенко — «Военные свадьбы»:

Вхожу, плясун прославленный,
в гудящую избу...

В авторском чтении вдруг проступила смущающая символика стихотворения: женихи уходят на войну, поэт-подросток остается с овдовевшей Россией...

Прочитав первым, Евтушенко тут же исчез. Слуцкий читал тоже лишь сугубо разрешенное:

Я говорил от имени России...

Профессор Никита Толстой, истинный хозяин места, где все собрались, чье барское детство волшебным образом воспел его отец, «красный граф», задавал вопросы из первого ряда:

— Почему не издают Хемингуэя?

Или:

— Когда наконец мы сможем прочитать Джойса?

Слуцкий мялся с ответами. Мы закрыли вечер и увели его, чтобы показать газету «Культура», которая нуждалась в веской защите. Он задал несколько статистических вопросов о том, сколько студентов в институте и какая часть из них прочитала газету, затем не торопясь проглядел заметки, но отозвался как-то невнятно:

— Посмотрим...

В утешение он сказал пишущим:

— Шлите все Бену Сарнову, с поправкой, конечно, на читателя, в журнал «Пионер». Он печатает наших...

Поколебавшись, я все-таки его спросил:

— А «наши» — это кто?

— «Наши» — это наши, — четко ответил Борис Абрамович, заглянув мне в глаза.

На следующий день был праздник поэзии. Московские знаменитости с тем и приехали, чтобы на нем выступить. В этот день я купил в Доме книги у молодой продавщицы отдела поэзии Люси Левиной большущий in folio альманах, который так и назывался «День поэзии». На обложке, по забавному замыслу художника, уже имелись отпечатанные автографы участников, и кого там только не было! Красивая Люся, глядя выпуклыми прозрачно-зелеными глазами, произнесла на публику пунцово-выпуклыми губами:

— Приходите все в час. Будет выступать Павел Антокольский.

В начале второго перед толпой молодежи стоял сморщенный, похожий на Пикассо старикан, артистически прикрыв голый череп беретом. Он был еле виден из-за прилавка. Поставили стул. Со стула, как малыш на елке, он стал читать поэму о сыне, убитом на войне. Предмет был грустен, поэма длинна и риторична, к тому же давно и хорошо известна — автор уже получил за нее Сталинскую премию, и публика скучала. Хотелось именно праздника. Ему стали подсказывать:

— Почитайте что-нибудь новое!

— Нет, лучше из старого! Об Афродите Милосской — «Безрукая, обрубок правды голой...»

— Пусть лучше Рейн будет читать! Поэму «Рембо»!

— Кто такой Рейн? — вдруг заинтересовался старый романтик.

Рейна пропустили вперед. Многоопытный, но любопытный Антокольский, не давая повода для неразрешенного выступления, распорядился:

— Читайте не им, а мне.

И направил неожиданно большое ухо через прилавок. Но и Рейн не дал тут промашки. Частично в волосатое антокольское ухо, а большей частью отводя звук губою в зал, он гулко закричал:

Программа девственниц с клеймом на ягодице —

«А. Р.» — такое же, как под столбцами рифм.

Здесь нет иронии. Она не пригодится.

Так значит прочь ее. Но щеки опалив!..

Не знаю, как в дальнейшем сложились отношения двух поэтов, — кажется, довольно мило. Но тогда хотелось для Рейна немедленного признания, торжественной передачи лиры, благословения, приглашения в Литинститут в Москву! Этого, разумеется, не было...

А в Москве Леонид Чертков занимался, по его словам, «политической болтовней» в сарайчике для жилья, извне наспигованном подслушивающей аппаратурой, и публично читал с ироническим посвящением «Ленинскому комсомолу» свои «Рюхи»:

Расставив ноги блямбой,
она ему дала за дамбой...

А в Польше... А в Венгрии...

В Венгрии тоже все началось со студенческого кружка «По изучению поэзии Шандора Петёфи». Кружком руководил профессор изящной словесности Имре Надь (не венгерский ли вариант Глеба Семенова?). Читали летучие стихи, занимались «политической болтовней» на своем вывихнутом наречии... Только — вдруг они ощутили себя свободными и стали освобождать страну. Такие же, как мы, в зеленых плащах и черных беретах. Но — с автоматами. Когда все вдруг кончилось, мы с Найманом ходили смотреть кинохронике тех дней. Диктор произносил торжественно-зловеще: «Фашиствующие молодчики покусились на самое святое — памятник советскому воину-освободителю». Из положения лежа молодые венгры вели прицельную стрельбу из автоматов по советскому гербу на монументе. От него отлетали кусками: серп, молот, колосья...

— Я смотрю это в девятый раз, — признался Найман.

Диктор: «Войска Варшавского договора пресекли провокацию, грозящую дестабилизацией Восточной Европы...»

Да, 5 ноября Хрущев бросил на Будапешт танки, и неделю они с лязгом гонялись по улицам, расстреливая повстанцев. Имре Надя, тогда уже главы правительства, схватили, увезли в Болгарию и там казнили. Из прессы нельзя было выжать никаких сведений о происходящем. Только сквозь рев глушилок, принаровляя слух, я вылавливал обрывки радиорепортажей Би-би-си.

— Опять свои небеси слушаешь, — с неодобрением говорила Федосья.

Жизнь спустя, в 90-м году, следуя по отрогам разваливающейся империи, я переезжал на немецком прокатном «опеле» мост через Дунай между Пештом и Будой. На этом месте застрелился советский офицер-танкист, не пожелавший исполнить кровожадный приказ. Далее, на развороте улицы, поднимающейся к крепости в Буде, стояло старинное укрепление. Его толстые гладкие стены были изрыты избунами от скорострельной танковой пушки. Так они и остались незаштукатурены. Видно, в 56-м это был крепкий орешек сопротивления, а сейчас я, восходя от незалеченных стен, возвращался к собственной юности. Вид с крепости на Пешт захватывал дух. Солнце слепило, отражаясь в Дунае. Венгрия уже была свободна, но запашистые, крепко-пахучие поленья «салями» оставались еще восхитительно дешевы.

Разгром «Культуры»

Как раз 5 ноября нас в институте согнали на инструктаж по поводу предстоящей «демонстрации трудящихся» к очередной октябрьской годовщине. Побывав однажды в 10-м классе на такой демонстрации, я в дальнейшем успешно увиливал от этой общесоветской обязанности, не собиравшись участвовать и в этот раз, но на инструктаж пришлось пойти. Выступал деятель райкома:

— Возможны провокации!.. Запомните, кто идет в вашей шеренге слева, кто — справа... Во время шествия не теряйте их из виду. Не допускайте в свою колонну посторонних!..

Поскольку провокации были заранее объявлены, они должны были состояться — и состоялись. Первая весть после праздников была:

— Мihu Красильникова арестовали!

— Как? Где? За что?

Очень просто: подвыпивши, во время праздничного шествия, а вернее, когда шествие замедлилось в ожидании выхода на Дворцовый мост, Мihu забрался на основание Ростральной колонны и возглашал игровые лозунги: «Утопим Бен Гуриона в Ниле!»; «За свободное расписание, за свободную Венгрию!»; «Долой кровавую клику Булганина и Хрущева!»

В результате Красильникова уекли на четыре года в лагеря; Рейн написал о нем стихотворение, в котором «четыре года» повторялись рефреном в каждой

строфе. Через два месяца Чертков, по словам из его стихов, «на вокзале был задержан за рукав» и получил пять лет. Нас как будто забыли.

Но нет: в институте появился корреспондент из Москвы, закулисно беседовал где-то и с кем-то... За мной послали нарочного из деканата, отозвали с какой-то лекции, проводили в ту же, когда-то веселую, а ныне унылую и пустую гостиную, где был комитет комсомола. Там сидел некто, не молодой, не старый, не высокий, не низкий, вертел в руках мою статейку «Хороший Уфлянд». Представился:

— Корреспондент «Комсомольской правды».

— Дмитрий Бобышев, студент.

— Как же вы, Дима, дошли до такого?

— А что? Нас обвиняют, навешивают крамолу... А у нас ее не больше, чем, например, в «Литературке»...

— И «Литературка» за свое ответит перед партией. А вы отвечайте за свое. Вот, например, ваша заметка... Что это: «Не тащит читателя, уставшего после работы, на борьбу и сражения»?

— Ну я имел в виду «за абстрактную добродетель».

— Нет, это никого не убеждает...

Не убеждало и меня, и я остался с чувством тревожного ожидания дальнейших неприятностей. Но пока они медлили, нас развлекали мелкие нападки «Технолога»: там, например, появилось утверждение, что Найман «учинил скандал в институтской библиотеке, требуя целый список запрещенной и порнографической литературы».

— Толя, что это значит?

— Это значит, что я запросил «Хулио Хуренито» Эренбурга, а мне не дали.

— Почему же это порнография?

— По звучанию...

Основной разнос ожидался от парткома, а там царили разброд и шатания. «Партийные товарищи» сами не могли разобраться что к чему. Одни не хотели «отдавать нашу молодежь людям типа Лернера, в сущности, случайным в нашей партии», другие с грозным укором казали перстом на Будапешт. Разоблачения Сталина, хотя и частичные, расколебали идеологический монолит, и стали видней человеческие свойства, даже слабости, наших «парткомычей». Универсальный, как гаечный ключ, анекдот ходил про них в то время:

«Ленин задумал советских людей носителями трех свойств: партийности, ума и чести. Но им оказалось под силу обладать лишь двумя. Так, умные и партийные получились жуликами, честные и партийные — дураками, а умные и честные — беспартийными».

Действительно, к кому ни приложишь этот калибр — подходит! Даже мой безусловно порядочный и партийный отчим веселил и сердил меня... наивностью, когда старался обратить пасынка на «правильный» путь. Он копал под корень:

— Не было Иисуса Христа даже как исторического лица. Нет никаких доказательств!

— А я скажу — не было твоего Ленина. Как ты докажешь, что был?

— Да он же сам — в Мавзолее! К тому же свидетельства, фотографии...

— И о Христе — свидетельства и изображения. И — заметил? — на них он всегда узнаваем! Это ли не доказательство подлинности?

Были у него и другие теории для моего «спасения». По одной из них мне нужно было до защиты диплома ничего другого не делать, а попросту лишь учиться, не отвлекаясь ни на что.

— Получишь диплом — пожалуйста! Девушки, развлечения, книжки...

— А дышать можно? А — жить?

— Так живи. Но к чему, например, на стихи расплытаться? Зачем они? С чего ты их стал сочинять?

— Ну чувствую что-то внутри. Какая-то цветомузыка на слова просится...

— А-а... Так ты, значит, песню слышишь. Так бы и сказал...

И он отступился от наставлений.

Но вот наконец партком взвешенно грохнул — разразился в том же «Технологе» от 16 ноября письмом «Об ошибках газеты “Культура”». Вот из него характерные выдержки.

«В связи с выходом газеты “Культура” партийный комитет считает необходимым высказать свое мнение о ряде статей этой газеты.

Определяя задачи комсомола, в своей знаменитой речи на III съезде комсомола в 1920 г. В. И. Ленин говорил:

“Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали”, в основе которой “лежит борьба за укрепление и завершение коммунизма”.

Казалось бы, именно этой великой, почетной задаче и должна быть посвящена газета “Культура” — орган комитета ВЛКСМ института.

Выполняет ли газета указанные задачи?

Нет, не выполняет.

Возникает законный вопрос: “Могут ли некоторые члены редколлегии газеты “Культура” быть проводниками социалистической культуры?” Видимо, нет. Как может редактировать газету студент Хануков (321-я группа), который имеет строгий выговор за утерю комсомольского билета? О какой же культуре может говорить студент Михельсон (322-я группа), который, начиная с первого курса, почти ни одной сессии не сдавал экзаменов без двоек, имеет выговор за пользование шпаргалкой и строгий выговор за непосещение занятий?

Как может работать в газете “Культура” Бобышев (434-я группа), отказывающийся платить комсомольские членские взносы и являющийся ярким пропагандистом аполитичных и вредных стихов? Может ли заниматься культурным воспитанием студентов Найман (332-я группа), который в одном из своих выступлений на комсомольском собрании цинично заявил о том, что он не имеет никакой идеологии?

Наиболее возмутительным является то, что отдельные члены комитета ВЛКСМ, и в первую очередь его секретарь т. Зеликсон, не только не указали редакции комсомольской газеты на ее политические и идеологические ошибки, но даже поддерживают эти ошибки. Зеликсон, например, договорился до того, что он “имеет свое особое мнение”, и даже пытался это мнение противопоставить мнению партийного комитета.

Некоторые члены редколлегии и их защитники выступают под флагом преодоления последствий “культы личности”, а фактически проповедуют буржуазную идеологию.

Путь к улучшению газеты “Культура” лежит через овладение комсомольцами высотами марксистско-ленинской теории, в частности, марксистско-ленинской эстетикой».

Казалось бы, написали все, что надо для логически следующего вывода: указали на идеологические грехи, выделили и назвали отщепенцев... Теперь бы связать это с международным положением, с «попыткой контрреволюционного мятежа в Венгрии» да и призвать: «Надо, ох, как надо крепко дать по рукам их зарвавшимся приспешникам из числа редколлегии так называемой газеты “Культура”»... Но не было, не было этого! Пожалели, полиберальничали или не были уверены, опасаясь, что при следующем крене их самих призовут к ответу за «издержки культы личности»?

Как бы то ни было, а газета висела, материалы в ней обновлялись, хотя и с осторожностью. Нас не трогали. Найман ходил смутный, будто он что-то забыл, — худой, черный, под током сочинительства. Говорил, что ест мало, а пи-

шет непрерывно. Немудрено, что при всем этом он в обмороке скатился на ходу с трамвая — ехал на подножке. Я в ЛИТО в «Промке» читал при партийном Всеволоде Азарове и другом неясном контингенте стихи «Венгрии», из которых помню только: «сестры дальние», «вижу горем пропоротый город и огороды» да «сострадание стародавнее». Но само чтение вспоминает Додик Шраер-Петров в своей книге «Друзья и тени».

«Внезапно поднялся Бобышев. Он стоял бледный и замкнуто-решительный. Мы замерли. Так вызывают на дуэль. Он словно бы и не видел Азарова, встав передо мной, готовый бросить перчатку. “Как ты можешь писать бог знает о чем, когда пролилась кровь наших братьев — венгерских интеллигентов?! Я прочту стихи, посвященные памяти героев венгерского восстания”. Бобышев читал. Помню, что там звучали ... горячие слова, вырывавшиеся и продолжающие вырываться из уст русских поэтов вот уже два века... Ни тени формальной работы. Ни одной реминисценции... Слезы и яростное проклятие душителям свободы».

Тексты этого стихотворения и другого, ему подобного, я уничтожил, возвратясь домой, так как был убежден, что Азаров донесет и меня в тот вечер схватят. Молодец, не донес-таки, а ведь как член партии должен был.

Конечно, я находился на нервном взводе, но это не была паника. Что-то такое, липко-холодное, струилось в воздухе. Как я узнал позднее несомненно и документально, «Литературка» (да, та самая якобы либеральная, а на самом деле провокаторская газета) поручила как раз в это время «тов. Л. Клецкому, аспиранту ин-та им. Герцена (Ленинград, Моховая, 26, кв. 50) работу по составлению справки закрытого характера о вышедших самочинно в некоторых ленинградских вузах студенческих журналах и стенгазетах». Там было достаточно и о нас. Зачем им понадобилась такая справка? Они ведь эти сведения никак не использовали для печати. Зато некто из КГБ в Большом доме на Литейном взял новую дерматиновую папку, вывел на ней «Дело газеты “Культура”», развязал ее нетронутые шнурки и поместил туда эту справку вместе с доносами Лернера и письмом парткома. А 4 декабря к ним присоединилась и статья А. Гребенщикова и Ю. Иващенко «Что же отстаивают товарищи из Технологического института?», напечатанная в «Комсомольской правде».

Название казалось задумчивым, нас называли «товарищами», и первой мыслью было: «Значит, брать не будут». Более того, в конце статьи доверительно общалось: «Сейчас в институте поговаривают, что долго газете “Культура” не выходить: скоро, мол, ее прикроют. Будем надеяться, что это не случится...»

— Тем лучше! — бодро воскликнул Боб Зеликсон.— Давайте повесим эту вырезку среди материалов нашей газеты. Она привлечет к ним еще больше внимания.

Повесили. Привлекла. Куда больше? Но желаемой дискуссии уже быть не могло — внутри мягко озаглавленной статьи шел политический мордобой. Расправа. Вот некоторые выдержки:

«Что же, по мнению авторов некоторых статей, представляется наиболее важным для определения путей развития искусства?»

“Импрессионизм был колоссальным сдвигом в живописи,— пишет Е. Рейн в статье о Поле Сезанне,— одной из величайших революций в искусстве”. И дальше метод импрессионизма рекомендуется советскому искусству как единственно верный. Едва ли можно предложить что-нибудь более нелепое!

Один из членов редколлегии газеты, Д. Бобышев, в пространной, неумеренно восторженной статье о начинающем поэте Уфлянде противопоставляет его творчество всей советской поэзии, причем делает сравнение не в ее пользу:

“Уфлянд придерживается очень верного и трезвого мнения о назначении поэта. Он не хватает своего читателя за шиворот и не тащит его, уставшего после работы, на борьбу и сражения”.

Трудно сказать, чего больше в этой фразе — невежества или мальчишеского нигилизма! И не думает ли тов. Бобышев, что развитие советской поэзии определяют те риторические вирши, которые время от времени мелькали на страницах наших газет, особенно в юбилейные дни?

Рассуждая о стихах Уфлянда, Бобышев теряет всякое чувство меры. Уфлянд именуется в статье “явлением большого плана”.

В результате долгих и горячих споров это странное сочинение не появилось в газете. Однако это не значит, что защитники статьи, большинство редколлегии, убедились в ее вздорности.

Но нашелся у стенной газеты и защитник — комитет ВЛКСМ института. В то время и секретарь комитета ВЛКСМ тов. Зеликсон (который, кстати, сам являлся членом редколлегии газеты), и другие члены комитета не поспешили на громкие слова о свободе творческих дискуссий, о “травле” смелой мысли и т. д.

Почему в таком случае на страницах “Культуры” не нашлось места статьям, в которых авторы поспорили бы с предыдущими выступлениями?»

Это было бы ничего, споров мы не боялись, а нежелательный крен в политике, по идее, мог вот-вот смениться другим, благожелательным — на это же, помнится, рассчитывал и Пастернак... Увы, произошло обратное: «империалистическая англо-франко-американо-израильская агрессия на Суэцком канале», результатом чего были портреты плачущего (глаза красавицы, эффектно-белые височки) Абделя Насера, Героя Советского Союза, попавшие в вырезках из западных газет в наш оборот, да рев глушилок, смешанный с ревом контрпропаганды...

То ли глушилки работали недостаточно плотно, то ли специально был отловлен нужный материал, но обсуждалось в парткоме — как до нас долетело — что-то в таком роде:

— Госсекретарь США Джон Фостер Даллес, этот жупел «холодной войны», изображаемый Борисом Ефимовым не иначе, как с сосулькой на носу, выступил в Турции на открытии ракетной базы, направленной на нашу страну. Он говорил о сопротивлении коммунизму внутри самих коммунистических стран. И приводил примеры — кружок Петёфи в Венгрии, газета «Культура» у нас. Хороший Уфлянд, плохой Бобышев, импрессионист Рейн, вероятно, еще и Найман, и, несомненно, Зеликсон...

«Голос Америки» сделал то, чего не доделали советские мастера несвободы: газету «Культура» закрыли.



Путь Луны

РАССКАЗ

Маркиз

Кошачий речитатив, перемежаемый пронзительными дуэтными вставками, сорвался на целую октаву вниз, в вульгарную, тут же подхваченную выгнувшей спины массовой тональностью, и смолк. Хлестко зашумели близстоящие кусты и выросшие до их размера сорные травы, словно свора безголовых гончих промчалась за оленихой, — стук вонзившегося в квадрат палисадника копыта был похож на удар об дерево острых копыт, скорее всего металлический наконечник.

Сверху донеслись довольное мычание и свист, пробующий на стойкость тишину: мычание не распространилось дальше засиженного голубями карниза, а свист тонким сверлышком пробуравил воздух так близко над ухом Маркиза, что он вздрогнул, но положения не переменил. Прижавшись вплотную к стене дома, он практически неотличим от нее, и, пока тень от подъездного козырька держится именно таким образом, его присутствия не выдадут даже светлые разводы за ушами и по бокам. К тому же Маркиз надеялся, что сюда вернется его соперник, домашний негодяй Адонис и, может быть, по рассеянной случайности пройдет мимо луноглазая красавица Лаура. Она от опасности далеко никогда не прячется, не то что трусоватый Адонис.

Он молодой и нервный, даром что домашний. Маркиз отлично видел, как застывший в изящной боевой позе, приподняв чуть расслабленно правую лапу с гладкими, без мозолей подушечками и насупив лицо, Адонис первым, развернувшись в воздухе, приземлился в паре метров отсюда за деревом и дальше — быстрее, чем от фонарика электрический зайчик в лесу, — в сторону дома. Там легким, словно без толчка прыжком — на покатый жестяной подоконник, боднув лбом незапертую форточку — ап! — а попав внутрь, наизусть: с дивана на буфет, на книжные полки (и чтобы вазочка не покачнулась). Теперь, наверное, негодяй, лапой поддев дверь, пробирается в тесно заставленную комнату к хозяйке под теплый бочок — от уличной грязи вылизываться. Да, сегодня он, пожалуй, Адониса вряд ли отыщет, и это настолько невообразимо, чудовищно жаль, что Маркиз старается не думать.

Он не ушел далеко. Пописав в детскую песочницу (давно хотелось), остался ждать, серый в сером предутреннем тумане: может, пока не упала роса, Адонис, укушенный приبلудной блохой, проснется на чистой постели и мягко вспрыгнет на подоконник, мелькнет обратным пятном сюда, назад? Сдерживая в себе прибывающее с ласковым ранним солнцем отчаяние, Маркиз подобрался на посыпанной отсыревшим песком лавке, подоткнувшись хвостом, и стал раскачиваться на дремотный буддийский манер. Лаура, эта желтоокая Нефертити, достойная короны из самого чистого серебра, он добивается ее из года в год вот уже много лет, и она отдается ему, равнодушно-послушная. Ох, как сладко пахнет шерстка у нее между ушек, когда он прикусывает бархати-

стый, в изысканных темных извивах загривок, какие прекрасные и страшные ему после этого снятся сны.

И вот самый ужасный из них сбывается. За прошлый год он сильно осунулся; поредели, обвиснув, пушистые некогда бакенбарды, придававшие ему благородный и одновременно свирепый вид; черные по спине разводы побурели, словно выцвели, и полосатые, как у тигра, прежде ровные бока ввалились, испортился аппетит, а стершийся на лапах подшерсток обнажил лишай. Однако и это не главное — он дрался и побеждал, но весной у него от долгого замиранья в бойцовой стойке начали дрожать конечности, а сегодня несколько раз дернулась голова. И все же, если бы они сразились, он Адониса победил бы, возможно, в последний раз. Сегодня Маркиз чувствовал в себе достаточно зоркости и мускульной силы, Лаура по праву принадлежала бы ему, но негодья Адонис сбежал, отняв у него шанс.

Конечно, она хорошая девочка, шелкогривая Лаура, и за долгие годы вывела к его любви, преданности, не откажет. И все равно он не станет искать ее, даже чтобы попроситься перед тем, как уйти через забитый тонкой фанеркой лаз в глубь бесконечного подвала, где столько крыс, что живым никто еще не возвращался. Лаура оттого и слывет неприступной красавицей, что доброжелательна, равнодушна к каждому, и он не хочет напоследок разочаровываться, лишая ее короны из лунного серебра.

Пимыч

Пимыч, перегнувшись далеко через давно не крашенные, в ржавых проплешинах перила, для пущего устрашения потряс еще немного головой, вполголоса приговаривая: чтоб тебя, чтобы вы все подошли, чтоб тебя,— и, несколько успокоенный однообразием повторов, опустил на вылинявший до белизны табурет, зиму и лето бытующий на балконе. Слабый свет ночника из комнаты, отраженный чернильной темнотой снаружи, окрасил голубым обтянутый белой майкой живот Пимыча, и он стяхнул с него кусочки облупившейся с перил и приставшей краски, черт-те че, до чего довели, спят, как убитые младенцы, и хоть бы хны. Правда, когда поздно ночью под окнами заводят оглушительную музыку, он на балкон не выходит, потому как понятно — подонки, и затыкает уши ватой, скатанной шариком вместе с пожеванной промокашкой (у него от прошлой службы в строительной конторе сохранился целый запас белых промокашек с зигзагообразным краем и поменьше — бруснично-розовых с занозистыми волокнами из прессованной древесины, эти не годятся). Совсем от звука самодельные затычки не избавляют, все одно прослушиваются низкие ударные, как ток крови при повышенном давлении, или кошмар, что он на юриста не выучился и работает в штамповочном цехе.

А эти твари на мягких лапах сходятся, крадучись, под его балконом, бесполезные дряни, наглые муры и вздорные псы, хозяева их любят до умопомрачения, больше людей, собственных жен и детей, а спрашивается: за что и, главное, зачем? Бессмысленные, глупые чувства. В Библии сказано, надо любить ближних, например, его, Пимыча, он одинокий человек, сидит в чистой, им самим выстиранной и все равно сероватого оттенка майке, в выцветших до синьки сатиновых трусах на старом табурете и чувствует, как через проношенный до дырки тапочек холод от выложенного керамической плиткой пола поднимается по больной ноге вверх. У него и без того простатит, и ходит он, опираясь на вишневую, с латунным наконечником палку, инкрустированную ромбиками перламутра, ее подарили сослуживцы, когда провожали на пенсию. Дорогой памятный подарок и специальный значок в багряной коробочке с удостоверением, таких у него много в шкафу, под носовыми платками, там же, где хранится скрепленный резинкой перекидной календарь (тоже с рабо-

ты), желтые или зеленые — в зависимости от сезона — дни которого, украшенные мasonicким вензелем, с успокоительной обязательностью повторяются каждые четыре года.

Бывший юрисконсульт, Пимыч все еще представительно выглядит в светлой летней шляпе с дырочками, с выразительным карим взглядом из-под торчащих вперед и наискось, как у филина, густых бровей, с закрашенной медно-красным цветом сединой на щеках. Невысокого роста, плотный, но не толстый, он на каждом шагу изящным вывихом руки выталкивает вперед поблескивающую благородной лаковой шкуркой трость и практически не хромает. Но всякий раз у соседнего дома, где проходит срезающая асфальтовый путь утоптанная дорожка, наперерез к нему кидается отвратительный эрдель и хватает зубами вишневую палку, отнимает, рычит. Пимыч пинает его большой ногой и все-таки отпускает: страшно, клыки острые, по ним стекает слюна.

Со всеми остальными эрдель игрив или равнодушен; однажды Пимыч познакомился с хозяйкой, маленькой упругой женщиной с румяным и круглым, как пропеченная булка, лицом. И, пока эрдель сидел аккурат посередине проезжей части (мимо с шумом проносились гудящие машины), узнал, что собаку зовут Петя, и главная его страсть — всяческие палки, трости, метлы, зонтики, и сделать с этим ничего нельзя. Потом, когда с правой стороны образовался затор из истерично сигнализирующих автомобилей, к ним подошел молодой человек в длинном сером плаще, и эрделя буквально протаскивали лапами по асфальту на противоположную сторону, лавируя меж опасной тормозящих машин. При этом упрямец не поменял идиотски-горделивой позы и сохранил независимое выражение морды, словно все это происходило не с ним.

Теперь Пимыч не поднимал, спасая от собаки, драгоценную трость над головой, а просто звонил его маленькой хозяйке по телефону, выслушивал извинения и все равно обижался — Петя всем разрешал гладить свой жесткий курчавый бок, а ему нет, хотя с каждым разом возвращаясь к хозяину палка принимала все более обгрызенный, непристойный вид. Ею-то он, помимо бессонницы раздосадованный изжогой, и запустил с балкона в наглых котов, ишь, расцелись рядами, как в хоре: до, ре, ми. Его, еврейского мальчика, учили на скрипке, и ему нестерпимо слышать, как они фальшивят, даже через скомканную белую промокашку. Кроме того, теперь придется рано утром, раньше дворника, идти искать палку в кусты, а там, может, нагажено или дети играли в войну.

Ну да это позже, утром, а пока он посидит на балконе немного, подышит ночным озоном. Кругом тихо, деревья едва шелохнутся, на улице ни души, только хрипловатый голос дочери, черноволосой горбуни, переговаривается с соседкой из угловой квартиры. Странно, как это у них получается?.. А-а, наверное, соседка высунулась из кухонного окна. Интересная женщина, прическа всегда аккуратно уложена, тонированная голубыми чернилами седина. Он все размышлял к ней посвататься, а она однажды надела праздничное белье и повесилась, говорили, что от головной боли. Возможно, и дочь прожила бы с ним дольше, если бы от нее не ушел, дождавшись, пока та, другая, забеременеет, муж. И на что он, отец, неглупый все-таки человек, рассчитывал, когда симпатичный, пусть и простой парень женился на его дочери-горбунье? Правда, горбик тогда был маленький, но она все равно не хотела детей.

Эти двенадцать лет они прожили все вместе. Дочкин муж сначала, особенно за завтраком в воскресные дни, раздражал мучительным, когда за два слова остывает чашка кофе, заиканием. Спасаясь от взбухающей трудным слогом неловкости, Пимыч, спрятав под густые брови глаза, гадал по кофейной гуще, подергивая себя за растущий из носа жесткий

волосок, как это такой большой, пахнувший здоровым потом мужчина может быть таким застенчивым. Тем более что он каждый вечер собственноручно закрывал ведущую через коридор к их спальне дверь, оттуда доносились дочкин хохот и визг. Она была по-своему даже красива: хриплоголовая, в цветастых цыганских платях, с чуть кривоватым боком и гривой угольно-черных волос. Муж пробыл с ней так долго, что она полысела и уменьшилась в росте, пальто приходилось шить на заказ, и ушел только тогда, когда сделал той, молодой, ребенка. Не побоялся, что ему с новой женой будет негде жить, пошел работать строителем за квартиру, так донесла всезнающая молва.

А Пимыч, как будто этих двенадцати лет не бывало, перестал закрывать ведущую к дочери через коридор дверь, отчего ему стал мерещиться плач оставленных матерями младенцев: вот под этим шаровидно разросшимся тополем, на рыхлой клумбе посреди анютиных глазок, небольшой сверток на скамейке около гаража. Пока, проснувшись в разгар кошмара, он не понял, что кошки, кошки, мерзкие твари, мячуют на улице, как голодные младенцы, отсюда и дурной сон.

Пимыч, нагнувшись к корзине с подгнившими яблоками, прислушался: не хрустнет ли ветка под неосторожной лапой? Нет, только хрипловатый шепот его дочери и соседки, они явно обсуждают его персону, что он постарел, обрюзг, одевается во все старое, не лучше ли ему перебраться к ним, стать листочком на серебристом тополе?

Ну нет. Он ушел в комнату и сердито стукнул балконной дверью, наглухо задернул бликующее в оконной раме пространство, полное неясных шорохов и потусторонних разговоров. Немного поразмыслив, запер в форточке лунную дольку, застрявшую в сваленной из черной мохнатой шерсти огромной, в полнеба туче — никаких сквозняков, и улегся в удобную, замечательно уютную кровать.

Ничего. То, что он носит старые парусиновые костюмы, крашенные хной баки, шляпу в дырочку и порыжелый портфель, ничего, надо же это когда-нибудь донашивать, оставлять некому, а покупать новую одежду хлопотно и дорого, не с кем посоветоваться. Да и продавцы обязательно обманут: «Сами взгляните на себя в зеркало, какой представительный мужчина». А если он последние пять лет диоптрии в очках не менял? Ему просто не захотелось сидеть к окулисту в очереди, там все инвалиды и ветераны труда, а потом зрительная рассеянность даже понравилась. В квартире можно меньше убираться, лица в троллейбусе не такие противные, даже эрдель Петя не скалится, а улыбается широко, до клыков. Тараканов, особенно маленьких, на кухне опять же не видно.

Нет, дорогие мои, спасибо за приглашение, но ему очень нравится здесь: дремать без сна на высокой подушке под сиреневым ночником, в доме напротив такая же, как он, душа не спит, освещенная зеленой лампой, и от этого лежать в постели делается особенно приятно. И, возможно, завтра, то есть уже сегодня, он заложит квартиру выгодно, грамотно, ведь он же юрист, и позвонит круглолицей хозяйке эрделя насчет якобы снова уворованной палки, и не скажет сразу, где искать. А потом запыхавшуюся, в грязных ботинках с приставшим к подошве зеленым листиком пригласит на холостяцкий, без угощения чай.

Супруги

Наталья беззвучно выдохнула и покрепче закрыла глаза: один, три, шесть, девять, но под ресницы словно напоззли разноцветные гусеницы, прехорошенькие, но колкие, и она опять заплакала, широко разинув в мокрую подушку рот и глубоко, как учили при родах, дыша. Митрий после объятий люб-

● Путь Луны

ви, кажется, спал, обратившись к жене белой веснушчатой спиной, ссутуленной неудобным положением на боку, и не храпел, сопел по-комариному тонко, тихо, должно быть, прислушиваясь.

Его никогда не поймешь: то он, покойно проспав полночи, под утро, еще слабенькое, серое из-за поблекшей Луны, принимается неистово ворочаться, с силой отпихивая горячий и мягкий, как грелка, женин живот, а успокоившись, во сне же начинает мелко по-детски даже не зевать, а позевывать. Или на просьбу перевернуться и не храпеть отвечает начальственной абракадаброй, иногда пробормочет лишенный и кратных и предлогов совет и тогда, как в телеграмме, ей трудно сразу разобрать, а на следующий день ничего не помнит и жалуетса на усталость в костях.

Наталья, не удержавшись, всхлипнула и, тут же перехватив, затаила дыхание: не слышал ли? Или, спрятавшись за собственной спиной, как за горой, размышляет, спросить или нет? Лежит себе у муравистого подножия под узорчатой сенью столетнего дуба в прохладе и тепле, смотрит на безоблачное небо сквозь кряжистые ветки и по ним гадает: «Спросить — не спросить, спросить — не спросить, не спросить — спросить?» — и вдруг, дернувшись пару раз во весь рост, убаюканный засыпает.

Поначалу она любила наблюдать за ним, спящим после близости. Лицо разглаживалось и прояснялось, продолговатые в сиреневых, как под корочкой мрамора, прожилках веки не вздрагивали, губы складывались особой тонкой складочкой, дыша безмятежностью юного бога, прилегшего отдохнуть у ручья. Испытывая безутешную нежность и благодарность, любовалась она при свете круглой, как большая жемчужина, Луны беззащитностью обнаженной шеи и вытянутой поверх одеяла белой мускулистой ноги. Иногда она потихоньку целовала родимое пятнышко у него на бедре — он от щекотки улыбался, хмурился и отворачивался от чересчур настойчивого проявления любви. Ей так понравилось это его добродушие уставшего побеждать воина, что по утрам она стала будить его томительно нескромной лаской, чтобы первое, что испытывал он на пороге грубого солнечного дня, было наслаждение. В противном случае Митрий поднимался с супружеского ложа невыспавшимся и злым.

«Надо же, какой крем у тебя соленый», — заметил, целуя ее в виски, наполовину освободив от своей тяжести и став еще тяжелей. «Да-да», — бормотала она в полутьме дрожащими губами, убегая от поцелуев лицом, чтобы громко, взхлеб не зарыдать. Вытянувшись во всю длину, чтобы не скорчиться, ногтями ног, судорогой суставов не отпихнуть, не стошнить в лицо, — он ее муж, а она сегодня не хочет, не может захотеть его, и это невозможно объяснить, тем более что вначале она старалась, но стало только хуже, такое с ней уже было, неужели она опять беременна? У них уже есть девочка и мальчик, девочка — старшая, через два года закончит школу, а на мальчике настоял муж; они теперь на даче у бабушки. И вот, вместо того чтобы расслабиться и петь любовные песни по углам опустевшей квартиры, она лежит с похолодевшими руками и ногами, считая собственный пульс: сто три, сто четыре, сто пять.

Где-то внизу, под раскрытым настежь окном, настойчиво и протяжно, как в грузинском многоголосье, заорали коты, наверное, из-за кошки. У них все просто, всем руководит инстинкт, никаких рефлексий и огорчений: кошке всегда достается победитель, и, наблюдая поединок со стороны как благородная дама, она поневоле не может остаться равнодушной к пролитой крови и доблести, проявленной в ее честь. Наталья вспомнила сибирскую кошечку, жившую когда-то у бабушки в комнате, та вычесывала из нее пушистую шерсть, однажды ее застукали в подъезде с сиамским котом. Под окном хриплое, гортанное ворчание сменилось неустойчивой тишиной, где-то хлопнула, как выстрел, дверца автомобиля, заурчал послушно мотор.

Она лежала как истукан. Наверное, что-то делала, а он трудился над ней, иногда лаская, и она заплакала: быстрее — сильнее, стон — всхлип, кошачий вопль. «Надо же, на дворе июль, а они так расходились». — И уснул, уткнувшись в подушку по-римски мясистым профилем, черной дырой приоткрыв рот, в котором не хватает правого резца и еще трех... Ей вдруг стало нестерпимо от его мужского тепла, и она, голая, босиком, вышла на балкон, на холодный, в земляных песчинках кафель.

Коты, оказывается, завывали у соседней арки, в обдерганных, давно отцветших зарослях сирени, но внезапно иссиня-черная, как крыло гигантского лебеда, туча надвинулась, спрятав луну в пуховой подмышке, сразу на несколько ярких созвездий, так что внизу не мелькнуло даже белобрысого пятна какой-нибудь припозднившейся кошки. Наталья со вздохом вернулась в комнату и закрыла дверь. Весной с верхнего этажа вместе с таявшим снегом на деревянные перила стекала собачья моча, и теперь в теплой, по-южному надушенной ночи ей чуялся мускусно-уксусный гадкий запах.

Осторожно обойдя кровать, она вышла из спальни и, как бы со стороны отметив про себя бесстыдную легкость голого тела, направилась в комнату дочери. После отъезда детей она везде как следует прибралась, разложила и расставила всё по своему вкусу, но комната не подчинилась, осталась чужой как... в гостинице перед завтрашним ранним отъездом. Тем лучше. Она распахнула окно и, помедлив — сломанная наискосок тень соскочила в черную крону тополя, закачалась преувеличенная уличной лампочкой ветка на подоконнике, — села, выпрямив до предельной строгости, как на неудобном казенном стуле, спину. Одна, навсегда одна. Только бы пережить эту ночь, и коты как назло походили с ума, украли луну. Яу!!! Кто-то, как она, беспокойный, из дома напротив метнул в сиреневый палисадник копьё. Затем, судя по звуку, пару вялых, с отросшими бледными ростками картошек, они, не долетев, шмякнулись об асфальт.

Сестра

Лаура, почти не таясь пестрой змеиной шкуркой, только чуточку приседая на задние лапы, подошла к сброшенному сверху предмету. То, что это не горшок с цветком, было ясно с самого начала, скорее всего какая-нибудь ненужная вещь, иногда люди от них таким способом избавляются. Однажды с трудом протиснутый в окно, вывалился с жутким шумом, ломая сучья и сшибая листья, и грохнулся наземь холодильник, потом на ветвях тополя повисло несколько пришедшихся не по сезону вещей (она подробно обнюхала воняющий прелой овечьей шерстью свитер, он до сих пор там висит и еще, кажется, женская кофта), а в какой-то пасмурный день с радостным «а-а-а» шагнул в упругий воздух человек. Лаура не стала к нему подходить, поскольку и издалека видно было, как сильно он расшибся и громко, требовательно звал, выдыхая проспиртованные стоны, а она этого терпеть не могла, и вообще незачем прыгать с пятого этажа, если не умеешь правильно упасть. Правда, она один раз тоже преобольно ударилась подбородком о жесткий ледяной настил на сугробе, когда хотела убежать из дома... нет, когда поскользнулась на заиндевевших под снегом перилах и стремглав полетела головой вниз, в набросанный дворником сугроб между двумя почерневшими от мороза березами. Она хорошо помнит, как обрадовалась, что падение вышло случайно, и за доли секунды согласилась сама с собой оставить так, как есть, а не приземляться на лапы, и даже наметила чугунную крышку теплоцентрали, с нее люди подкармливали хлебom ворон.

Попад в огромный, с жесткой грязной коркой поверху сугроб одновременно четырьмя лапами, Лаура некоторое время посидела в нем молча, а потом спряталась в нишу подвального окна лицом к улице. Падал крупный, по-

хожий на мелкие птичьи перышки снег, из подвального нутра тянуло теплом и влагой, местами слышался разогретый мышинный дух, задние лапы и попа согрелись, а уши, наоборот, заалели и нос покраснел. Проходившая мимо женщина взяла хорошенькую черепаховую кошечку с белой мордочкой с собой в магазин. Там Лаура прожила пару месяцев в витрине, среди нарисованных на стекле окорочков и сметан, бутафорских овощей и фруктов, как в жаркой оранжерее,— бездумно и скучно, поправилась, пока за ней не пришла хозяйка, чтобы забрать домой. Лаура особой радости не выказала и от ароматных кошачьих консервов отвернулась: она не была уверена, что хотела возвратиться сюда после всего, что они сделали.

Дело в том, что, когда была жива старшая хозяйка, а Лаура превратилась, как и обещала котенком, в гладкошерстную красавицу с ослепительно белой манишкой и белой маской на мордочке, с четырьмя узкими полосками вдоль позвоночника и китайской вязью по серо-синим гладким бокам, изо дня в день развлекавшуюся тем, что не разрешала голубям отдыхать на подоконниках, у нее появился младший брат. Так как мама, ворчливая кошка Мурза, вскоре умерла, спрятавшись в кладовке за мешком с картошкой, то братца оставили, назвав Ураном в насмешку над непомерно круглой и крупной для хилого тельца головой. Через несколько месяцев, однако, Уран преобразился в необычайно привлекательного молодого кота; телосложение выправилось до соразмерности среднего сиам, то есть не больше обыкновенной кошки, однако стать и упругость, замечавшиеся в прыжках и походке, указывали на славного силой и ловкостью среднерусского праотца. Особенно хороши были на круглой и щекастой, как у любого васьки, темно-коричневой морде прозрачные бледно-голубые глаза и прелестные, как у птицы, черно-белые вкрапления на постепенно светлеющем до палевого затылке. Он не был ни нелепым, ни глупым голенастым подростком, и сердце Лауры дрогнуло, она стала заботиться о нем как мать.

По крайней мере они так думали. Она подставляла ему пустопорожний сосок, и подросший озорник жадно набрасывался на розовый кончик, от смеха давясь и прикусывая его тоненькими зубами, или тянул, упершись коричневыми до самого локтя лапами в мягкое сестринское нутро. Она сама, несмотря на его вполне самостоятельный возраст, продолжала мыть брата, тщательно вылизывая веселую круглую мордочку, пальчики с черными кожаными подушечками и хрупкими, еще детскими когтями. Лауре нравилось, повалив одного с ней веса и роста братца, вымывать в поисках воображаемых блох мягчайшую и одновременно твердую, как камень, который осенью использовали для капустной закваски, густо-палевую грудь: «Какой же ты, Уран, грязнуля, вот здесь, под подбородком, прилип сладкий геркулес». Спали они вместе, не очень-то помещаясь в старой, пахнущей чем-то жухлым корзине, снаружи обыкновенно торчали две или три лапы. Но если кто-нибудь из домашних, прельстившись сонным теплом, совал, чтобы погладить, в корзину руку, то встречал две пары недоумевающих глаз, лимонно-желтые и прозрачно-голубые, при этом кончик хвоста Лауры начинал раздраженно дрожать. Если одному хотелось пить, то другая, цепляясь когтями за паркет, потягивалась от передних лап до хвоста и обратно, тащилась на кухню вслед, чтобы лакнуть пару раз или просто посидеть рядом, зевая во весь розовый, с горбатым муравчатый языком и ребристым, как скелетик у рыбки, небом рот.

Они почти никогда не ссорились, однако после того, как Уран окончательно вырос и только длинные худые лапы с широкой ступней выдавали его юный возраст, между ними стали происходить необъяснимые, глупые стычки. Тогда-то Лаура и поняла, что это любовь, и все сразу встало на свои места, потому что Уран догадался еще раньше, но крепился, не метил углы.

Теперь от одного терпко-сиамского запаха ее шерстка искрилась электричеством, и он тоже притворялся, старался быть грубым, а сам тосковал по Лауре, страстный, стройный красавец, как только за хозяйевами закрывалась дверь.

И все-таки их застали. Рано или поздно такое должно было случиться, они стали неосторожны, не спрятались за галошницей, а расположились прямо перед ней (запах человеческих ног и земляной пыли). Оба, конечно, слышали шаги и звук открываемого замка, но... Уран получил пинок, а Лаура даже не оглянулась, ушла и неделю ничего не ела, пока их держали в разных комнатах и Уран царапался в стену и орал, ох, как он кричал, а она молчала, только отворачивалась от еды, когда подсовывали под самый нос.

Когда Лауру выпустили, она не пошла его искать, зная: его не просто отдали в чужие руки, ему поменяли имя и увезли далеко-далеко, где он навсегда останется сиротой.

Хозяйева сказали: «Инцест», — а сами того не замечали, что творилось в детской комнате, закупоренный воздух которой был пропитан чем-то острым и резким, где взрослая сестра (Лаура точно не знала, сколько ей лет) затевала подозрительную возню с раскрасневшимся, шумно пыхтящим в молчаливой потасовке братом. Затем девушка ложилась на зеленый палас, облокотившись спиной на сброшенные с дивана подушки, и поощряла своего младшего, с острым веснушчатый личиком и нехорошим любопытством в прикрытых глазах братца гладить и ласкать ее груди, бедра, похикивая мелко, как от щекотки, а в последний момент отталкивала, гнала его прочь из комнаты.

«А если дети увидят?»

Они с пеленок ненавидели друг друга, эта человеческая парочка, а Лаура сходила с ума от младенчески чистого дыхания ее мальчика, и если бы у них родились котята, то не было бы никакого беспокойства — Уран бы их съел... И если раз в два месяца она утробно кричит, то кричит от любви, от отчаяния, а не от похоти. Ей теперь все равно, тот ли старый Маркиз или новенький (правда, она его не разглядела, отвлекшись на перебранку ворон), в этом она похожа на проблядушку Марусю, но, что поделаешь, такова сила ее безразличия. Наверное, лучше бы она дала себя загрызть той огромной овчарке с мутным и страшным, словно слепые бельма на глазах, взглядом, но эта нестерпимая вонь из звериной пасти!.. В последнюю минуту Лаура спаслась, вспрыгнув на цветущее вишневое дерево, перебралась на самую надежную и корявую ветку подальше от глупой волчьей морды, на которую облетали, розовато мерцающая, нежные лепестки...

Память

Анна Григорьевна затворила, заперев на шпингалет, окно — любой неожиданный в полуночной тишине звук отвлекает, мешая сосредоточиться, но гардиной занавешивать не стала. Ей нравилось, сидя за мужниным письменным столом, разглядывать свое отражение напротив: дама в очках с полными покатыми плечами, строгий наклон головы, перед ней пасьянс из конвертов и писем, видна даже неправдоподобно пышная роза на почтовой открытке. А вот бронзовая чернильница и настольная лампа отпечатываются на беззвездном стекле в полцвета, нечетко. Два часа ночи, все спят.

Днем так никогда не получается, мешают домашние дела, неотвязные хлопоты — то квартиру прибрать, антикварную пыль со всех этих завитушек и львиных ручек смахнуть, то холодильник разморозить, кладовку разобрать. Эх, была бы она помоложе, работа так и кипела бы, не то что у деревенской прислуги, а теперь что, возраст. К тому же соседки без конца трезвонят, та-

кие же, как она, пожилые, деятельные: там сыр уценили со вчерашнего дня, а в зеленом магазине гречка продается дешевая. Анна Григорьевна честно пробовала несколько раз усадить себя за письменный стол до обеда или сразу после телевизионных новостей, однако не написала ни строчки, так, вывела пару затейливых вензелей, своих и академика-мужа, Царство ему небесное. Спыхватилась, что оплата за квартиру просрочена, надела пальто прямо на фланелевый халат, благо что близко, чуть в тапочках не ушла. А в другой день позвонила Елизавета Петровна рассказать, как от Аннушки муж к молоденькой ушел, и надо было утешать, сетовать, что это за мужья такие и жены, вот она за Глебом, Глебушкой, всю жизнь как за каменной стеной.

Конечно, теперь это ее прямой долг и отказываться она не собирается, тем более друзья-академики нет-нет да позванивают, интересуются, но днем мысли почему-то рассыпаются, как просо по подоконнику для воробьев. Лучше всего вспоминается под вечер за вязанием — петелька к петельке, изнанка — лицо, Глеб Аркадьевич любил простую пищу и вообще был в быту неприхотлив, ходил носками наружу, отчего из стороны в сторону раскачивался и обувь сильно снашивал вбок, потому как от положенной ему машины отказался из соображений здоровья... Ну вот, сбилась и петли лишние набрала, это же детский чепчик, а не кружевная салфетка. Даром что внучке семь лет и она предпочитает бейсболки, Анне Григорьевне так понравилось вязать крючком младенческие шапочки, что она мастерит их, украшая атласными лентами, почти не переставая, впрок. Когда-нибудь она соберет в коробки все эти тонкосплетенные залежи и продаст; продаст слононогую и льворукую, пахнущую от полироли пчелиным воском мебель и уедет к своей бывшей кухарке в деревню дышать яблоневым воздухом и пестовать укропный урожай. Ах, какие душистые они станут мариновать огурчики, с листом молодой смородины и зубчиком чеснока!

Конечно, не раньше, чем напишет мемуары о своем знаменитом муже, это ее долг, все говорят. Она наклонила голову так, чтобы в оконном стекле, наложенном на глухую уличную амальгаму, стал виден в три четверти низкий, сложенный из заплетенных волос пучок; вытащила несколько шпилек. Косица рассыпалась худая, с незакрашенной проседью и завитком на конце. Анна Григорьевна почесала шпилькой уставший затылок — с таким же удовольствием Ниса, статная, очень рослая догиня, ерзала лоснистым, как богатая котиковая шуба, боком об дверной косяк.

В доме напротив, нарушив портретную уединенность, зажегся и тотчас погас свет — у строгой дамы над бровью появилась и исчезла блестящая бородавка. Под ветром тревожно, как в дождь, заходили, зашумели деревья, наконец-то очистилась от шелудивых туч луна, и сразу заорали коты. Примерно так же кричали две милые кошечки с нижнего этажа (Анна Григорьевна заметила их, когда поливала выставленные под яркое, почти летнее солнце герани и фикус), если хозяева уходили надолго, так бедняжки были к людям привязаны, что не могли находиться одни. Год назад эти концерты, слава Богу, окончились, но работать над мемуарами все равно сподручнее по одиноким, вдовьим ночам.

Глеб, умница, академик, семьянин, каких не бывает, они жили с ним душа в душу, путешествуя так часто, как только могли, — умер на дачной платформе осенним дымчатым утром от сердечного приступа. Спешил к ней и дочери завезти перед ученым советом корзину последних, с холодными, крепкими шляпками грибов, аккуратно заложенных березовыми гибкими ветками, и вот уже десять лет, как она вдова. Анна Григорьевна с нежностью потянула к себе фотографию в крапчатой, словно засиженной мухами, деревянной рамке, взяла в руки мужнино крупное лицо. Веселый взгляд исподлобья, губы узкие, слишком зализанный лоб — чем пристальнее она смотрит, тем меньше его уз-

нает. И, чтобы вконец не расстроиться, пододвигает другой портрет — преданные и ласковые, такие родные глаза.

Разумеется, она могла заново выйти замуж, но существовало одно обстоятельство, которое удерживало. Уезжая в отпуск, знакомая оставила на месяц Анне Григорьевне собаку, красавицу-догиню. Они с Нисой были знакомы и прежде, и прежде ее восхищала мускулистая грация, достоинство герцогини, с которым догиня поворачивала породистую голову, перемещая вежливый взгляд с одной собеседницы на другую. Отдавала Анна Григорьевна собаку обратно хозяйке со слезами на глазах, и уводимая Ниса без конца оборачивалась, рискуя свернуть горделивую шею, на ставшую такой знакомой двустворчатую дверь, ведущую в просторы квартиры с большой ванной, выпрыгивая из которой после мытья лап, не ударяешься лбом в кафель, потому что ванная комната огромная и с окном, под которым стоит фикус. Ниса его обнюхала, но оставлять визитную карточку не стала. Что-то ей подсказывало, что она сюда вернется, и действительно вернулась после того, как хозяйка решила уехать в Америку навсегда. За ней еще не захлопнулась дверь, как Ниса радостно промчалась, скользя когтистыми лапами по паркету (Анна Григорьевна вывесила на весенний штормовой ветер тяжелый бухарский ковер), по всем комнатам и расцеловала новую хозяйку в лицо, руки, открытую шею. Та смеялась, чувствуя, что тоже очень, очень соскучилась по четвероногой подруге и что теперь все будет хорошо и она сумеет пережить эти первые, густо-лиловые, как драпировка на Глебушкином гробе, месяцы одиночества.

От природы обладая счастливым характером, Анна Григорьевна уже через пару недель искренне радовалась проделкам и играм Нисы на прогулках, правда, немного волновалась, что в один прекрасный момент не сумеет справиться с этой-то махиной, и наматывала на руку покрепче поводок. Словно разделяя ее опасения, на них многие оборачивались: коренастая, с простым лицом пенсионерка и роскошный, мшисто-серый дог с белым атласным галстуком на шее и сползшей на кончики пальцев манжетой. Собачники довольно скоро приняли Анну Григорьевну в свой круг и научили, как можно дешево и полезно питаться собаке, но все равно она Нису непозволительно баловала, та съедала большую часть пенсии, размашисто облизываясь, и с виноватой признательностью заглядывала в глаза.

Единственное неудобство, связанное с собакой, возникло во время болезни Анны Григорьевны, когда с Нисой не всегда было кому выходить, но и эта проблема сама собой разрешилась. По счастью, стояла снежная, морозная зима, и Ниса по ее маленьким делам охотно шла на длинный, вдоль кухни и столовой протянутый балкон. После такой прогулки собака приносила в закупоренную от сквозняков спальню свежий морозный дух и запах собственной шерсти, ложилась, вытянув со стуком передние лапы и сунув голову под кровать, охая и вздыхая, а иногда начинала храпеть. Анна Григорьевна бормотала сквозь сон, чтобы перевернулся набок, и мяла рукой подушку.

Дело в том, что в свои «возле шестидесяти» Анна Григорьевна сохранила некоторый вкус и не угасшие за годы вдовства желания; особенно после ванны, распарившись и вдоволь намывшись, когда ложилась в свежую, с отдушкой из земляничного мыла, но, увы, пустую постель. Разумеется, к опрятной, обеспеченной, по-женски еще очень крепенькой вдовушке, единственный недостаток которой скрывался в пристрастии к юбилейному сыпучему печенью — она ела его и ночью, и днем, страдая гастритом, сватались не однажды, но всякий раз дело заканчивалось ничем. По татарскому строгому обычаю (а Анна Григорьевна была татарка и соответственно женихи тоже) не следовало держать собаку, даже такую умную и породистую, как Ниса, под одной крышей с людьми.

Дошло до того, что в один из дней, провожая за дверь самого авантажно-го из семи посватавшихся, но чересчур правильного татарина, Анна Григорьевна, еще не согнав с лица невольной счастливой улыбки, попробовала-таки представить, как нелепая в своей длинноногости, чудесная Ниса, сосланная в дощатую будку, играет с местными лохматыми оборвышами, носится по глубокой деревенской пыли, хлопая нежными ушами, или плетется, понурая, за стадом мычащих коров, вздрагивая всей кожей от ударов пастушечьего хлыста. Весь вечер, стоило зацепить взглядом собачью миску или резиновую кость, несчастная женщина принималась плакать и даже гулять с ней не пошла, попросила соседского мальчика.

«Ну что же, — окончательно рассудила Анна Григорьевна, намотав на палец носовой платок и вытирая им вокруг глаз, может, так оно и к лучшему, — На тебе, Гриша, рубль, а ты, Ниса, не смей под кровать». Зато теперь ей никто не помешает мемуары о Глебушке сочинять.

...И вообще — она макнула в высохшую чернильницу перо — разве новый муж позволил бы вот так просиживать за работой до самого рассвета, когда птички спросонок начинают радостно щебетать, без конца перебирая Глебушкины ученые бумаги и вызывая призрак догини Нисы, весело гоняющий по двору ворон? И никто не мешает, не требует в кабинет свежего чая, только часы мирно тикают да на исходе ночи выходит мышь и стоит, не мигая блестящими бусинками, посередине стола.

Анна Григорьевна совсем ее не боится, она хорошо понимает, что думают они в этот предрассветный час об одном — о юбилейном печенье с кусочком сыра на краю письменного стола.

Адонис

Адонис даже не заметил в густых, жухлой пижмой подванивающих зарослях кошку, из-за которой усатый кот с рваными по краям ушами, собственно, и навязал ему драку, но отказываться не стал, хотя это было глупо. Что делать, с тех пор, как он вернулся и вышел на улицу, приходится постоянно доказывать, что если ты голубоглазый и палевой, с темными лапами, масти, то вовсе не обязательно, что сиам. Вот и шерсть у него такая же плотная, как у того кастрата, с которым он в первый свой выход столкнулся на лестнице и от неожиданности подрался, стыдно потом было ужас как. Но он большую часть жизни провел в деревне, куда от зловредного городского воздуха увезли младшую дочку, до спазмов кашлявшую по ночам, — зимой на печке, летом на воле — и понятия не имел, что бывают такие огромные и вместе с тем пустые коты. Конечно, там тоже поначалу складывалось все непросто: как именно, он точно не помнил, но мыши!.. Их запах щекотал ноздри, а попискивание довело бы до испуга и более искушенного, нежели он, в охотничьих забавах кота.

И все же свою первую мышь Адонис достал дохлую из отстегнувшейся мышеловки, и хозяйская девочка, побаявав ее на ладони и вдоволь поласкав, уложила бедняжку в кукольную кровать. Немного погодя он тоже научился с ними играть, очень весело: мышь думает, что спасется, убежит, и он так думает, и в то же мгновение хватать, и снова отпустит, а в груди азартный холодок, и хвост от восторга подрагивает. Убивал Адонис мышь в последний момент нечаянно, принесил девочке в кровать, она в отличие от бабуски зверушек этих не боялась, а гладила по мертвой, немного помятой, но целехонькой шкурке, приговаривая: «There was a young lady of Niger, who went for a ride on a tiger...»

Однажды мыши в избе кончились, и Адонис заскучал, уткнувшись носом в ватную ветошь, напрасно прислушиваясь с печи. Подъедали старую, скрипучую, однако державшуюся при людях прилично мебель древесные жуки, ино-

гда из пакли между бревен выпадала на пол ожившая муха и долго жужжала по кругу, пока не принималась летать. По ночам кряхтели столетние бревна, шелестел от печного сквозняка пепел, цельным сугробом ухал с крыши снег, кто-то деликатный просился в окно, но ничто, кроме запаха, не напоминало о мышах. Особенно сильно пахли приносимые из сарая поленья, и Адонис, выбрав удобный, с утра пасмурный день, незаметно проскочил в выхлопывающую талым холодом дверь и торопливой трусцой по скользкой от воды дорожке направился напрямиком туда.

Сарай был огромный, кривой, сколоченный словно наспех, с большими щелями, через которые сильно дуло, и множеством закутков и пристроек, откуда доносился мышинный крепкий, но нежилой дух. Вокруг высоких тонких стропил фальцетом завывал ветер, расшатывая без того хрупкую, как остов гигантского комара, постройку. Адонис чихал не то от сырой дровяной гнили, не то от засохшего птичьего помета, на усах висла прошлогодняя паутина, и, когда он возвращался в избу, приходилось очень подробно вылизываться, после чего его рвало на кресле, покрытом ковром.

«Ладно. Скоро весна, и травка, не успеешь оглянуться, появится. Он будет ее кушать и поправится»,— успокаивали расстроенную дочь приехавшие на выходные родители: мужчина с нервной, опасной жестикуляцией рук и, главное, ног, его рубашки под мышками пахли остро-притягательно, и женщина с теплыми коленями, плавно переходившими в упругий и мягкий, будто набитый отборным пухом живот.

Следуя этому совету, Адониса стали выводить на крыльцо под весеннее прохладное солнышко с порывистым, словно трепыхание крыльев первой осторожной бабочки, ветерком; спустя несколько дней позволили ступить на робкую сквозь сухую бурю листву траву под безудержную переключку и ругань расшумевшихся птиц. Целебные стебли он вроде разнюхал, но так и не поел, а, присев на четыре лапы и вытянув наподобие черепахи ставшую плоской голову вперед, чрезвычайно серьезный бродил все расширяющимися кругами по двору, по мятым после зимы клумбам, по замершему в нетерпении саду. Не отвлекаясь на окрики, Адонис уходил на зады огорода и дальше, в обход деревни, окрест. Там он научился ловить и есть, хрумкая вывихнутыми лапками, кузнечиков, лазать по шершавым яблоневым стволам, и только однажды, когда он разгуливал по усыпанному теплыми иголками краю соснового леса, выскочивший из густого черничника охотничий пес загнал его высоко на ровное, без сучков дерево, откуда Адонис все не решался спуститься, хотя хозяин сразу отозвал брехливого пса, решив, что тот напал на деревенскую курицу.

Результатом усадебной юности стала привычка Адониса находиться на свежем воздухе, тем более в городской квартире было тесно двигаться и плохо дышать. Его, правда, поначалу не пускали на улицу, боясь, что заблудится на асфальтовых тропах, потеряется в колодцах-дворах, но он прошмыгивал в дверь вместе с чьими-нибудь ногами, выпрыгивал через незапертую форточку, и им поневоле пришлось признать его право на прогулки. Конечно, после таких променадов приходилось тщательно мыть лапы, выгрызая между пальцев всякую прилипшую, вроде липовых почек, дрянь, иначе девочка не пускала на белую, в мелкий цветочек постель.

По-своему они оказались правы. Он уходил от дома все дальше и дальше и как-то, проследив полет упорхнувшего между лап воробья, наткнулся на первого своего противника — кастрата, сидевшего в клетке, выставленной в форточке первого этажа. Вполне возможно, что прошлый его конфуз случился именно оттого, что он попросту не видит, не чувствует всех этих кошек, пушистых и лысенких. Даже когда Маруська, красивая сибирская кошечка, возвращаясь поутру, разлеглась, призывно урча, перед ним, потягиваясь и извиваясь, он спокойно отвернулся от развратных зеленых глаз, прыгнул с подоконника

на ковер. И теперь он нарочно подальше убежал, чтобы Маркиз не дразнил, что трус, но ему действительно не нравится по несколько часов кряду стоять в боевой позиции, угрожающе завывая, чтобы потом — бросок и боль. Разумеется, он все равно победит седоусого ради той, в млечных пятнах, в кустах, но какая странная, однако, городская жизнь. Взять хотя бы тот силуэт на помойке: огромная, с хорошего теленка собака, стоя по колено в мусорном баке, ищет жратву, а мимо, как ни в чем не бывало, пробегает... пробегает втрое увеличенная мышь!

Внезапно вывернувшийся из-за угла свет фар ослепил, оглушил Адониса, изъязв из глубокой, исступленной сосредоточенности, мира тончайших колебаний и неслышных звуков — но уже как труп. Его перенесли, похоже, в запоздалом раскаянии или чтобы не мешал, к краю дороги, и задохнувшийся было от содеянного мотор заурчал вновь. Автомобиль медленно, как в похоронной процессии, двинулся прочь, задумчиво объезжая выбоины в асфальте и крышки водопроводных люков.

Супруги

Наталья очнулась от громкого неприятного звука, вроде хлопка, и поежилась, потеряла, скрестив руки, себя за плечи; закрыла окно. В небе, словно после большой драки, плыли прозрачные, похожие на перья черного лебедя облака, а луна повисла совсем рядом, у виска: на ней видны нежные синие тени и голый Натальин силуэт. Как гигантский немигающий глаз, фиксирующий всякий ее жест, движение, самую сокровенную мысль... Ее передернуло от холода. Нагло высвеченная, словно главная драгоценность на затылке атласом прилавке, Луна продолжала таращиться, немного, впрочем, отодвинувшись. Наталья задернула как можно плотнее шторы и, выпив, не зажигая на кухне света, воды, вернулась в кровать к мужу, который теперь не сопел, а свистел носом тонко и грустно, как под ветром раскачиваемые качели. Она растеребила одеяло, которым он со всех сторон подоткнулся, и легла рядом. Прижавшись к теплому крепкому телу, поцеловала его под лопатку и, обхватив сзади руками, мгновенно уснула.



Власть, церковь, свобода

Выступая на международном симпозиуме «Религия в современном обществе», председатель отдела внешних церковных сношений Русской православной церкви митрополит Кирилл высказал следующую доктрину церкви: «Церковь должна быть лояльна к власти, а святая обязанность всех христиан — молиться за нее», т. е. за власть.

Что касается отношения церкви к власти — Бог с ней, это ее дело и ее проблемы. Но вот вторая часть доктрины — настораживает и наводит на грустные размышления, особенно в свете политических завоеваний последних лет, конституционного закрепления прав и свобод человека, в видении государства как демократического и правового.

...Извечная дилемма — свобода и порядок — с некоторой периодичностью возникает в нашей истории. И сегодня она вновь вошла в российский дом. Эта дилемма довольно неожиданно стала актуальной в нашем обществе, которое, хлебнув свободы в последние десять лет, наверное, устало от неисчерпаемого многообразия проблем, свалившихся на него, от сложности и ответственности, которые привнесла свобода в его жизнь, и общество затосковало по порядку, который освободил бы его от необходимости всякой мыслительной работы. Это удобно, это привычно, так было семьдесят с лишним лет. Подобные настроения отразились и на последних выборах в стране. Однако ростки свободы и демократии в обществе уже осязательны. Набирает силу местное самоуправление, обрели самостоятельность регионы — края, области, республики. Многие научились мыслить и жить самостоятельно, без указки из центра. Результат налицо — резко стал меняться баланс между регионами-донорами и регионами-дотационниками, наращивают активность частные и акционерные предприятия. Особый вкус свободы почувствовали люди творческие, хотя их участь в материальном плане оставляет желать лучшего. И все же, когда недавно я разговорился с одним крупным писателем, который долгие годы работал над мюномготомником об исторических истоках России, он признался, что если бы не 90-е годы, он никогда бы не написал книгу так, как написал. И потому, невзирая на все трудности, он все-таки глубоко удовлетворен тем, как меняется жизнь.

К сожалению, не все задуманное получилось. Много в эти десять лет было разрушительного, трудно идет созидание. Краткий период надежд сменился растерянностью у одних, угнетенным состоянием духа у других, нарастающей агрессией — у третьих. Война в Чечне, колоссальный разрыв между богатыми и бедными (это соотношение по доходам десяти процентов богатых к десяти процентам бедных достигло фантастической цифры сорок, тогда как в нормальных странах оно колеблется от четырех до десяти), огромное количество людей за чертой бедности, коррупция и насилие чиновничества, вросшая в нас еще с коммунистических времен двойная мораль, потеря нравственности — все эти негативные издержки преобразований последних лет сделали свое черное дело. Сложившаяся ситуация побуждает к напряженному поиску ответов на многочисленные назревшие вопросы. Но настораживает то, что власть по-прежнему ищет примитивные ответы на сложные вопросы жизни. Ответ ее прост: нужен порядок в стране. Какой и какими средствами, — это для многих почему-то вопрос второстепенный. Приоритеты государства вновь объявляются важнейшими и первичными. Зазвучали слова «держжава», «сильное государство», «патриотизм», а вот человек, его проблемы, его жизнь — вновь подчиняются интересам государства. Мне, однако, видится другой порядок: правовой и — это главное — не только без ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, но, наоборот, с приоритетом прав и свобод, находящихся под надежной защитой государства.

Сегодня не только власть покушается на свободу личности, видимо, полагая, что только ей дано понять, куда и как двигать общество, что и как делать людям. Получается, что на свободу покушается и церковь, которая считает, что нужно молиться за власть. И не хотелось бы, чтобы церковь с такой идеологией вошла в образование именно в переходный период, в период гражданской неустойчивости. Наверное, хватит нам тех страдальческих лет, когда в ответ на молитвы власть уничтожала покорно молящихся за нее. Я далек от того, чтобы признать нынешнюю власть способной сотворить это. Однако историю нельзя забывать, и в этой связи хочу привести слова писателя Анатолия Ананьева: «Власть — это сильнейший наркотический препарат, которого всегда не хватало и будет не хватать однажды приобщившимся к нему избраным ли, наследным ли коронованным особам, ибо, чем больше доза та-

кого наркотика, то есть власти, тем сильнее возникает желание приумножить ее. События эпох показывают, что процесс этот неостановим, а пути движения неисповедимы и хамелеоны, и, сколько бы человечество ни прилагало усилий, оно будет попадать из ловушки в ловушку, пока не научится преграждать путь этой экспансии или, во всяком случае, не найдет средство вовремя распознавать и действительно защищаться от нее».

Единственное средство защиты от экспансии власти — создание гражданского общества, просвещенного и образованного, впитавшего в себя не исковерканную и лживую историю, а ту историю, ту культуру, которые учат независимому мышлению и разумному диалогу с властью. Конечно, в этом плане история христианства, на которую было обворовано несколько поколений россиян, неоценима и должна войти в храмы просвещения вместе с другими современными науками.

И хотя Россия — страна многоконфессиональная, православная традиция в течение более тысячелетия была у нас господствующей. Интерес к ее истокам, мудрости и заветам предков, к духовной сокровищнице христианства, морально-этическим ценностям — на основе современного научного осмысления — необходим и для духовного возрождения России, и для просвещения. Вопрос «Кто должен привнести это в храм науки?» далеко не праздный.

Церковь наступает на государство, требуя обязательного обучения предметам религиозного воспитания в школах и институтах. Но государство слишком громоздко, чтобы доверять ему поощрение морали и духовности. Ему доверяют бюджет, дипломатию, разведку и контрразведку, карательные функции. В экономику государств пускают лишь от полной безнадежности — как у нас, когда в стране дикая отсталость и страшный кризис. Однако в культуру и мораль государству путь должен быть заказан, ибо, как показал горький опыт XX века, не экономика и политика выстраивают культуру, как полагали большевики, а культура выстраивает адекватные себе экономику и политику. Вне норм нравственности благосостояние в обществе возникнуть не может. И навязывание веры должно быть исключено. Ни учитель (в государственной школе), ни врач, ни тем более администратор (а мы видели разных администраторов — и интеллигентов, и циников) не имеют никакого морального права принудительно навязывать не только конфессиональную ориентацию, но и обращение к вере. Конечно, курс истории мировых религий и сравнительного религиоведения полезен, но доверять его необходимо в силу многоконфессиональности в нашем многонациональном государстве лишь светским преподавателям.

В начале этого десятилетия мы возлагали большие надежды на духовное возрождение общества через религию, ее историю, мораль, нравственность. Однако не получилось. К сожалению, не получилось. Почему? Вопрос не простой, требующий анализа и честного ответа. Ответ на него в какой-то степени дает статистика: по прогнозам к 2006 г. в мире станет больше: христиан — на 27%, мусульман — на 33%, индуистов — на 7%, атеистов — на 7%, безразличных к религии вообще — на 27%, **приверженцев нетрадиционных религий (сект) — на 67%**. Это говорит о том, что в конфессиях основных религий что-то неблагополучно. Может быть, в православной церкви это чванливость и бездушие чиновничества плюс недавнее прошлое, не располагающее к доверительным отношениям, в мусульманской — чеченский терроризм, унесший тысячи жизней и наводящий ужас в обществе, который под свои знамена берет ислам, поощряемый якобы мусульманской верой.

Нынешняя разруха в стране и люмпенизация населения — феномен не столько социально-экономический, сколько культурный. В основе его лежит отторжение народа от собственной культуры, от норм и традиций, его целенаправленная дезориентация. Главное средство борьбы с этим — возрождение нравственной основы жизни.

Сегодня, когда власть заговорила о порядке, а мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, что ДА, нам нужен в стране порядок, но такой, при котором личность находилась бы под защитой Закона. Как сказал наш прекрасный философ Григорий Померанец: «Свобода — это порядок, в котором личность находится под защитой Закона! И это еще не все. Это еще внутренняя собранность, внутренняя форма личности, не нуждающаяся в понуждении. Свобода органически связана с Достоинством и Мастерством. Свобода — это образ жизни Мастеров, а не босяков!» Я полностью разделяю эти мысли и думаю, что, если президент хочет наводить такой порядок, мы в этом ему должны помочь и поможем. Исходя из этого мы все должны объединить свои усилия — и власть, и религия, и школа, и интеллигенция, чтобы еще раз не исковеркать душу человека, не толкнуть его в люмпенизацию, а дать ему возможность через свободу, через защиту его личности, его прав обрести мастерство и внутренние побуждение и потребность обеспечивать богатство своей семье, будущим поколениям, своему государству.

Я уверен, что для противостояния хаосу, агрессии, различным духовным эпидемиям, для созидательного труда и созидательной жизни сегодня необходима мобилизация всех культурных ресурсов, включая и позитивные научные знания, и огромное богатство нашей истории и культуры, и не менее ценный духовный опыт прозрений и интуиций, накопленный человечеством.

Столь же необходимыми бережная поддержка государством и обществом творцов культуры, ее хранителей. Государство нашло силы и возможность поддержать возрожденные церкви, и это правильно: за то, что оно же и сотворило, нужно расплачиваться, но еще надо найти в себе силы, возможность для поддержания культуры и ее создателей. Иначе, поспуясь сегодня, оно получит завтра общество манкуртов и может быть вычеркнуто вообще из мировой истории.

Письма с Чукотки

27 декабря. Лаврентия

Дорогая Валентина Федоровна!
Пересылаю наброски о поселке Лорино, находящемся недалеко от Лаврентия, у самого Берингова моря.

Туда собралась настоящая экспедиция из работников отдела образования — провести школу, интернат и детский сад. Загрузили в машину коробки конфект — Новый год все же — и пригласили с собой меня.

Добирались три часа, с остановкой. В самом Лорине пробыли столько же и вечером вернулись в Лаврентия. За три часа мало что узнаешь, но все же...

Сколько еще пробуду в Лаврентия — не знаю. До Нового года — точно. Может, еще напишу.

Дорога в Лорино

Если верить картам, других дорог на полуострове Дауркина нет. Сразу за Лаврентия она ведет в гору, и открываются такие просторы, каких я еще не видел. Впечатление усиливает отсутствие всего, что мешает всматриваться вдаль. Нет деревьев, кустов, нет ничего, что отбрасывало бы тень. Я не заметил ни одного острого угла, ни одной ломаной линии. Справа — плавные очертания белоснежных сопок, слева — невидимая дымчатая бесконечность: там, в нескольких километрах — кромка Берингова моря.

Солнце сияло, не было даже малейшего ветерка, мороз опустился ниже тридцати. Километрах в десяти от Лаврентия встретились двое чукчей. Они шли из Лорина, один за другим, на расстоянии ста шагов. (Мы из одной деревни в другую шли бы рядом.) Оба путника были в кухлянках и торбасах. На одном вязаная шапочка и солнцезащитные очки, а другой нес шапку в руках. От них исходил пар. Идти зимой по тундре — а путь в Лаврентия из Лорина занимает восемь-девять часов — опасности для них не представляет. В нашу сторону чукчи даже не посмотрели.

Скорость передвижения по зимнику не более сорока километров в час, что позволяет осматривать окрестности. Застывшее пространство всему придает уккорение, а на белом фоне фиксируется любое движение. Встречные собачьи упряжки промчались со скоростью, кажущейся бешеной. Так накатывается, с шумом проносится и исчезает скоростной поезд. Перебежавший дорогу заяц также показался невероятно шустрым. Здесь обитают еще полярные волки, которых лучше не встречать. Непонятно: где эти звери живут, куда прячутся? Все кажется открытым и доступным.

Ближе к Лорину находятся популярные в этих местах горячие источники. Возможность оценить тепло притягивает к лоринским ключам не меньше, чем

их целительные свойства. Окунувшись в серный кипяток, я нагишом прохаживался по тридцатиградусному морозу, обозревая сопки и прозябших школьных инспекторов.

Лоринские ключи — это небольшая инфраструктура из нескольких домиков, в которых можно отдыхать и лечиться, хотя обычно сюда предпочитают нагреть, ублажить себя и... исчезнуть. А для молодой чукчанки, которая здесь живет с трехлетней дочерью, ключи — место работы и полторы тысячи рублей зарплаты. Правда, денег она еще не получала. Раз в неделю ей привозят рис, ячневую крупу и хлеб. Других продуктов она не видит, но убеждена, что съедает больше, чем могла бы купить на зарплату. Возможно, вскоре здесь будет более насыщенная жизнь: рядом с источником строят парники, в которых собираются выращивать овощи.

Лорино расположено на высоком берегу и видно за многие километры. Кажется, что жизнь в нем должна быть невыносимой из-за ветров, штормов и метелей. Но все обстоит иначе. Здесь почти всегда хорошая погода и, что удивительно, нет ветра. Жители признают, что лоринский климат отличается мягкостью, спокойствием и совершенно не похож на лаврентьевский. Чукчи умели выбирать места для проживания. Когда-то на этом побережье находились поселки Мечигмен, Раупелян, Аккани и Яндагай, но по указанию властей их жителей согнали в одно место, чтобы создать совхоз. Этим местом и стало Лорино, разросшееся в крупный поселок, а от покинутых селений остались лишь унылые урочища. Сейчас уже никто никого не гонит. Жизнь в отдаленных поселках такова, что люди их покидают сами и в поисках куска хлеба переезжают в Лаврентия или Лорино. Происходит стихийное «укрупнение». Причем в Лорино стремятся больше, отчего поселок уже превосходит районный центр по числу жителей. В то же время отсюда выехали почти все русские семьи.

Алла Францевна

Меня проводили в школу, где проходил предновогодний праздник. Старая одноэтажная школа для начальных классов оказалась полна детьми и родителями. Ученики были до безумства возбуждены. Только что закончился карнавал, и они расходились по домам. Расходились... Они кучами вываливались из дверей школы и продолжали кувыряться в снегу. Одна такая куча прокатилась рядом со мной, на некоторое время распалась и застыла, отвлеченная моим фотоаппаратом. Затем фрагменты с еще большей яростью воссоединились и покатались в сторону. Тем временем из школы вываливалась новая куча... Каникулы!

Я был представлен учительнице русского языка и литературы, проработавшей в Чукотском районе сорок лет!

Алла Францевна закончила школу, затем Анадырское педучилище, Магаданский пединститут и вернулась в район. Вначале преподавала в ныне не существующем поселке Пинакуль, находившемся напротив Лаврентия, на другой стороне залива. Школа была небольшой, учителей не хватало, и Алла Францевна вела уроки сразу для четырех классов. Ученики садились в четыре ряда — с первого по четвертый класс, — и для каждого ряда преподавался отдельный урок. Кто, кроме самих учителей, сможет ответить, какого напряжения — умственного, душевного, физического — стоили эти «сеансы» одновременной учебы на нескольких школьных досках? А ведь в той пинакульской школе Алла Францевна была еще заведующей, завхозом и уборщицей. И было это, кажется, совсем недавно — в шестидесятых.

Теперь Алла Францевна отучила детей своих первых учеников и уже учит их внуков, но свои первые занятия, конечно, не забыла. Было немало такого, что приводило молодую учительницу в недоумение, заставало врасплох. Как-то она задавала загадку из учебника: «Семь одежек и все без застежек». Чукотские дети хором ответили: «Семь камлеек!» Камлейка — нечто вроде большой ситцевой рубахи без пуговиц, которую надевают поверх кухлянки. А капусту дети видели лишь морскую. Тогда Алла Францевна, подстраиваясь под их мировосприятие, диктует:

«Жили-были три охотника. Однажды они ушли в тундру. Двое потерялись. Сколько охотников вернулось?» Один из учеников встает и говорит: «Не может быть, чтобы в нашей тундре охотник потерялся. Мой дедушка пойдет и найдет».

У чукотских детей особое восприятие действительности, отличное от нашего. К ним нужен особый подход. И учебники должны быть особенными.

По словам Аллы Францевны, на русского учителя коренные жители смотрят как на старшего брата, который должен учить, помогать, содержать, лечить. Просто обязан! К этому их приучали с интернатов. И если что-то случается — они сразу бегут к учителю.

Алла Францевна живет одна. Кухонька, комнатка; паровое отопление, горячая вода. Отчего-то нет холодной... Почему одна да еще на краю света, не спросил. Главная беда в том, что не может выехать в отпуск. Все деньги уходят на еду. Цены в Лорине еще выше лаврентьевских: доставка килограмма груза из Москвы в Анадырь стоит пятьдесят рублей, из Анадыря в Лаврентия — еще двадцать пять плюс разгрузка, добавим десять — пятнадцать за доставку в Лорино. Кто же повезет сюда книги? А уехать с Чукотки насовсем Алле Францевне не к кому. И все же лоринскую учительницу больше заботит то, что происходит не с нею, а вокруг.

«На медицину и образование денег жалеть нельзя. Погибнем! Сейчас нет средств посылать детей на учебу. А по конкурсу наши ученики в вузы не пройдут. Значит, у них нет перспективы. Ведь здесь работы нет. Что им делать? Остается пить. А лечение? Они же болеют и умирают, а лечить нечем. Сейчас может вновь начаться эпидемия туберкулеза. Столько лет боролись, вложили столько средств, столько труда, а туберкулез опять на пороге... Почему наше здравоохранение в таком загоне? На днях слышала, как один чукча пел под нос: «Я сегодня голодный и злой. А когда я пьяный — я добрый». Впечатление жуткое... Безработица и безденежье угнетают. Хоть бы наладили производство корма для собак или кошек из остатков морского зверя. Ведь надо хоть чем-то занять людей...»

Еще Алла Францевна сказала, что, когда в школе какой-нибудь праздник, туда вместе с учениками приходят и родители. Они становятся у стенки и молча смотрят на детей.

Роман Александрович

Основу жителей Лорина составляют чукчи — потомки охотников на морского зверя и сами тоже охотники. Но главный зверобой здесь — русский. Он промысловый инженер и, кроме того, ведет кружок в школе: учит детей охотничьему промыслу. У Романа Александровича в подчинении пять бригад, по восемь человек в каждой. Охотятся на серого и гренландского китов, на моржей и на лахтака.

Роману тридцать лет, он крепкий и здоровый, но, если встретишь его в Москве или в Санкт-Петербурге, ни за что не определишь, что он занимается рискованным делом в Беринговом море. Роман — из Красноярска, служил в армии на Чукотке, женился на чукчанке и остался здесь жить. Вскоре у них родился сын. В 1995 году у жены случился инсульт и она умерла. Роман один воспитывал сына. Потом женился во второй раз и вновь на чукчанке. Сейчас сын учится в школе и посещает занятия кружка, которым руководит отец.

Когда я спросил, чем отличается чукчанка от русской, Роман смутился и ответил, что людей по национальности не делит. Потом все же отличия нашел. По его словам, чукчи мыслят иначе. Роман считает себя неплохим шахматистом, но чукчам нередко проигрывает: у них особый, нестандартный склад ума. Что до женщин, то их отличает преданность, исключительное трудолюбие и заботливость. Он также считает их очень ревнивыми.

В обязанности инженера входит организация промысла. Моржа, тем более кита, запросто не убьешь. Существуют рыбная инспекция, пограничные войска, администрация. Нужно все согласовать, получить разрешение, и еще многое

нужно сделать, прежде чем выйдешь в море. Бумажная волокита еще та! Надо также технически обеспечить промысел, например, заказать трактор для перевозки лодок. Если Роман остается на берегу, то следит за охотой с крутого обрыва и корректирует действия охотников по радиосвязи.

Я сказал, что китов убивать жалко. Роман тут же парировал: «А людей не жалко?»

Он с раздражением заметил, что, прежде чем запрещать китовый промысел, надо запретить живущих здесь людей. Употребление мяса и без того ограничено десятью — пятнадцатью килограммами в месяц на человека. На окраине Лорина есть «лédник» (с ударением на первом слоге) — нечто вроде мясного склада, который охраняют специальные работники, и они же продают мясо жителям поселка. Не только китовое, но и моржовое, и лахтачье, и нерпичье. Там же заготовлено национальное блюдо кынгыт, но едва ли материковый житель станет его есть. А вот китовое мясо вполне приемлемо. Из него получаются отличные пельмени и котлеты. Роман поясняет, что мясо кита по вкусу довольно разное. Все зависит от времени и способа добычи. Китовое мясо запрещено вывозить за пределы Чукотки, и торговать им можно только внутри округа. Есть международная китобойная комиссия, которая строго контролирует промысел. В то же время к Роману обращаются из других областей и даже из-за границы с просьбой продать китятину. Готовы приехать, загрузить и вывезти. Но нельзя. Не говоря уже о том, чтобы поставить дело на коммерческую основу и заработать хотя бы на лекарства детям и старикам или на новую китобойную технику.

Мне жалко китов, моржей, лахтаков. И коров жаль, и свиней, и овец. Но вот летом в Лорине не было сухого молока, и женщины, у которых дети на искусственном кормлении, вынуждены были кормить их водой. Медикаментов в поселке нет, а те, что попадают, стоят столько, что купить их никто не в состоянии.

Тысячелетие ушло на то, чтобы доказать: самый жестокий зверь — человек. Прошедший век смог убедить в том самых упертых скептиков. Ужасы, творимые гомо сапиенсом, заставили по-иному смотреть на кровожадных хищников, ядовитых пресмыкающихся и даже на ископаемых динозавров. Когда мы узнаем, что волк загрыз человека, невольно вырывается: «А чего он к зверям полез?» Я уж не говорю об умилительных образах лисичек, львят, волчат и прочих заек, которым люди якоры не дают жить. Ей-богу, мы зверя бережем больше, чем человека, руководствуясь формулой: «Людей-то мы всегда сможем нарожать, а попробуй сделай кобылу». Защита животных на фоне безучастия к человеку иной раз выглядит патологией. А здесь, в тундре, всё на своих местах. Волк — не братец, а злой и вероломный враг, безжалостное и бесчувственное чудовище, готовое перегрызть глотку всему живому. Всё шевелящееся и имеющее плоть — для него лишь драгоценные калории. Сам же волк — всего лишь шкура, которой можно укрыться от холода, а можно продать или обменять на что-нибудь полезное. Собачья упряжка — не диковинный и экзотический способ прокатиться по заснеженной тундре, а единый, мобильный и злой организм, состоящий из сурового хозяина, не имеющего иных средств передвижения, и полуголодных псов, для которых все, от медведя до случайно попавшегося на пути ребенка, лишь более-менее качественная пища. Для морзверобоя защищаемый мировой общественностью кит — это только огромный кусок мяса, ниспосланный свыше, чтобы дети, жена, мать не умерли от голода, не очоленели в заброшенной и забытой прибрежной деревне. Жить или не жить? — вот вопрос, который решает китобой, садясь в старую, утлую лодку и вступая в смертельный поединок с морским гигантом...

Кроме мяса, лоринские охотники получают китовый жир. Часть его отправляют оленеводам, а часть гниет, и его выбрасывают. Роман просил, чтобы разрешили продавать хотя бы этот жир. Но и это запрещено.

Что касается кружка, который Роман ведет в школе, то и он не для забавы. Если подросток, живущий на побережье, не будет знать, как добыть морского зверя, он в будущем может пропасть. Поэтому ребята выходят в море вместе со

старшими. Начиная с девятого класса большинство из них могут самостоятельно охотиться на любого зверя, исключая кита, к которому детей не подпускают.

Роман рассказывает о лоринских морзверобоях с неподдельным восхищением: «Мои зверобой выходят в беспокойное море на таких лодочках, на которых не то что охотиться — плавать страшно. А оружие? Первобытное! Бывает, кит переворачивает лодку, и охотники гибнут прямо на глазах родных и близких, которые наблюдают за охотой с обрыва. Да это и не охота, а настоящая борьба. Борется за жизнь кит — это правда, но за жизнь борются и люди: за свою и своих семей. Труд тяжелый, опасный. И кто, кроме зверобоев, способен выйти на пятнадцатиметрового кита, вес которого двадцать пять или тридцать тонн? А ведь надо подплыть к нему, точно поразить гарпуном, затем бороться с ним, вытаскивать на берег... Надо быть героем! А зимняя охота на нерпу? Минус тридцать или даже сорок, да еще с ветром, а охотник сидит возле лунки и ждет, когда зверь вынырнет. И шесть часов может прождать, и семь, и восемь... Как только нерпа покажется, он должен выстрелить и попасть в нее. Затем надо сесть в байдарку из лахтачей шкуры, подплыть к нерпе, вытащить ее, добраться до кромки моря и после этого возвратиться в поселок, проехав на собачьей упряжке километров пятнадцать — двадцать, а то и больше. Люди здесь отчаянные и невероятно смелые».

Роман никуда с Чукотки уезжать не собирается. Он рад своей беспокойной жизни, когда каждый день не похож на предыдущий.

В конце встречи я решил спросить немного китятины, и Роман принес («на пробу») кусок, которым можно накормить целую роту. Мясо пахло травой и морским дном. Да, от него исходил запах глубины. Я передал китятину молодой эскимоске из Лаврентия, и она сделала котлеты.

Детский сад

На фоне окружающей нищеты лоринский детский сад выглядит, словно горячий источник посреди заснеженной тундры. Здание новое, внутри идеальная чистота, в комнатах светло и уютно, много игрушек, дети ухожены, ими занимаются. Уже при входе слышны звуки ярара. Пожилая эскимоска напевает. Дети в такт ярару танцуют.

«Как нерпочки делают? Нагнулись, нагнулись... Лежим на сопке, отдыхаем. Наелись, напились и лежим, греемся на солнышке... Ия-на, ия-на, ия-ия-ия-на... Коршун! Коршун летит! Смотрим кругом. Как коршун смотрит?... Ия-на, ия-на, ия-ия-ия-на... А это кто идет? Кто рычит? Смотрите! Страшный волк идет. Быстро убежали, спрятались!.. Ия-на, ия-на, ия-ия-ия-на... Поймали уже кого-то? Ой! Ну-ка бегом в море! Плываем, плывем, плывем... Ия-на, ия-на, ия-ия-ия-на... Молодцы! Похлопаем нерпочкам. Теперь все встали. Ну-ка потанцуем. Набрали водички и умываемся. Умылись нерпочки. Молодцы! Теперь снова потанцуем... Ия-на, ия-на, ия-ия-ия-на... Сели в нарту и поехали! Поехали!..»

Среди детей выделялась трехлетняя девочка. Она танцевала и улыбалась с таким обаянием, что оторвать взгляд было невозможно. Я пытался ее сфотографировать, но, как только наводил объектив, «маленькая нерпочка» тотчас переставала танцевать и пряталась за спины других детей. Как ни старался, как ни уговаривал — тщетно. Наконец, я расположился на полу, притворился неодушевленным предметом и только после этого смог ее сфотографировать.

В детском садике есть даже этноцентр — нечто вроде краеведческого музея. На самом видном месте цитата из книги Юрия Рытхэу:

«Человек измеряется не только в высоту и в ширину, но и в глубину, в свое прошлое. Это прошлое он должен помнить: свой язык, своих предков, песни, сказки, словом, все».

Интернат

Он расположен в старом одноэтажном здании барачного типа. Все, что здесь есть, ветхое и убогое. Из кроватей, покрывал, подушек, наволочек, тумбочек, из всякой вещи, включая стены и потолки, выжато всё, но этим «добром»

еще долго будут пользоваться, без конца подновляя, подкрашивая, подмазывая, подкручивая и подвинчивая. Мне показалось, что всё выжато и из воспитательниц, нянечек, уборщиц...

Вот разговор с воспитательницей — Анной Николаевной Пытко.

— Сколько здесь учеников?

— У нас проживают двадцать два ученика — из многодетных и малообеспеченных семей. Есть еще «вспомогательный» класс, из умственно отсталых детей. Их двенадцать.

— Чем вы их кормите?

— Тем, что достанет директор. В основном макаронные изделия. Осенью едим китятину. Сейчас — оленину. Как-то раз даже были котлеты.

— Кто одевает интернатовцев?

— Одеждой обеспечивает государство.

— Присылают или деньгами выдают?

— Уже много лет не присылали.

— Вы же говорите: «государство».

— Да, государство. Что накопилось в советское время, тем и обеспечивает.

— Когда в последний раз получали одежду?

— Давно. В девяностых годах...

— Когда привозили новые парты или стулья?

— В восьмидесятых... Когда школу комплектовали.

— Какая у вас зарплата, какой распорядок у воспитателей, как вы вообще занимаетесь с детьми?

— У меня получается где-то тысяча семьсот... Воспитательницы в интернате с утра до девяти вечера. А ночью дети остаются с нянечкой... Нам их нечем занять. Нет игр, нет книг. Только телевизор, по которому показывают одну программу. Тетрадей нет, плохо с учебниками, про одежду говорили... Интернатских еще как-то и кормим, и одеваем, а вот своих... Сыну недавно купили ботинки за сто шестьдесят рублей. Он месяц проносил — и они порвались. А дорогую обувь, рублей за четыреста, мы не можем себе позволить. Интернатские одеваются неплохо. У них есть и нерпичья обувь, и пальто, только вот с шапками плохо. Шапок нет совсем.

— В чем же они ходят по такому морозу?

— В домашних шапках.

— Что значит «в домашних»?

— Кто в чем может, в том и ходит...

Я прошел по коридору, заглядывая во все комнаты. В полутемном туалете (на Чукотке беда с лампочками) увидел несколько мальчишек. Один из них сунул голову под кран с ледяной водой, намылил хозяйственным мылом, сполоснул и вытер вафельным полотенцем. Вся процедура заняла минуту-полторы.

В одной из комнат собралась часть воспитанников. Они сидели на грубо сбитых скамейках и смотрели телевизор. На стене висела простыня. Кто-то нарисовал на ней полярный поселок с большой церковью и вывел надпись: «С Рождеством!»

Увидев меня, дети отвлеклись от телевизора. Я достал диктофон и, обращаясь к одному из интернатовцев, спросил, станет ли он охотником. Все рассмеялись. Оказалось, я обратился к девочке...

У другого спросил, забирают ли его на выходные домой. Дети вновь засмеялись, а мальчишка ответил, что у него нет дома...

У третьего поинтересовался, кем работают родители, но он сказал, что у него нет родителей...

Я убрал диктофон и молча глядел на детей. Они с любопытством и тоже молча смотрели на меня.

Когда я вышел в коридор, дети высыпали за мной. Им хотелось поговорить. Я пробыл в их окружении минут пятнадцать и, если бы меня не торопили, оставался бы дольше: я почувствовал, что никогда и никому не был так нужен, как стоящим рядом лоринским интернатовцам...

У самого маленького изуродовано лицо.

— Что с ним?

— Его собака покусала. Он слишком близко подошел к упряжке. У нас таких много.

Все дружно рассмеялись, включая покусанного.

Дорога из Лорина

В Лаврентия возвращались в полной темноте. Видимость была ограничена отрезком дороги, освещаемым фарами. Ночь затушевала дневные картины, и если бы я их не видел, то не поверил бы, что вокруг нескончаемые пространства. Быть может, поэтому и попросил водителя остановиться, заглушить мотор и выключить фары. Затем вышел из «уазика», но отойти от него дальше, чем на двадцать шагов, не решился...

Я ничего не увидел, потому что вокруг не оказалось ничего, что можно было бы видеть. И не слышал ничего, так как неоткуда и не из чего было взяться даже малейшему шороху. Где-то за моей спиной должны быть невидимые сейчас сопки. Огромный материк — Евразия, начинаясь здесь, заканчивается на побережье Атлантики, а прямо передо мной должна быть кромка Берингова моря и сразу за морем — Тихий океан... Это значит, что земная твердь, обрываясь в километре от меня, проявится лишь у берегов Антарктиды! Такого владычества природы над собой я не ощущал никогда. Ни горы, ни океан, ни пустыня, приподнявшие меня в трепет и благоговение, не вызывали столь жуткого, поистине первобытного страха, который породил во мне этот холодный, безмолвный и равнодушный мрак. Вероятно, потому, что горы, пустыни и океаны — составные части Земли, порождение ее в той же степени, что и мы, люди, из праха происшедшие и в прах возвращающиеся, и если я сгину в волнах, замерзну во льдах, провалюсь в бездонную трещину или испепелит меня солнце — прах мой все же останется на Земле и будет принадлежать ей, как принадлежал всегда. В этом смысле все земные стихии — мои, а сам я — их часть. Но, оказавшись в одиночестве посреди звезд, я ощутил нечто к Земле не относящееся и считаться моим не могущее. Я бы радовался даже луне, но и ее не было. Всё — от горизонта до горизонта — было усеяно мириадами звезд, и если существует небосклон (склонившееся небо), то именно теперь я находился посреди него. Холодные, далекие, чужие звезды были надо мной, вокруг и даже ниже меня. Они безмолвно мерцали, не отражая, но поглощая свет. Так же для кого-то мерцает Земля, с океанами, пустынями и горными вершинами, в масштабах Космоса попросту не существующими. Нет, ничто не идет в сравнение с тем страхом, в сочетании с удивлением и восторгом, который порождает этот бесконечный мрак, где Земля — лишь одна из пылинок, упустив которую из виду уже не отыщешь. Не от соприкосновения ли с этим жутким отчуждением особая гордость космонавтов и ведомая только им тайна, позволяющая дорожить Землею иначе, чем дорожат все остальные?..

Простояв еще минуту, я забрался в крохотный, теплый, спасительный «уазик», внутри которого обменивались веселыми историями милые и добрые люди. Я словно возвратился к землянам, вернулся к своим. Уверяю, что только одна возможность оказаться посреди звезд стоит того, чтобы побывать на зимней дороге на краю Земли.

28 декабря. Лаврентия

Привет, Вероника!

Я по-прежнему в Лаврентия и до Нового года едва ли отсюда выберусь.

Вчера впервые увидел северное сияние. Каждый вечер ждал его в Билибино, затем в Анадыре, а дождался только в Лаврентия. Я бы мог о нем рассказать, но не в письме. Здесь в помощь нужны жестикауляция, мимика, вздохи и ахи. Все

изображения северного сияния и тысячной доли не отражают, чем в действительности оно является, потому что сияние все время в движении и изменении.

Представь: откуда-то из-за сопок восходит к звездному небу светящийся полупрозрачный серпантин из тончайших вертикальных штрихов. Он движется, колышется, волнуется, образует кольца и полукруги, затем разматывается; дойдя до залива, застывает и бесследно растворяется, поглощаемый мраком ночи. А вслед появляются и плывут по небу новые спирали... Словно балуется курильщик, пуская кольца табачного дыма.

Лаврентьевцы к подобному чуду привыкли и даже не поднимают голову, чтобы на него взглянуть. Они считают северное сияние вредным и предпочитают в это время находиться дома. Необычно ведет себя и дым, выпускаемый трубами котельных. Он пытается соперничать с таинственным явлением природы, для чего поднимается к небу и там выписывает уродливые кренделя, временами сливаясь с северным сиянием. Так заносчивая курица хлопает крылышками, надеясь присоединиться к уходящему за горизонт косяку журавлей. Когда же сияния нет, дым лаврентьевских котельных ведет себя спокойно, монопольно «украшая» небо над поселком и заливом.

...Ночью никак не усну. Сначала пишу, а когда не остается сил — слушаю радиоприемник. В основном средние волны. Они заполнены английской речью, джазом, музыкой кантри и добрым старым роком, который в Европе уже забыт. Наедине с радиоволнами чувствую могучее дыхание иного и недоступного мира, слышу эхо чего-то огромного, мощного и значительного, существующего не с нами и не для нас; в фиолетовом индикаторе радиоприемника вижу широкие освещенные автострады, уходящие в глубь чужого континента, бесчисленные роскошные автомобили и равнодушные лица их владельцев; за шумом радиопомех слышу гул огромных боингов, в креслах которых развалились беззаботные обитатели гигантской страны; глядя вместе с ними в иллюминатор, вижу большие города, сияющие огнями витрин и реклам, афишами театров и кино, музеев и вернисажей, блеском аттракционов и переполненных стадионов; слышу бесконечную речь и нескончаемый смех... Это манит, зовет, соблазняет, призывает бросить всё и устремиться туда, к ним, чтобы жить, как и они, счастливо и беззаботно, предаваясь не только делу, но и утехам, жить, не беспокоясь о завтрашнем дне, да что там... о следующей минуте. И невольно думаешь о тех, кто, набравшись смелости, все же решился избавить своих детей и внуков от унижительной участи: ежечасно выживать или глядеть на то, как выживают другие. И вчерашний аргумент — «кому мы там нужны?» — не успокаивает, потому что где еще мы так не нужны, как в своем отечестве?

А что если набраться сил, пролететь всего полсотни миль и оказаться на другом берегу, окунуться в иную жизнь, с иным мирозданием, другим ритмом, другими нравами, со всем тем, чего здесь нет и никогда не будет?

...И слава богу, что нет, и хорошо, что не будет! Ведь воздерживаемся лишь потому, что не имеем соблазнов, праведны оттого, что никто не искушает, и дорожим своим бытием только потому, что иного не знаем, а смерти не боимся потому, что не ведаем, что значит жить...

Каждый день прохожу мимо сарайчиков, которые сторожит здоровенный пес на привязи. Что за порода — не знаю, но таких огромных и шерстистых я еще не встречал. Если прирастить к нему бивни — впотьмах сойдет за мамонта. Появись такой пес в Москве или в Париже, его бы сделали героем светских хроник, увешали медалями и закармлили, он бы распух от консервов и превратился в гигантскую болонку, которая, развалившись на дорогом диване, скоро бы подохла от тоски. Но здесь, в Лаврентия, на привязи у сарайчика, этот пес — на месте. Ему не надо ни лаять, ни рычать, ни тем более кого-то кусать. Достаточно просто быть — и этого довольно, чтобы никто и близко не подошел. Пес это понимает и потому молча, что должна была бы совершать сторожевая собака, не делает. Лишь молча сидит.

Сегодня я наблюдаю, как этот пес лениво грыз две замерзшие буханки. Рядом с ним кормился теми же буханками маленький щенок, совершенно круглый

и не по возрасту шустрый. Неподалеку сидели, наблюдали за трапезой и облизывались две голодные тощие собаки. Разумеется, мысль принять участие в трапезе не могла прийти в их собачьи головы. Здоровенный пес не отгонял щенка, понимая, что много тот все равно не съест, зато все вокруг (и не только собаки) будут знать, какой он покладистый по отношению к младшим. За добрую репутацию плата ничтожная, а авторитет у него и без того самый большой в Лаврентия и, быть может, на всей Чукотке. Вообще трудно вообразить, чтобы существовали собачьи морды еще крупнее. Ученые-скептики утверждают, что жизнь на Земле уникальна и мы одиноки в мире звезд. Если так, то морда эта — самая большая во Вселенной!

У меня еще с Москвы припасена колбаса, и я дал по два кружочка голодным собакам. Они, словно ошалевшие, бросились на этот смехотворный корм. Так вот, на шум и в надежде заполучить угощение примчался щенок, без раздумий оставив покровителя. Тот, возможно, приперся бы и сам, но был на привязи.

Я говорю маленькому наглецу: «Что же ты? Там кормишься, а теперь прибежал сюда, хотя этим несчастным и без того мало!»

Но щенок смотрел на меня непонимающе и лишь ждал, когда же я его угощу. В конце концов выпросил кусочек колбасы и моментально сжевал. Я обратил внимание, что взгляд и повадки у него далеко не детские. Он уже достаточно матер, готов к борьбе за выживание, и я не сомневаюсь, что выживет. А поступает так не по наглости, а от нужды, которая мало красит даже безобидных щенков. Я перестал интересоваться его в тот самый миг, когда закончилась колбаса. Собаки еще пребывали в надежде, а щенок уже побежал к своему покровителю, доедать еще и там.

Здоровенный пес не прогнал щенка, не упрекнул, он лишь посмотрел на него грустно, понимая, что всякое воспитание здесь бесполезно.

Каждый день звоню в роддом, а через день захожу. Пока — ничего утешительного. Вытянуть что-либо о деторождении из чукотских женщин непросто. Гораздо словоохотливее акушерки. Они здесь как на подбор: высокие, темноглазые, ни у одной нет и тени уныния, и почти все — украинки. Они с охотой рассказывают о том, как принимали роды, словно это для них не тяжкий труд, а отдых. Не знал, что акушерство может стать увлечением и даже страстью.

До Чукотки я лишь однажды разговаривал с акушеркой. Это была Вера Станиславовна — старейшая и опытнейшая акушерка, принявшая роды у доброй половины торжокских мам. Помню, она благодарила меня за какую-то статью, и я почувствовал в ее руке такую силу, будто поздоровался с крепким мужчиной. Я спросил: неужели это связано с профессией? Вера Станиславовна рассмеялась и сказала, что руки у нее сильные от того, что в жизни много пришлось потрудиться. К профессии это прямого отношения не имеет, хотя усилия в акушерстве нужны, и немалые. Но еще больше эта профессия требует умения. «А то можно шею сломать», — весело сказала Вера Станиславовна.

Все лаврентьевские акушерки — сильные и крепкие. Одна из них, Валентина Николаевна, работает на Чукотке уже семнадцать лет. Ее теперь мало чем удивишь, но когда только приехала... Вначале Валентина работала в Мариуполе. Кроме украинок и русских, принимала роды у цыганок, гречанок, евреек и даже у кубинки, поэтому считала себя уже опытной акушеркой. Все-таки шестилетний стаж в современном роддоме на сто пятьдесят коек! (В Лаврентия всего на десять.) И, когда здешние акушерки поведали, что чукчанки и эскимоски во время родов не кричат и даже не стонут, она была шокирована: «Как не кричат? Хохлушки, еврейки и особенно гречанки кричат, а чукчанки нет?» Валентину предупредили, что они обычно не жалуются на боли и могут родить прямо в кровати. Ей даже посоветовали не отпускать рожениц одних в туалет. «Боже! Страх какой!» — вспоминает Валентина Николаевна.

Уже потом, проработав некоторое время, она поняла, сколь легко с коренными женщинами, какие они замечательные роженицы, как они слуша-

ются, как исправно выполняют указания врачей, помогают во всем, какие умницы в сравнении с материковыми женщинами, которые кричат, вытаращив глаза, отчего ребенок пугается.

Сама Валентина рожала здесь же, в Лаврентия, и принимали у нее роды коллеги. Говорят, кричала так, что крыша дрожала. И за то, что чукчанки и эскимоски такие терпеливые и мужественные, Валентина их полюбила и души в них не чаёт. Что бы о них ни говорили, для Валентины Николаевны нет на свете лучших женщин.

И еще. Она говорит, что за семнадцать лет работы не было случая, чтобы чукотская мать отказалась от ребенка. Ни раньше, когда на Чукотке жилось легче, ни сейчас, когда так тяжело. Бывало, к сожалению, другое. Чукчанки пьют, и случалось, хмельная женщина засыпала и грудью закрывала ребенку лицо. Тот задышался... Бывало, они напивались, оставляли дитя без присмотра, и голодные собаки его загрызали. Чукчанки могут быть невнимательными, бездумными, бесшабашными, но ни одной из них не придет мысль отказаться от своего ребенка. По словам Валентины Николаевны, среди чукчанок считается престижным родить от русского: дети получаются красивыми и умными. В каждом селении есть свой «гладиатор», которым гордятся, причем у чукчанки нет претензий к мужчине, который стал отцом ее ребенка. Она может и не сказать, от кого родила. У них нет умысла «повязать» мужчину ребенком. Чукчанки — преданные и смиренные, не борются за главенство в семье, и рядом с чукотской женщиной всякий мужчина чувствует себя королем.

«Славные люди, — говорит о чукчах и эскимосах Валентина Николаевна. — Они появляются на свет по-особенному, легко, и уходят из жизни тоже без того надрыва и трагизма, с которым уходим мы. Когда было голодно, старики, чтобы выжили молодые, добровольно уходили из жизни, для чего носили на шее удавочку». Валентина читала об этом у Юрия Рытхэу.

Коллеги Валентины — Светлана Геннадьевна и Виктория — также говорят о своей профессии восторженно, ни на какую другую не променяют. Наверное, у каждого из нас есть тайна, которую видит, понимает и чувствует лишь тот, кто первым, еще прежде матери, берет нас на руки.

...Сколько возвышенных строк посвящено смерти! Сколько замыслов и откровений родилось у смертного одра при созерцании бесчувственного тела! А как заманчиво перейти этот порог и узнать: что за ним? Но что сказано о рождении, и много ли о том подумано? Разум — бессилён, а слова самого искусного мастера — недостаточны. Что за чувство вырывается вместе с новорожденным! Одно слово — Радость! Выразить ее можно лишь криком, при первом вздохе, и только один раз. Не потому ли древние законы Севера наказывают роженицам молчать, чтобы первый крик Радости был слышнее в бескрайнем безмолвии тундры?..

Я просил акушеров, чтобы они «родили» младенца в первый час после Нового года, убеждал, что это очень важно. Да они и сами хотят, чтобы здесь, в Лаврентия, родился первый младенец двухтысячного года. Сколько бы радости и надежды принесло это событие...

Науканская эскимоска, Маргарита Сергеевна, со слезами говорит: «Если бы родился у нас такой ребеночек, я бы пожелала, чтобы он был здоровым и хорошим, чтобы он рос, получил образование и здесь, на Чукотке, начал строительство большого города. И чтобы в этот город переселились все разбросанные по тундре чукчи и эскимосы... Чтобы возродилась наша культура, которой мы гордились и гордимся, и чтобы весь мир услышал наши песни, увидел танцы, узнал быт наших охотников и оленеводов. В этом городе мы будем ходить только в народной одежде. И еще важно сохранить наш язык. Вот что я желаю и чего жду от первого младенца двухтысячного года».

Как видишь, ожидания велики, да шансы малы. С наступающим Новым годом!

29 декабря. Лаврентия

Здравствуйте, дорогой Борис Исаакович!

Когда-то мне казалось, что в политике нет такого, чего бы я не понимал, в чем бы не разбирался и чего бы не мог предугадать. Если бы десять лет назад я случайно попал в Лаврентия, то мигом бы объяснил, зачем тут живут полторы тысячи его жителей. Но сейчас, мучимый бессонницей, я не перестаю задаваться вопросом: зачем они здесь, в стороне от жизни, от музеев и театров, бульваров и скверов, от всего того, что кем-то названо цивилизацией? — и не нахожу ответа. Каждый в отдельности незаменим и необходим: учитель — учит, повар — кормит, врач — лечит, продавец — продает, милиционер — охраняет. С этим ясно. Неясно, зачем они учат, лечат, торгуют, охраняют... именно здесь?

Выходя на работу — в администрацию, котельную, магазин, аэропорт, школу, пекарню, на почту или в больницу, — каждый понимает, что его функции не исполнит больше никто. Все вместе формируют единый организм, который поддерживает жизнь. Убери кого-нибудь (пекаря, акушера, связиста) — это мигом отразится на жизни всех. Даже уход в отпуск нередко создает трудности для жизнедеятельности поселка. Что же говорить об отъезде?

В то же время здесь каждому очевидна собственная никчемность для государства. И не только собственная, но и всех жителей Чукотки. Очевидно и то, что никому они не нужны на материке. Житель Лаврентия знает, что он нужен только такому же, как сам. Это роднит лаврентьевцев с командой подводной лодки, где всякий, включая капитана, больше функция, чем человек.

Все кланут государство, которое отвернулось от Севера и не вкладывает деньги в его развитие, но, когда спрашиваешь, какая государству в том польза, молчат или твердят что-то невразумительное о полезных ископаемых, таблице Менделеева, по которой вроде бы ходят, и прочих выгодах, о которых имеют смутное представление.

Коренные жители высказывают недовольство тем, что их землю эксплуатируют пришлые, из-за чего северные народы вымирают. Вместе с тем они жалуются, что их оставили в беде, и выстраиваются в очередь к районному начальству за материальной помощью.

Это лишь малая часть мучительных противоречий и парадоксов, из которых соткана жизнь в Лаврентия. В результате предстает печальная картина угасания того, что с таким восторгом начиналось. Поникишие, с потухшим взглядом и ко всему безразличные, словно тени, ходят по поселку чукчи. Дерганные, озабоченные, отрезанные от жизни и безнадежно уставшие — материковые. В Лаврентия еще жизнь теплится, словно догорающие угли на пепелище, а в глухих поселках и того хуже.

Сотни раз слышал ломоносовское утверждение о том, что будущее России будет прирастать Сибирью, и безоговорочно верил авторитету гения. Тем более что газетные репортажи и телесводки уверяли в том же. Но вот своими глазами увидел обратное: Сибирью, точнее Крайним Севером, Россия гибнет. Разлагается, тает и исчезает...

Знаете, кто из художников точно уловил физиологию и трагизм человеческой катастрофы, физического распада и духовной безысходности? Хаим Сутин. Я не знаю, как впечатляла современников галерея написанных им портретов, но теперь, оглядываясь на прошедший век, понимаю, что эти несчастные, обреченные персонажи, с распухшими лицами, с беспомощно скрещенными или вытянутыми руками, огромными и бесформенными, доходчивее всего объясняют катастрофу умирания. Сутин, кажется, смог запечатлеть своих героев горящими в печи нацистского крематория еще до того, как они туда попали. Он словно представил, как выглядели бы они, если бы оказались там.

Именно сутинские портреты я вспоминаю, глядя на чукчей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью или за хлебом. Хмурые и равнодушные, беспомощные и усталые, молчаливо глядят они на меня, чужака, зачем-то приехавшего в их край...

После того, как при помощи культбаз здесь все окультурили, наурупняли, наперестраивали и развалили, на спасение района бросили учительницу. Действительно, кто еще в России тысячелетнего порубежья возьмется за труд, в сравнении с которым расчистка авгиевых конюшен выглядит обычной уборкой?

Поразительно, но при всем скептицизме по отношению к начальству лаврентьевцы в эту женщину верят. Им кажется, что ей-то как раз под силу все наладить и оживить. Одни будут довольны, если новый начальник района достанет солярку, другие обрадуются сосискам, а кому-то вовремя выплатят заработанную плату. Вот уже и хорошо! Вот и «подъем»! Народ ведь не избалован. Лишь бы хуже не стало. Даже и к худшему готовы, только чтобы не намного и не сразу.

Как бы Валентина Васильевна не стала представителем Министерства по чрезвычайным ситуациям в своем районе и не превратилась в авиадиспетчера, с утра до вечера умоляющего о прилете «борта» с едой!

В 1999 году собственных средств в районный бюджет поступило шесть миллионов рублей. Если эту сумму разделить на количество жителей, то на каждого придется по три с половиной доллара в месяц. На эти деньги можно ежемесячно покупать по паре окорочков Буша. Разумеется, главная задача главы района летать в Анадырь и обходить с протянутой рукой чиновничьи кабинеты, повторяя губернаторские хождения в столице. Учитывая, что так же, только с более важным видом, бегают по финансовым организациям Запада наши кремлевские начальники, можно представить, в каком динамичном состоянии находится отечественное чиновничество. Не позавидуешь.

Поскольку Валентина Васильевна молода и обаятельна, к ней благоволит губернатор. Ей уже удалось выплатить зарплату работникам бюджетной сферы, которую они не видели девять месяцев. С остальными труднее: в жилищно-коммунальном хозяйстве зарплату не получают по два-три года, в совхозах — в течение пяти-шести лет. Там уже не помнят, что такое деньги. Кроме того, Валентина Васильевна обеспечила район углем, топливом для вертолетов и продовольствием. Тепло, еда и свет — вот иерархия ценностей в Чукотском районе. Та же иерархия и в Швейцарии, и в Норвегии, и в Канаде, только граждане их об этом не знают.

Понять, отчего Лаврентия вместе с Чукотским районом и со всей Чукоткой никому не нужны, не сложно. Труднее объяснить, для чего Лаврентия нужен.

В Билибино есть атомная станция и есть рудник, на котором добывают золото. Это значит, что работа для двух-трех тысяч человек там всегда найдется. Но чем может жить Лаврентия, представляющее собой разросшуюся культбазу? Здесь пограничный район. И если есть интерес военно-стратегический, нужны две-три сотни пограничников, военный городок — и все. Что делать остальным?

Валентина Васильевна с этим не согласна и считает: «Коренных людей бросить нельзя, так как они без нас пропадут».

И точно, без нас — пропадут. Но парадокс в том, что пропали-то как раз из-за нас.

После экспериментов с местным населением, включая коллективизацию и фермеризацию, наши начальники пришли к выводу, что надо бы это население вернуть к своим исконным занятиям: к оленеводству и охоте, сделать их хозяевами стада и земли — словом, вернуть в тундру.

Замечательно! Вот только возвращать некого. Живущие сегодня — это не те самые чукчи и эскимосы, которых когда-то загоняли в совхозы. Это — новые поколения, выросшие в интернатах и тундры не знающие. Кроме того, что не осталось «тех самых» чукчей, нет и «тех самых» нас. Нет и того государства, и его обязательств тоже нет. Ничего прежнего у нас не осталось, кроме наших бед.

В Чукотском районе право голоса на выборах имеют 2730 человек. Это и есть взрослое население. На учете состоят 402 безработных. Из них 360 коренных жителей, причем женщин — 219. Безработных до 29 лет — 130. В Лаврентия числятся 84 безработных на 1407 жителей. В Уэлене 81 безработный на 772 жителя. (Три года назад там было 45 безработных.)

Таково положение на 1 октября 1999 года, хотя действительная безработица как минимум в два раза выше. Однако, несмотря на нищету и безденежье, коренные жители на объявления о приеме на работу отзываются неохотно.

Несколько раз я подходил к косторезной мастерской, чтобы купить сувенир, а заодно посмотреть, как работают косторезы. Но мастерская всегда была закрыта, хотя табличка на дверях утверждала, что это коммерческое предприятие. Меня интересовали уже не сувениры, а то, когда появятся косторезы. Наконец я застал в мастерской двух чукчей и попросил продать какое-нибудь изделие. Они ответили, что работают только «на заказ». Я попросил показать образцы, но и образцов у них не было. Мне сказали, чтобы я пришел «завтра». Я пришел на следующий день, но косторезы бормотали что-то невнятное, перекладывая вину друг на друга. В конце концов я махнул на них рукой.

Коренных жителей трудно поднять даже на незначительную работу. Невозможно отыскать хотя бы четырех человек, чтобы разгрузить вертолет. И это при том, что вознаграждение выдается тут же, у «борта»: мукой, сахаром, крупой. Приходится просить помощи у пограничников, в то время как безработные отмахиваются. В результате с трудом организованный рейс задерживается на три-четыре часа, хотя каждая минута на вес золота.

Люди привыкли к подачкам, которые стали системой и образом жизни, заменив труд. Они без стеснения и устали обивают пороги учреждений, выпарапывая эти подачки. Пособия по безработице, пособия матерям-одиночкам (445 рублей в месяц), детские компенсации (232 рубля) являются не подспорьем к зарплате, не подстраховкой на время поиска работы, а средством к существованию, вполне их устраивающему.

Нынешнее состояние Чукотки — это когда романтизм исчез и даже дух его выветрился, а прагматизм еще не совал носа. И неизвестно, сунет ли. Вопрос о будущем возник не сегодня и не вчера. Вот как он сформулирован несколько лет назад в одном иллюстрированном журнале:

«Путей два — или вывезти всех на Большую землю, превратив Чукотку в резервацию для коренных народов, или наконец понять громадные перспективы здешних мест и отнестись к ним по-хозяйски. Центр своего отношения к Чукотке до сих пор не определил...» (Россия. Ноябрь-декабрь, 1996).

Изложенная дилемма — трехлетней давности, и уже можно говорить о ее разрешении: Чукотки для Центра не существует, как, впрочем, не существует для него и все остальное. Прошедшие годы прояснили и путь, по которому пошла Чукотка: кто может, спасается бегством или старается вывезти хотя бы детей. Чукотка перестает быть землей неизвестной и становится тем, чем была изначально, — страной чукчей, эскимосов, эвенов. Точнее, страной их остатков. «Громадных перспектив» не заметили, следовательно, никто не будет вкладывать сюда капиталы, и рассеяние иллюзий на этот счет было бы уместным и полезным для чукотского начальства.

Что делать?

Главная насущная задача современной Чукотки в том, чтобы сохранить специалистов и уберечь наиболее важные объекты. Выскажусь более определенно: Чукотку надо законсервировать. Среди интеллектуалов нередко заходит речь о создании резерваций для коренных жителей. Я бы предложил создать на Чукотке резервации для жителей материковых...

Мне вспомнились детские рисунки, выставленные в краеведческом музее Билибино. Дети — лучшие футурологи, их чутью может смело доверять прагматик. Рисунки подсказывают, что искать выход надо в континентальной Чукотке. На месте того же Билибино. Из этого небольшого города может вырасти северный мегаполис. Первый из тех двух-трех десятков супергородов, которые, соединившись коммуникациями, «обвяжут» планету вдоль полярного круга. Билибино станет столицей и метрополией Чукотки, его центром. Сюда переедут все (!) жители округа, а в портах и на пограничных постах работать будут вахтовым методом. Микрорайоны мегаполиса будут названы именами ныне существующих районов Чукотки.

В самом Билибино первым делом надо создать условия для женщин. Город должен состоять из институтов, техникумов, профтехучилищ, из учреждений культуры — библиотек, научных центров, музеев, театров, а также из магазинов, салонов, кафе, ресторанов, всевозможных клубов, танцзалов, бассейнов, спортзалов, галерей, цветочных магазинов и прочего, созданного исключительно для женщин и управляемого женщинами. Ко всему надо приобрести четыре аэробуса и несколько гектаров на тихоокеанском побережье, куда женщины могли бы летать на выходные. Словом, необходимо создать среду, в которой они смогли бы самоутвердиться — прическами, нарядами, красотой, достойными профессиями, творчеством, наконец, своими мужчинами, которых в этом случае не стыдно показать.

Дорогой Б. З.! Вы, как знаток женской психики, понимаете, что я прав и что это не утопия. При том, что женщина тащит на себе остатки России, при том, что ей недостает тепла, любви, внимания и заботы, при том, что ей самой некому эту заботу и тепло отдать, — женщины обязательно устремятся туда, где почувствуют к себе внимание и возможность реализоваться. Ведь попадают наши красавицы на панели Турции или Греции не от хорошей жизни. Кстати, не так давно бежали они и на Крайний Север. Побегут и теперь. Заманить и удержать на Чукотке женщин — уже полдела. Все остальное они сотворят сами. Потому что, если захотят остаться на Чукотке женщины, останутся и дети. Тогда никуда не денутся и мужики.

Чукотский начальник собирается прорыть тоннель под Беринговым проливом и соединиться с Америкой. Похвальное намерение, свидетельствующее о том, что губернатор небезнадежен. Если бы он взялся за мегаполис с абсолютным приоритетом для жизни женщин, они со временем прорыли бы ему и тоннель.

Увидите, идея создания мегаполиса воплотится, и даже скорее, чем это можно предположить.

30 декабря. Лаврентия

Привет, Наиль!

Каково получать письма из Лаврентия?

Открою тебе тайну. Я на Чукотке для того, чтобы отыскать первого младенца, родившегося в двухтысячном году. Хотя — по всем показателям — это маловероятно.

Еще в Москве одна дама, высказав восхищение моим замыслом, вдруг спросила: «А что если родится чукчонок?» Я говорю, что так даже лучше, все же Чукотка — их страна, и вообще кто родится — не наше дело. Но она считает, что должен родиться русский. Тогда это будет символично, потому что чукчи — язычники. Причисляя себя к православным, она думает, что и первый ребенок века должен быть православным.

Спрашиваю: что значит «быть православным»? Отвечает сходу: «Это значит быть православным христианином». Я переспросил. Она уточнила: «Верить в Христа и ходить в церковь. — Потом добавила: — Поститься и читать религиозные книги». Это немало, но в чем отличие от католиков, которые и в церковь ходят, и книги читают, и в Христа веруют? Что тут началось, стоило упомянуть католиков! Она стала возмущаться: как это я посмел сравнить ее, глубоко и по-настоящему верующую, с какими-то католиками? В ней тотчас проявились надменность к католикам и высокомерная ирония в соединении с жалостью — ко мне, заблудшей овце. Я защищался, утверждая, что в Евангелии ничего не сказано о разделении верующих на католиков, православных или протестантов. Тогда собеседница сменила гнев на милость, стала притворно улыбочивой и призналась, что раньше, «до своего воцерковления», и сама так думала. В ней проснулось то умирительное снисхождение, которое отличает искушенного вояку от новобранца.

...Сколько людей, столько и представлений о Боге. У меня — одно, у тебя — другое, у соседа — третье, у этой православной христианки — четвертое...

Выходит, сколько представлений, столько и богов! Можно ли назвать это монотеизмом? И поклоняемся мы скорее не Богу, а своим представлениям, воображая Бога «по своему образу и подобию», в соответствии со своим миропониманием. Чем же мы отличаемся от язычников, которые поклоняются идолам? Тем разве, что у них боги — рукотворные, а у нас — воображаемые. Ответ: поклонение собственным воображениям — не язычество?

А ведь Господь Бог, Которого Спаситель называл Своим Отцом, — конкретен и определен. В Нем невозможно ошибиться, принять за другого. Никому не дано Его познать, но не узнать Его — нельзя. Впрочем, что я говорю! Можно и не узнать... Если не знаешь, какой Он.

«Звать каких богов мы должны, чтоб Рима гибель отвратить?» — мучился Гораций, не ведая, что уже тысячу лет в сердцах человеческих отзывается Хвалебная песнь Давида.

Когда у нас вспоминают Бога? Когда тяжело, а просить помощи не у кого. Но что за просьбы и какой тон! Дай, дай, дай... Я слышал, как говорили: «Подайвай! Бог!» Словно не мы у Него, а Он у нас в услужении. И это при том, что самое большее Он для нас уже сделал. Как и обещал, явил спасение: Сына послал, «чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих»!

Вот у тебя есть сын... Что большее еще у тебя есть? И представь, отдав на очевидное заклятие самое дорогое, в ответ слышишь: «Подайвай!»

Нет, нет, мы просто спятили!

А что, если после всего, что мы натворили, Ему до нас и дела нет? И зачем мы Ему, если даже себе не нужны? Да и нужен ли нам Он? — тоже не Его вопрос, а наш.

«Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе». Отнесись с почтением к запятым и увидишь, что нет для нас молитвы более важной. Так Илия ходатайствовал за богобоязненный, религиозный, почти детский народ. Каковым же должен быть ходатай за нас, и какой должна быть молитва, если даже Голгофы недостаточно?

Спроси у встречного, каковы главные заповеди Божии, и тотчас услышишь: не убивай; не кради; не ври. Но ведь не эти заповеди первые и не они главные. Предположу, что это и не заповеди вовсе, а неперемные условия нашего бытия, без которых Господь не снизошел бы до разговора с человеком. Мы бы еще раз соизнались в незнании Бога, если бы допустили, что, создавая первого человека (по Своему образу и подобию), Он, Господь, забыл вложить в его душу эти добродетели.

Запреты на убийство, воровство и ложь заложены в нас Творцом *изначально*, присутствуют в каждом человеке от рождения в любой точке его обитания и к религии отношения не имеют.

Тогда какова главная и первая заповедь Божия?

Когда ученый муж, не расстающийся с торой, спросил Христа о том же, Он тотчас ответил: «Первая из всех заповедей: «Слушай, Израиль! Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею», — вот первая заповедь! Вторая, подобная ей: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной, большей сих заповедей нет».

Главная заповедь и первое условие состоят в признании того, что Бог Саваоф, Бог Авраама, Исаака и Иакова, есть твой Господь Бог. Только Он и никто больше! Если эта заповедь принимается за наиважнейшую, то и остальные обретают смысл. О том и молился Илия.

Но вот еще один разговор:

— Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную? — спрашивает юноша Иисуса.

— Соблюдай заповеди, — отвечает Спаситель.

— Какие? — Юноша словно не понимает, о каких заповедях идет речь, и получает немедленный ответ:

— Не убивай; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; люби ближнего твоего, как самого себя.

Не услышав откровений, юноша недоумевает:

— Все это сохранил я от юности моей. Чего еще недостает мне?

Значит, соблюдения добродетелей, которыми Бог наделил каждого от рождения, недостаточно, чтобы «иметь жизнь вечную»?

Видя перед собой незрелого юнца, Иисус сказал, чтобы тот продал имение, деньги раздал нищим и следовал за Ним. Остальное Он объяснит после. Да юноша и сам все увидит, все поймет...

И что же? «Услышав слово сие, юноша отошел с печалью». Как считает евангелист, парень не пошел за Иисусом, потому что ему было жаль своего имения.

Нет. Не поэтому состоятельный молодой человек не пошел за Христом. Что в сравнении с имением, пусть даже самым большим, «жизнь вечная», о которой каждый иудей мечтал от рождения? Он потому и отошел от Иисуса с печалью, сожалением и разочарованием, что ему не открыли тайну вечной жизни. Просто юноша не понял, Кто позвал его. Он не признал в Иисусе — Христа. Не узнал Сына, потому что не знал Отца, то есть не соблюдал первой и главной заповеди. А тех, что «сохранил от юности своей», оказалось недостаточно для обретения вечной жизни.

Понадобились земной путь Спасителя, Фавор, Гефсиманская ночь и Голгофа, чтобы следовавшие за Ним поняли: вера без дела — мертва: «Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут» (Иаков, 2. 19)

Эскимосы и чукчи не знают Бога, а мы, которые «знаем», нарекли их язычниками. Но эти северные народы намного ближе к Богу, чем мы, как ближе к Нему те галилейские рыбаки, которые первыми признали в сыне плотника — Сына Божиего.

Я встречаюсь с эскимосами и чукчами, которые не знают Евангелия. Но вся их жизнь проходит в неустанном труде, в борьбе за хлеб насущный, в любви к ближнему и заботе об очаге. Если кто-то попадает в беду, к нему на выручку спешит первый встречный. На Севере всегда существовало святое правило поддерживать ближнего, делиться последним куском пищи. Не имея средств к существованию, охотники, рискуя жизнью, вылавливают кита, вытаскивают на берег и зовут всех жителей разделить с ними добычу, ничего не требуя взамен. Хотясь, они не убивают зверья или дичи больше, чем необходимо на пропитание, и всегда просят прощения у животного, ими убитого. Собирая грибы или ягоды, не набивают полные короба и кошелки. Им и в голову не приходит все это продавать или на что-то обменивать. Они собирают столько, сколько надо, чтобы не голодала семья. Я не встречал, чтобы кто-то из чукчей шил одежду «на продажу», желая разбогатеть, нажиться.

Вот что рассказала пожилая науканская эскимоска, хранящая в памяти многие предания.

В Наукане некогда жили мудрецы, которые могли предсказывать не только погоду, но и судьбы людей и даже будущее народов. Они отводили беду, оберегали от вторжений чужеземцев, исцеляли больных, могли понимать не только иностранную речь, но и язык животных, птиц и даже рыб. Это — великие шаманы, наиболее уважаемые и авторитетные из всех жителей Севера. Эскимоска помнит о них из рассказов старожил.

Я спросил: случалось ли, чтобы шаман ходил по воде? И эскимоска рассказала, как однажды с Аляски привезли ружье. Когда-то они были редкостью и в большой цене. Во время охоты на моржей охотник случайно выронил ружье в море. Все были в отчаянии, а виновник был готов прыгнуть вслед за оружием. Но за охотой со скалы наблюдал великий шаман. Он видел, что произошло. Спустившись к морю, он сел в лодку, подплыл к охотникам, а затем прошел по воде к тому месту, где обронили ружье. Шаман произнес заклинание, потом наклонился, словно шаря по дну, и достал ружье к всеобщей радости. Вот какие были шаманы!

Я поинтересовался: был ли случай, когда шаман мог накормить множество голодных? Эскимоска ответила, что и такое бывало. Когда замерзал Берингов

пролив и не было возможности добывать морского зверя, наступал жесточайший голод. Тогда в Наукан приезжали чукчи и эскимосы из близких и далеких селений в надежде хоть немного добыть еды. И науканцы их выручали. Они обращались к великому шаману, и тот с помощью заклинаний доставал вдоволь мяса и жира. Всё могли шаманы!

Тогда я спросил, не помнит ли эскимоска, чтобы шаман исцелил слепого. И она ответила, что в детстве ей приводили множество примеров того, как шаманы вылечивали безнадежно больных. Был случай, когда исцеленным оказался слепой от рождения мальчик. Его родители обратились к знаменитому шаману Скребущая Женщина. Тот пришел, одетый в шкуру медведя, поставил перед собою слепого и произнес: «Чтобы исцелить, я превращаю тебя в землю, а сам становлюсь огромным медведем. Я сильный! Я разрываю землю и разбрасываю ее. Потом кладу болезнь в дыру и зарываю. Так я делаю тебя здоровым!» Он взял немного земли, смешал ее со слюной и помазал глаза мальчику. И тот прозрел — к радости родителей и удивлению всех жителей!

И что, спрашиваю эскимоску, могли даже воскрешать мертвых? Да, отвечает, и такое было. Они все могли, эти великие шаманы!

Был случай, когда поднялся страшный шторм. Охотники плыли на вельботе от острова Ратманова, тщетно пытаюсь пристать к берегу. Весь поселок с тревогой следил за неравной борьбой стихии и человека. Предчувствуя беду, люди запричитали. Еще мгновение — и охотники погибли... Но был среди жителей шаман. Он поднялся на утес, возвел руки и произнес заклинания. Тогда будто коридор образовался между страшными волнами, и находившиеся в вельботе по нему добрались до берега.

Были среди шаманов и женщины. Одна из них много лет назад обратила внимание на молодую эскимоску с большими карими глазами, отзывчивой душой и красивыми руками. Шаманка эта была самой искусной рукодельницей во всей прибрежной тундре. Она знала секреты и потому могла шить так, как никто другой. Предчувствуя скорую кончину, шаманка призвала девушку, взяла ее руки, внимательно оглядела их, произнесла заклинание и подарила девушке наперсток. После этого молодая эскимоска постигла сокровенные таинства швейного мастерства и вскоре стала великой мастерицей, известной на Чукотке и далеко за ее пределами. У эскимосской девушки было необычайно красивое имя — Преломляющаяся Волна, она из рода Ситкунагмит.

Меня интересовали все новые вопросы, и, конечно, я не мог не спросить про блудниц: мог ли шаман отвратить их от богохульства? На это эскимоска ответила, что блудниц в Наукане не было, но шаману, которому под силу воскрешать, ничего не стоило вернуть грешницу на стезю добродетели.

«А воду мог превратить в вино?» — не унимался я. Но эскимоска сказала, что такого не припомнит. До появления американцев науканцы вообще не пили. Шаманы заклинали не пить, предупреждая: «Станете пить и курить — вымрете».

В конце разговора я поинтересовался, читала ли она Евангелие. Она тихо и, мне показалось, смущенно призналась, что не читала. Но добавила, что хочет прочитать. Когда я спросил, что она думает о возможном рождении первого младенца нового века в Лаврентия, она стала говорить о нем, еще не родившемся, тепло и радостно, а уж кто это будет: чукчонок, эскимос или русский — не важно. «Это, — сказала она, язычница, — как Бог даст».

Видишь, и вера без дела мертва и дело без веры — тщетно.

3—5 января. Лаврентия

Привет, дорогая Вероника!

С Новым годом!

Не знаю, скоро ли ты получишь это письмо, но событие здесь произошло великое и почти неправдоподобное.

Все случилось по сценарию, который иначе, чем чудом, не назовешь. Я уже был готов «придумать» Младенца-2000, для чего выяснял, как рожают в тундре,

но жизнь еще раз доказала, сколь ничтожны наши замыслы и мелки вымыслы, как недооцениваем мы молчаливые заговоры, ожидания и желания, которые способны воплотиться.

Итак, в ночь на первое января в Лаврентия родился мальчик! Он появился на свет через пятнадцать минут после наступления Нового года.

Теперь подробности этого события.

Я до последнего надеялся на то, что младенец родится именно здесь, и многие желали того же, но навязчивой идеей, кроме меня, никто не страдал. Родится — так родится, а нет — тоже не беда. Акушерки сочувственно отнеслись ко мне, желая, чтобы у меня получился интересный материал, и, как мне показалось, готовили в роженицы местную жительницу. Но она родила рано утром 31-го. Когда я об этом узнал, то расстроился окончательно, потому что исчезла последняя надежда. Огорчились и акушерки, но сказали, чтобы я на всякий случай позвонил ближе к вечеру: вроде бы есть еще кандидатура.

Стемнело уже к трем, а ровно в четыре я позвонил в роддом. Трубку сняла Валентина Николаевна. Она дежурит и встречать Новый год будет в больнице. Вот ее ответ:

«Мы сейчас готовим роженицу, но у нее еще нет родовой деятельности. Мы за ней наблюдаем. Она из Энурмино, ждет уже третьего ребеночка, очень хочет сына, и по всем признакам у нее будет мальчик... Звоните...»

Я нашел в себе силы не тревожить врачей до вечера и позвонил только в десять. К телефону никто не подошел, что было подозрительно. Ничего не оставалось, как бежать в роддом.

Мороз, звезды, вокруг ни души. Вижу дымку, поднимающуюся из-за сопки. Так зарождается северное сияние. Откуда-то выбежала огромная собака и шагнула от меня. Я думал, волк. Недалеко от больницы замечаю звезду, столь медленно падающую, что успеваю загадать желание... Позже рассказал об этом, но мне не поверили. Говорят, в декабре звезды не падают, и теперь я уже сам не верю в то, что видел. Пока добежал до больницы — страшно замерз. Поднялся на второй этаж. Звоню. Открыла Валентина Николаевна: «Кажется, начались схватки. Идите встречайте Новый год и звоните где-нибудь в начале второго...»

Я вышел из больницы и обомлел. От ближайшей сопки, через поселок, протянулась широкая красноватая лента. Мне даже почудились хлопки, и, пока я шел, вырастали все новые круги этого сказочного серпантина, которые, колыхаясь и разматываясь, переносились к заливу. Но даже эта неописуемая красота не могла отвлечь меня от того, что происходило в родильном отделении. Скорее я рассматривал северное сияние как явление, сопутствующее чему-то более важному и значительному. Ожидаемое чудо способно подчинить себе происходящее вокруг, объединить кажущийся хаос в гармоничный мир, где всему найдется и место, и время. Тогда мир становится видимым, понятным и даже дорогим, и мы замечаем неотделимость от себя всякого действия, всякой вещи и всякой твари, а себя чувствуем центром мира и, подобно Вермееру, собравшему в единое полотно разбросанный Дельфт, начинаем по-настоящему беречь и любить то, чем окружены...

Только вернулся к себе, как тут же раздался звонок: Маргарита Сергеевна, у которой собралась вся семья, пригласила меня встречать Новый год. Через пять минут я был у нее. Многочисленные внуки Маргариты Сергеевны снуют по квартире, все в предновогоднем возбуждении, а у меня в голове лишь одно: что сейчас в роддоме? Без четверти двенадцать звоню. Трубку сняла санитарка: «Эльвира рожает!»

Бегу в роддом. Северное сияние всюду колыхается над Лаврентия. Прибежал в начале первого, так что Новый год застал меня в дороге. Дверь открыла миниатюрная санитарочка и проводила в кабинет дежурного врача. Через несколько минут в кабинет вбежала Светлана Геннадьевна, врач-гинеколог, которая вместе с Валентиной Николаевной принимала роды: «Надевайте халат — и за мной!» Меня одели, дали тапочки. Я был в смятении, потому что еще не окзывался в подобной ситуации.

Первое, что увидел, войдя в небольшую комнату, — Валентина Николаевна, улыбаясь и светясь, держит перед собой шевелящийся и кричащий розовый

комочек. Это и есть Младенец-2000! Она бережно положила его на небольшой столик. Ребенок то затихал, то вновь кричал. Это был не плач, не мольба о помощи, а настоящий крик, выражающий радость. Он и до сих пор у меня в ушах. Ничего более торжественного я не слышал.

Поверишь ли, но, когда я, обомлевший, не отрываясь, смотрел на это теплое и радостное создание, во мне невольно пробудились строки из Евангелия: «Истинно, истинно говорю вам: прежде нежели был Авраам, Я есмь».

Только спустя некоторое время я увидел роженицу. Она лежала на высоком столе, была тиха, спокойна и счастлива. Смущения от моего присутствия не испытывала, видимо, принимая меня за врача. Смущался больше я, пытаюсь ее о чем-то спрашивать.

— Вы знаете, что ваш сын — первый ребенок двухтысячного года на Земле?

— Да, конечно...

— Как вы его назовете?

— Ромой. Дед и муж так хотели.

— Кем он будет?

— Не знаю...

— Берегите Рому! Он прославит Энурмино и Чукотку...

Я извинился и, перед тем как выйти, еще раз взглянул на младенца. Он в это время зевнул. Надо же, не успел родиться, а уже зевает!

Затем акушер-гинеколог прошла в кабинет дежурного врача оформлять документы, а Валентина Николаевна осталась с Эльвирой и Ромой. Я же не знал, куда бежать и кому звонить. Акушерки тоже нервничали, потому что был строгий приказ немедленно сообщить о новорожденном в Анадырь. Но ни с Анадырем, ни с каким-либо другим городом связи не было и раньше утра не будет. Ошеломленный произошедшим, я наблюдал за тем, как Светлана Геннадьевна заполняет документы.

Воспроизведу казенный язык медиков: «Первого января двухтысячного года, в ноль часов пятнадцать минут, на высоте потуги родился живой доношенный мальчик с оценкой по Апгар — восемь—десять баллов. Закричал сразу громко...»

Записывала Светлана Геннадьевна быстрым и неразборчивым почерком, а я уже не мог оставаться на месте. Надо было хоть с кем-то поделиться вестью о событии, свидетелем которого были лишь я да акушерки.

Прибежал в Дом культуры, где в это время проходили новогодние торжества. Собрал тех, кто там был, и зачитал известие о рождении ребенка. Все спрашивали: откуда мама, какой вес, какой рост? Каждый мой ответ сопровождался криками «ура!». За радостную весть Дед Мороз вручил мне шампанское. Я вернул в свою келью и, сидя в темноте, осмысливал произошедшее...

Энурмино — маленький заполярный поселок, расположенный на берегу Ледовитого океана, неподалеку от мыса Сердце-Камень. Добраться туда можно лишь вертолетом или вездеходом. Основное население — чукчи. Русские почти все выехали. Единственные средства к существованию — охота и рыболовство.

Эльвира Росхином родилась в многодетной семье, точнее, в многодочерной: семь девочек и только один сын, к тому же младший! Так что навыки женского труда у нее такие, каких не даст ни одно училище. Мама Эльвиры была мастерицей на все руки. Работала швеей в пошивочной мастерской, воспитательницей в детском саду и, кроме прочего, прекрасно готовила. К несчастью, она умерла в 1989 году. Отец Эльвиры — охотник. Эльвира вышла замуж и родила двух дочек: Соню — в 1991 году и Регину — в 1994-м. Муж — истопник в интернате, а отец мужа — охотник. Сама Эльвира работает поваром в школе. Получает 450 рублей, но и этих денег с июля не видела. Живет семья, как и большинство энурминцев, по спискам... Не знаю, как объяснить французам... Это похоже на то, как совершаются покупки у вас: без наличных денег. Только здесь можно купить лишь ограниченный товар в ограниченном количестве: муки — один килограмм на человека, сахара — полтора, кое-какую крупу, хлеб... Бывает, не «дают» и этого. Летом продукты подвозят на барже. Зимой — только вертолетом. Поэтому питаются тем, что удастся добыть на охоте: китятиной, мор-

жатиной, нерпой и лахтаком. С олениной сейчас плохо. Из одежды покупают лишь обувь. Остальное — кухлянки, нерпичьи штаны и зимние торбаса — Эльвира шьет сама.

Проживает энурминская семья в маленьком домике, где есть только кухня да комната. Двадцать лет стояло бесхозным строение, без крыши, пока Эльвира с мужем не решили его достроить. Удобства в домике минимальные. Зимой, а в Энурмине почти всегда зима, трактор подвозит лед, его откалывают, бросают в бочку, лед тает, и проблемы с водой нет. А чтобы воду нагреть, достаточно поставить ведро на печку. Потом мойся сколько душе угодно.

В Энурмине нет развлечений, кроме телевизора. Зато есть тундра и море, которые заменяют все на свете. Неподалеку, на мысе Нэттэн, в избушке, оставшейся от полярной метеостанции, живут друзья Эльвиры, и она любит у них гостить с мужем и дочерьми. Часто ходят за ягодами и растениями. В тундру манит, там не бывает скучно. Конечно, две дочери — хорошо, но муж и особенно дед хотели сына и внука, надеялись на то, что Эльвира подарит им такую радость. И вот она родила мальчика. Да какого!

Здравствуй, первый ребенок 2000-го!

1 января 2000 года в 00 часов 15 минут в родильном отделении центральной райбольницы в Лаврентия появился на свет первый в стране новорожденный XXI века. Это мальчик, которого уже назвали Романом. Рост 56 сантиметров, вес — 3 килограмма 750 граммов. Родители ребенка Эльвира Росхином и Юрий Анкарольтын — жители Энурмино. Роды приняли акушер-гинеколог С. Г. Быстрова и старшая акушерка родильного отделения райбольницы В. Н. Порохня.

**ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ С РОЖДЕНИЕМ НОВОГО ЖИТЕЛЯ
Энурмино, района, Чукотки, Российской Федерации,
ВСЕГО МИРА!**

*«Народ и власть». Пресс-бюллетень
Совета депутатов и администрации
Чукотского района. 7 января 2000 г.*

..Я просидел в темноте, тишине и раздумье до самого утра.

В пять тридцать за мной заехала машина, я зашел за Маргаритой Сергеевной, она надела эскимосскую одежду с узорами, взяла ярар, привезенный с Аляски, и мы отправились на близлежащую сопку встречать восход солнца — первый в двухтысячном году. Мне было важно встретить этот восход с кем-нибудь из науканских эскимосов. Ведь именно они и их предки первыми на Земле видели солнце нового дня. К счастью, Маргарита Сергеевна согласилась.

Мы проехали мимо родильного дома, и по пути я рассказал о ночном событии. Рассказывая о рождении Ромы, я неотрывно смотрел на горизонт, опасаясь прозевать восход: следующего придется ждать тысячу лет! И то, если в тот далекий от нас день будет безоблачно...

Между Лаврентия и ближайшей сопкой мы остановились и выскочили из машины. Наши взоры устремились на восток. Он начинался неподалеку, можно сказать, под ногами. Горизонт набух до предела и был готов взорваться. Сопки за нашими спинами уже окрасились в розовый цвет, и стоявшие на них могли бы видеть восход прежде нас, но там сейчас никого нет, и мы первыми увидим солнце. Науканская эскимоска застучала в ярар: бум-бум-бум...

Нани тук атуг'лаку?

Мани ка Нувуками!

Аия-йя-аа-на,

Аия-йя-аа-на-йя...

И вместе с растекающимися по тундре звуками древнего гимна из-за горизонта вырвались, в мгновение достигли нас и тотчас ушли на запад первые солнечные лучи, и следом стало всплывать огромное малиновое светило. Оно не

было круглым и казалось придавленным невидимой силой, будто само время сопротивлялось новому восходу, отчего пульсирующий овал был неправильным и создавалось впечатление, что солнце сложено из кирпичей. Поднимался этот мозаичный овал тоже не плавно, а рывками, подчиняясь звукам ярара, словно пританцовывая...

Где же мне петь эту песню?
Здесь, в Наукане!
Аия-йя-аа-на,
Аия-йя-аа-на-ия.
На вершине горы Ингэрук,
Там, где начинается Земля,
Там, где люди встречают Солнце!

Солнце поднималось все выше и становилось ярче. Мороз не позволял долго наблюдать за восходом, но я ждал, пока луч докатится до кирпичного здания на краю Лаврентия: там сейчас родившийся в полночь младенец. Это его первое утро, и я видел, как в окно на втором этаже заглянул его первый солнечный луч... Этот луч полетит дальше, пронесется по тундре, пробежит Якутию, пройдет через леса Сибири и горы Урала, минует Поволжье, долетит до Западной Европы, достигнет Парижа и, когда в Лаврентия уже настанет ночь, все еще будет лететь над морями и океанами, континентами и островами... Сколько рук и лиц будут тянуться к нему, прежде чем солнечный луч, обогнув планету, вернется на Аляску, чтобы снова взойти над горизонтом, здесь, у восточных окраин Чукотки!

...Теперь можно уезжать. Все, что я задумал, все, чего желал, — совершилось. И больше того. Гораздо больше. Я со страхом думаю о том, как это изложить, какими словами. Ведь то, чему я стал свидетелем, настолько грандиозно, что, если и отважусь что-либо написать, получится лишь бледная тень того, что произошло на Чукотке на рубеже веков и тысячелетий.

Так, может, правильнее утопить в памяти все увиденное, чтобы не искажать его?

Но тогда зачем я здесь? И почему произошло все именно так, как я того желал?..

30 января. Анадырь

Дорогой Иверий!

Наконец-то я выбрался из Лаврентия, в котором застрял больше, чем на месяц.

Никогда еще я не был в такой зависимости от обстоятельств, ни разу моя свобода (если исключить службу в армии) не была так ущемлена, а воля в такой степени парализована. И это при том, что никто ни в чем меня не ограничивал. Я был волен в делах и поступках, ни от кого не зависел. В то же время я мог находиться лишь на ограниченном пространстве. Никакие заборы у Лаврентия не нужны: и без них никуда не денешься. Но теперь ясно, что без «заточения» в Лаврентия Чукотка была бы гораздо более далекой от того образа, который я составил.

Анадырь, серый и неприветливый, с бестолковым и хаотичным нагромождением типовых зданий, дыра, в которой некуда себя деть, показался едва ли не европейским центром, светочем цивилизации и средоточием культуры. Я не мог налюбоваться его архитектурой, жизненной мощью, ночными огнями, улицами и площадями, интеллигентными лицами, то есть всем тем, что месяц назад повергло меня в шок и вызвало неопишемую тоску. Что же будет, когда вернусь в Москву? Какой предстанет столица, к которой я до сих пор оставался равнодушным? Поразительно, но я мечтаю пройтись у Никитских ворот. Нет, больше я не обреку себя на подобное небрежение свободой. Буду лишь там, откуда можно выбраться и где всякое перемещение будет в полной зависимости от моего желания, а не от того, чего и не объяснишь...

Что значит выбраться из далекого северного поселка? Никто не знает, кроме жителей этих поселков. Единственный транспорт — самолеты и вертолеты, и летают они не по расписанию, хотя оно и имеется, а по воле случая. Зная это, северяне не ропщут, не негодуют, а отдают себя в руки Провидения и смиренно ждут: день, два, три... неделю, вторую, третью... Могут прождать и месяц, и два, столько, сколько надо. Не то что жители материка — дерганые, психованные, нервные. Задержка самолета на час-другой доставляет им муки. Если вылет задержится на сутки, они звереют, превращаются в агрессивную и на все готовую толпу, мечутся по аэровокзалам, атакуют начальство, пишут жалобы «навехр» и даже создают общественные комитеты. Самое неприятное, что при этом они носятся по залам ожиданий и задевают полами своей одежды мирно дремлющих граждан.

Кстати, кто эти невозмутимые граждане, третьи, четвертые или десятые сутки находящиеся в аэропортах Краснодара, Хабаровска или Москвы?

Это наши северяне, возвращающиеся из отпуска или, напротив, в отпуск направляющиеся. Не обязательно все они из Лаврентия, Анадыря, Певека или Эгвекинота. Возможно, они с других полярных широт. Север — большой! А вот мы, человеки, ма-а-ленькие. И если так, надо тихо сидеть, не роптать, умерить гордыню, потому что лишь Богу ведомо, надо ли нам, беспомощным и хилым, лететь тотчас или лучше задержаться на недельку-другую и подумать кое о чем?

«Мы, когда из отпуска возвращаемся, три—четыре дня посидим в Москве, потом недельку-другую в Хабаровске или Магадане, потом дней десять — пятнадцать в Анадыре... Пока домой доберешься, так устанешь, что хоть снова отпуск бери», — делилась впечатлениями одна степенная лаврентийка. Она же призналась, как однажды возвращалась из отпуска и все эти пересадки-перелеты происходили без задержек, ожиданий и проволочек. Добралась до Лаврентия за три дня! Теперь, говорит, о том отпуске и вспомнить нечего...

Многодневное «сидение» в аэропортах требует не только выдержки и терпения, но и особенной культуры, и специфической дорожной экономики. Если ты пребываешь в аэропорту неделю, надо так распорядиться деньгами, чтобы их хватило на сам отпуск. Малейшее расслабление в баре или ресторане может закончиться тем, что ехать дальше будет не на что. То же и дорога домой: в отпуске надо так тратить деньги, чтобы часть их осталась на многодневный обратный вояж. Ведь, даже благополучно долетев до анадырского аэропорта, можно уже в нем просидеть одну-две недели, дожидаясь, пока наладится погода. В результате всякая поездка невольно превращается в путешествие, с тяготами и лишениями, которые, кроме того что закаляют нервы и делают выносливым, насыщают жизнь эмоциями и переживаниями. Да такими, что затем год или два можно обходиться без них.

Мне рассказали, как некий пассажир, добираясь до Уэлена, две недели прождал в Анадыре, затем столько же в Лаврентия, потом безнадежно застрял в самом Уэлене и... стал писателем. Он не сидел сложа руки, а записывал ощущения, впечатления, переживания, и не только свои, но и соседей по залам ожиданий. Он даже выведал и переложил на бумагу галлюцинации, кои посещали самых нетерпеливых пассажиров. В итоге получилась любопытная книга.

А если к галлюцинациям добавить описание казенных стен, полов и потолков, рассказать подробно о сиденьях и скамейках, косяках, дверных ручках и о самих дверях, да расписать их скрип (ведь не найти в России нескрипящую дверь!), если скрупулезно разобрать графити на стенах туалетов и буфетов, вывести образы буфетчиц, уборщиц и кассиров, показать диспетчеров, летчиков, стюардесс, попутчиков, запечатлеть их говор, изобразить походки, раскрыть характеры, а уж если заглянуть в их души... Здесь не романы — эпосы писать можно. И если только не закончился век книги и возможны великие литераторы, то только у нас, в России, из ее

душераздирающих недр может произойти нечто значительное на этом, казалось, уходящем поприще.

Как же я выбрался из Лаврентия?

Все планы и многое сверх того я выполнил ко второму января и был готов вернуться в Анадырь, куда меня обещали доставить первым же бортом. Отдаю должное — слово сдержали. Вот только первый борт пришлось ждать месяца.

Сначала были новогодние праздники, и потому самолеты не летали. Потом новогодние праздники плавно перешли в рождественские, в дни которых работать еще больший грех, чем в новогодние. Затем, когда закончились праздники и можно было улетать, началась пурга...

Если по прошествии двух месяцев пребывания на Крайнем Севере меня попросят назвать самое впечатляющее из всего, что я здесь увидел и с чем Чукотка будет ассоциироваться до конца моих дней, отвечу не задумываясь. Но назову не сине-розовые сопки, не чудных оленей, не диковинных моржей, не загадочную ярангу, не собачью упряжку и даже не северных красавиц, хотя все они символы Чукотки. Я назову пургу. Она — настоящая хозяйка Чукотки и десница Божия в этом крае.

Кто здесь был и не пережил пургу, тот не знает Чукотки. Напротив, тот, кто на Чукотке не был, но хотя бы раз попал в пургу, даже если случится она в Африке, сможет составить представление о Чукотке.

Люди гадают: какого цвета пурга? И одни уверяют — белая, другим она кажется серой, третьи убеждены, что пурга синяя, а есть такие, которым пурга видится черной. Сколь однобоки эти суждения! Столь же нелепо выяснять, какого цвета Джоконда.

Многие задаются вопросом: как звучит пурга? Завывает ли, словно голодный полярный волк, или рычит, как истосковавшийся белый медведь, а может, она хрипит, подобно могучему гренландскому киту? Или, быть может, пурга порождает шум стаи полярных птиц, еще не ведомых человеку? Всякое сравнение уместно и вместе с тем неточно. Ведь то, что слышит один, по-иному слышит другой и совсем не слышит третий, потому что звучание пурги многомерно и многоголосно. Это нескончаемая месса, состоящая из бесчисленных хоров и оркестров, дирижирует которыми Сам Господь.

А есть ли у пурги запахи? Конечно. Не может столь грандиозное действо обойтись без запаха. Но если он существует, то каков он? И кто сможет его определить? Ведь для этого во время самой страшной пурги нужно выйти из дома, встать на открытое, незащищенное место и обратиться к стихии лицом... Только отчаянного безумца, решившегося на эту дерзость, пурга наградит необычайным, ни с чем не сравнимым ароматом, соединившим влажные запахи северного моря со свежим дыханием прибрежной тундры. О-о-о! Даже глоток этого опьяняющего коктейля испить под силу не каждому.

Сама пурга — великая тайна. Никто не знает, когда она начнется, откуда придет, тем более — когда закончится. Пытаясь предсказать стихию, самонадеянные люди будут указывать на солнце и луну, на звезды и на собак, станут что-то выискивать в поведении детей, прислушиваться к старикам... Все это к пурге отношения не имеет. Стар и млад, опытные метеорологи и коренные жители, полвека прожившие в тундре, бессильны в прогнозах. Пурга неподвластна им, и я свидетель, как рушились самые авторитетные предсказания. Пурга всегда действует по-своему.

Седьмого января намечался рейс в Анадырь, но за сутки до этого с запада подул ветер и началась пурга. Как мне объяснили — «низовая». Не было ни единого облака, солнце сияло ярче обычного, но по земле стелился бушующий ураган, нещадно выметая остатки снега из лаврентьевских закоулков. Спустя сутки от снежного покрова не осталось и следа. Вместо снега пурга забавлялась песком, кружила его и уносила в сторону Берингова пролива. Стать против этого обжигающего потока — все равно что ошкурить себя наждачкой. Я ликовал: наконец-то! Но мне говорили, что это только легкий ветерок...

Лаврентьевцы утверждают: если пурга длится три дня и не стихает, значит, продолжится до шести; если не утихнет в шесть дней — будет бушевать девять и так далее с циклом в три дня. Так во Франции подают к столу сыры: обязательно в нечетном количестве — один, три, пять, семь... Но изысканный сыр — во власти французов, а пурга не подвластна никому. То, что происходило, опровергало все, о чем предупреждали местные жители. Пурга длилась и пять, и четыре, и восемь суток кряду. Она подкрадывалась к Лаврентия с разных сторон, но набрасывалась на поселок только с запада. И это было единственное предсказуемое действие стихии.

...Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь, остервенясь,
На город кинулась...

Если бы Александр Сергеевич заменил только одно слово (Неву на пургу) — ничего более точного о поведении пурги сказать было бы уже невозможно...

Пробушевав несколько суток, пурга затихала, дразня тех, кто мечтал вырваться из Лаврентия, но, едва надежды укреплялись, она возобновлялась. Пурга менялась и преображалась, становилась влажной, сухой, низовой, верховой — какой угодно, но только не останавливалась. Так хозяин дорогого ресторана, демонстрируя меню богатому гостю, обхаживает его, подкладывает лакомые кусочки и спрашивает: «Ну как?» И когда, кажется, уже испробовано все и не осталось блюда, которое бы не было вкушено, хозяин прищелкивает пальчиками: «А у меня припасено еще кое-что!»

Кроме того, что пурга непредсказуема, она не поддается заговору или заклинанию. Ни шаманы, ни колдуны, с их камланиями и причитаниями, ничего с нею не поделают. Пурга — сама колдунья, шаманка и заклинательница. Она — королева и владычица Чукотки. Покорства, благоговения и безоговорочного смирения — вот чего требует пурга. И добивается своего.

Никто не освободит из-под власти пурги. Даже самые сильные и могущественные мира сего, самые отважные и отчаянные не вырвут из ее плена. И если владыки супердержав прикажут вытащить вас из объятий стихии и доставить к себе, это вызовет зловещую ухмылку пурги. Власть человека заканчивается с первым ее вздохом...

Антон Павлович Чехов, проезжая в поезде по нашим бескрайним просторам, записал на станции в Екатеринбурге: «На улице снег, и я нарочно опустил занавеску на окна, чтобы не видеть этой азиатчины».

А я, сидя в своем лаврентьевском убежище, плотно занавешивал окно, чтобы не видеть того, что за окном... ничего не видно.

Удивительно, но по прошествии времени начинаешь понимать: пурга вовсе не равнодушна и далеко не бесчувственна. Не напрасно кружит она дни и ночи и не случайно не выпускает из своих рук. И если пурга продолжает хозяйничать, значит, не все ее планы приведены в исполнение, значит, и ты еще не все понял, не все прочувствовал, не все вопросы задал себе. Глядя на нескончаемую стихию, не надо просить, чтобы она затихла. Лучше спроси себя: что еще не сделано и о чем еще не подумано, коль скоро пурга дает шанс еще раз обратиться к себе?

Пурга не зла и не жестока. Напротив, она добра и гуманна. И прежде чем считать ее жертв — замерзших, потерявшихся, исчезнувших, — уместнее задуматься о том, скольких торопливых и самоуверенных удержала пурга от опрометчивых шагов! Скольких отчаянных смельчаков она заставила считаться с собою и тем спасла! Скольких пурга северная сделала кроткими, смилив их гордыню — этот величайший грех!

Вот, говорят, пурга началась, и человек замерз, пропал, исчез... А зачем он искушал стихию? Почему пошел тогда, когда не следовало бы идти? Уверяю, ни одной жертвы не было по вине пурги. Но всякая гибель — урок остальным, в особенности тем, у кого короткая память.

Ошибочно считать, будто пурга, удерживая в своем плену, наказывает. Напротив, она благоволит, оказывает расположение. И чем дольше ты остаешься ее пленником — тем это почетнее, тем ты значительнее и желаннее. Ведь не чья-то злая воля, не властный указ, но Сам Господь сокрыл тебя под своей сенью, успокоил и дал шанс творить. Не потому ли именно под неистовые и могучие симфонии пурги были рождены высшие достижения северного искусства? Там, в теплом пологе яранги, под тусклой лучиной жирника, рождались шедевры из кости, придумывались легенды и сказания, создавалось замечательное шитье, изобретались приспособления для охоты и рыболовства, обдумывались способы ловли морского зверя...

Когда пурга немного притихла, я выбрался в магазин, где стал участником обсуждения стихии. Кто-то сказал, что согласно поверью пурга не закончится, пока не похоронят человека, скончавшегося еще в канун Нового года.

— Почему же его не хоронят? — спросил я.

— Пока не стихнет пурга, кладбище не отыщешь, — ответили мне.

— Но ведь вы говорите, что она потому и не стихает, что не хоронят!

— Верно, — отвечают.

— Так что же делать?

— Ждать, пока стихнет.

Вот такая логика!

В один из вечеров я наблюдал по телевизору оживленную дискуссию о цензуре, о том, нужна ли она в современной России, во благо ли будет ее введение или во вред... Один из участников — могущественный олигарх — доказывал, что цензура нужна, потому что журналисты теряют чувство меры, вываливая на головы людей потоки грязи. Другой участник — уважаемый политик — доказывал, что цензура не нужна, что люди в состоянии отделять зерна от плевел... Но вдруг на самом интересном месте дискуссия прекратилась: осерчавшая пурга разорвала кабель, идущий от ретранслятора. Отключились также телефон и радио. К счастью, пурга оставила электричество. Теперь мне понятно, почему на Севере трудно скрывать правду, даже если ввести самую жесткую цензуру. Одна большая и неоспоримая Правда открыта каждому: человек — карлик, он ничтожен и беспомощен перед ликом Божиим.

Шестнадцатого января пурга, наконец, стихла. К вечеру показались звезды — предвестники хорошей погоды. Несмолкаемый грохот и рев сменились порывами, которые становились все реже, и ночью пурга лишь тихо подвывала, иногда замолкая вовсе. Тишина казалась непривычной. Впервые за десять дней я услышал ласковый шум лаврентьевских котельных, ранее меня раздражавший и казавшийся нестерпимым. Утром показалось солнце... Но оно еще только восходило, как усилился ветер. Вскоре стало ясно, что пурга ушла лишь для того, чтобы набрать разбег. К вечеру она уже вовсю бушевала, а ночью проявилась в доселе невиданном буйстве. Снежные лавины с грохотом и воплем пронеслись вдоль главной улицы. Плотность этой массы была такова, что не было видно домов на противоположной стороне. Я выходил на крыльцо и с восторгом обозревал стихию. Но если бы я высунулся за угол, убийственный поток смел бы меня и унес неведомо куда.

Если бы подобное хотя бы на минуту... Что я говорю! На тридцать секунд, даже на десять случилось в Москве, в мире бы не было теле- и радиостанций, ни одной газеты, которые на первый план не вынесли бы сводку об этой катастрофе.

Как можно здесь жить? Как здесь любить, строить дома, выпекать хлеб?.. Как можно рожать детей, растить и воспитывать их?

Но вот во время страшной пурги, когда за десять шагов ничего не видно и бесследно пропасть можно в центре поселка, я задал эти вопросы пожилой эскимоске. И она ответила, улыбаясь: «А мне нравится такая пурга, я люблю этот ветер и этот шум... В детстве нас связывали веревкой друг с другом, и мы цепочкой шли по улицам нашего Наукана. Это очень хорошая погода! Это наша погода! Жара невыносима, мы от нее изнемогаем. Но, когда вокруг все бушует, и

сопки не видны, и вообще ничего не видно, тогда мое сердце наполняется радостью и свободой... Хочется петь и танцевать! Это самая лучшая погода!»

Вот для кого Чукотка!

Теперь вернусь к своему отлету из Лаврентия.

Пурга ненадолго останавливалась, давая шанс выбраться. На одиннадцатое был заказан транспортный рейс из Анадыря, которым меня грозились вывезти. Однако выяснилось, что начало Нового года, века и тысячелетия — хороший повод для введения строгого режима экономии, и потому на рейс не нашлось денег. Через четыре дня ожидался прилет пассажирского самолета, и — о чудо! — погода установилась замечательная. Ветер почти стих. Казалось, бери и лети, но... Это в Лаврентия, куда должен прилететь самолет, замечательная погода. А в Анадыре, откуда он вылетает, погода ужасная. Там всюду бушует пурга.

Вот так! Едва установится погода в Лаврентия, задует не с того боку в Анадыре; только успокоится в Анадыре — начнется пурга в Лаврентия; наладится погода в Лаврентия и Анадыре — заметет в Providения.

— При чем здесь Providения?

— Как при чем? Там находится запасной аэродром, без которого самолет не может вылететь: нельзя рисковать здоровьем граждан, — втолковывали мне.

— Так у меня уже не осталось здоровья, — жаловался я, но меня успокаивали и говорили, что я выгляжу намного лучше, чем когда только прилетел в Лаврентия.

В один из дней стих ветер и наладилась погода во всех трех пунктах. Я стал собирать вещи. Вдруг мне сообщили, что на близлежащие сопки, по которым ориентируются летчики, опустился туман и их вроде бы не стало видно.

— Как же не видны сопки, когда я их вижу? Вот они, посмотрите! — возмущался я в приемной у главы администрации, призывая присутствующих ответработников выглянуть в окно.

— Это не те сопки. Тех, что надо видеть, как раз не видать, — отвечали работники, не поднимая головы и поправляя теплые оренбургские шали.

В один из дней все совпало. Погода наладилась, тумана не было, ветра — тоже, и даже солнце всюду светило. И так повсюду: в Анадыре, в Providения, в Магадане и даже в Воронеже... Лети — не хочу. Но тут у работников аэропорта наступили выходные дни. Суббота и воскресенье, как у всех, а понедельник — специальный.

— Какие у них могут быть выходные? — возмущился я.

— А что, они, по-вашему, не люди? — ответили мне.

— Но ведь две недели самолеты не летали! Могли отдохнуть.

— Кто же в рабочие дни отдыхает?

Ну а после того, как заканчивались выходные дни у аэропортовых работников, возобновлялась пурга — и так далее, бесконечно. Я ругал и клял этих работников, призывал посадить их за саботаж, но, когда вник в суть дела, понял, что каждому из них надо поставить памятник. Да не в Лаврентия — в Москве!

Кто знает, что такое почистить полосу к прилету самолета? Как это успеть за сутки, если она занесена по пояс, а снег утрамбован пургой так, что по нему можно ходить, как по асфальту? А техника? Кто, кроме аэропортовых работников, знает, в каком она состоянии? Единственная снегоуборочная машина на полуострове Дауркина дышит на ладан, и случись что с нею, погибнет Лаврентия. А если занесет снегом гаражные ворота, где стоит эта машина? Или вдруг эти ворота заклинит?.. Все! Машина не выйдет, полоса не расчистится, самолет не прилетит... Кстати, самолеты здесь могут садиться и взлетать только в дневное время, когда видны окрестные сопки, а зимой день длится всего два-три часа...

— Ну когда же я улечу? — с безнадежной тоской спрашивал я лаврентьевцев.

— Обязательно улетите, — отвечали мне с жалостливой улыбкой. — Куда же вы денетесь? Посидите, отдохните, почитайте что-нибудь.

— Я уже отдохнул, все, что можно, перечитал, заканчиваю «Войну и мир»...

— А вы возьмите «Анну Каренину». Очень хорошо читаются здесь такие книги,— советовали мне.

Но вот случилось, что у всех закончились выходные, завершились праздники, расчистили полосу, приготовили все, что только можно, для прилета самолета, погода установилась на всей Чукотке, на всей Земле... Кроме Певека.

— При чем здесь Певек? Это же в другой части Чукотки! — кричал я.

— При том, что туда улетел самолет,— спокойно объяснили мне.— Он же не стоит без дела и, если нет погоды в Лаврентия, летит в Марково, в Билибино или в тот же Певек. Кто же виноват, что там началась пурга?

И я оставался в Лаврентия и сходил с ума от этих десятков и сотен причин.

Но что удивительно: Лаврентия ни за что не позволит оставить о себе дурные и пасмурные впечатления. Ведь покинуть его можно только в ясную, солнечную погоду, когда видны сопки, залив, голубое небо и добрые лица провожающих. И если первые впечатления — наиболее точные, то последние — самые запоминающиеся. Не от них ли особая лаврентьевская сентиментальность и желание обязательно вернуться? Не оттого ли родилась песня, которую любят и те, кто навсегда уезжает, и те, которые всё еще здесь остаются?

*Прощальная **

И вот настало время расставанья,
До вылета лишь несколько минут,
Друзья собрались в зале ожидания —
Ободрят взглядом, головой кивнут.

Капризную чукотскую погоду
Нам не забыть, наверно, до конца.
Но, покидая навсегда Чукотку,
Мы оставляем здесь свои сердца.

И если вдруг нам вспоминать придется,
Где лучшие у нас прошли года,
Наверняка мы вспомним о Чукотке,
И сердце вновь запросится туда.



* Стихи и музыка Федора Лыженко.

Лариса ШУЛЬМАН

СКВОЗНЯКИ БУДУЩЕГО

ШТРИХИ К ЖИЗНИ И ЛИТЕРАТУРЕ

Пальцы привычно начали щелкать клавиатурой: мол, наша литература XX века... — но споткнулись, «зависли» без погрешностей процессора, сами собою подожно-бессознательно передали печальный сигнал — щелчок — ошибку сознания, его некий «сбой» (не пресловутое «дежа вю» из «Матрицы», надеюсь). Века еще раз сдвинулись и утянулись вдаль, назад-назад. И не важно, в тот ли момент дрогнуло сознание, в другой ли потянуло нервно-тонкой струей, но... что-то сместилось в нашем восприятии. И дело здесь вовсе не во временном штрихе-черточке: есть, есть и какие-то иные веяния, и давно уже тянет то ли космическим сквознячком, то ли солнечным ветром.

Не заглядывая уж о-очень-то далеко, лишь до теперь уже позапрошлого XIX века, заметим, что сквозило-то и там. Весьма сквозило. Хотя наша нежнейше любимая, классичнейшая из литературных эпох искала сущность в классически цельных образах и лишь в местах тонких сдвигов мерцало «неизъяснимое». Но мерцало вполне определенно тем не менее.

В веке двадцатом, отщелкнувшемся от нас, как парашют от парашютиста, тот самый «сдвиг» обнажился, сместилась плоть материального; на месте сдвига обозначилось нечто «иное», чему словно бы еще нет названия. Век же нынешний, наступивший, двадцать первый, пойдет, видимо, далее, во что-то ускользящее, бесплотное, откуда уже веет сквознячком «метафизическим», так хорошо знакомым Г. Адамовичу, В. Набокову, Г. Газданову...

Отражая, как и всегда, некую духовно реальную ситуацию, литература все более прорывается и сквозь эту реальность, сквозь жизнь и кору земную. И, наверное, сейчас уже лишь через эти разрывы можно добраться до крови и плоти, до того места, где бьется пульс. Некий основной, главный общечеловеческий пульс, чувство которого мы храним в нашей генетической памяти и биение которого вообще-то никогда не покидало человечества. Именно человечества в целом, а не разных там националистически-ориентированных психологических меньшинств. Или ностальгирующих меньшинств. И в древности этот пульс чувствовали так же, как и сейчас, а если более отчетливо, чем сейчас, то опять же было меньше отвлекающих явлений. Но вот по-настоящему осознавать биение стали лишь в последнее время, по нарастающей, все быстрее и быстрее к концу тысячелетия. Пытаться осознавать, естественно.

Туда, туда, откуда веют все эти сквознячки, токи жизни и крови, куда странная пульсация ведет особо как бы восприимчивых, что ли... Куда литературу затягивает, как в омут, уже с начала века прошлого, то есть двадцатого. Герой А. Платонова бросается в воду, как раз чтобы ощутить ее, жизнь: что там, за ее концом? Герой В. Набокова видит и ощущает: за зеркалом или за декорациями смерти, «небытия» есть «подобные ему». В том, что не договаривается слово, тоже чудится что-то... Не хочется называть. Язык еще не приспособился к этой неназванной реальности, потому не хочется употреблять слово «иная», ведь она вовсе и не иная. Новую реальность пока приходится обозначать условно, она лишь намечена — вчерне, холодным эскизом, пунктирной линией. Пытаются ее ухватить и современные прозаики — Пе-

левин, Сорокин... В их попытках нас многое не устраивает, но уже, безусловно, тревожит. Кому-то, конечно, придется сказать главное. И еще неизвестно — кто это скажет.

Вероятно, что «сквознячком»-то веет неспроста. Что-то тепло-земное все более выветривается — или по крайней мере способно выветриться — космическими ветрами, как Интернетом выносятся вон — или осознанно не выносятся — из обихода книги, словно подхваченные ветром листы бумаги в распахнутое окно. Как не понять тех, кто жалуется на «холодность» новой литературы, на отсутствие в ней «нравственности», «духовности»? По сути, людям не хватает в ней привычного — человеческой теплоты и сердечности.

Но если окно распахнуто ветром, если за ним явился еще неотчетливый, невнятный, тревожный новый вид? Закрывать ли его на засов? Тянется ли к новому душа? И «довеет ли до добра» эта замороженность неясным, неотчетливым, новым? Не будем по-стариковски кряхтеть и следовать дедовским привычкам, хотя куда как удобно сидеть на печи в валенках, фуфайках да рваных треухах набекрень...

Литература вообще ведет себя «странно» — настоящая, конечно, — заляжет на дно, эдак изогнется, извратится. Вопиет то о нравственности, то о бездуховности, то о закоренелых грехах или ностальгирует о чистом искусстве. Словно кривоватый и пьяноватый осьминог раскидывает чувствительные щупальца во все возможные стороны, щупает, пробует, пытается. Настраивает новые способы впечатлительности, потому что сейчас отчетливо видно, как старые перестают «срабатывать». Расширяется сфера другой, тонкой, еще не осознанной впечатлительности. Пути внутренней — можно бы сказать, духовной, но — брр, больно уж пафосно — работы человечества по расширению и углублению своего потенциала, своего того, что есть человек, ведут во все стороны, вглубь, вширь, вкось, сикось-накось... И чем более странноват и кривоват будет этот своеобразный осьминог, тем неожиданнее и талантливее будут его возможные находки. Их все больше и больше, видимо, они бесконечны, как бесконечен потенциал круга Сократа.

Во внутренней памяти, где-то на геномном уровне, мы готовы к невероятным, не принимаемым рассудком вещам. К парадоксальному выходу из любой ситуации, в том числе и «из себя», к полету, сквозняку, некоей ирреальности, «пограничной зоне». К особой, едва ли не волшебной свободе. В нашей памяти и в древних мифах, сказках, преданиях все это сохранилось, всякие «странности» таинственного мироздания. Там прозрения приходят сами собой, падают с яблони, «вечно носятся над землей». Человек в холодном поту просыпается с криком «Эврика!», и даже фанатики науки вынуждены признать его сон за «более явную явь».

Такая безграничная свобода, без времени, без пространства, без «земной тяги», без космического безвоздушия недоступна пока еще нашей технике, хотя если эти фантазии сидят в нашем сознании, значит, теоретически они могут существовать и в реальном мире. Физически невероятного наш мозг не может вообразить и придумать.

Развитие «новых технологий» само по себе замечательно, хотя все же главная наша технология — это мир внутренних возможностей, необозримый «космос в себе». И, разумеется, он невнятен, неясен, с наскоку, волевым нажимом его не возьмешь. Да и вообще логика, воля, дисциплина и прочие понятия из военно-казарменного языка и мышления здесь не помогут. Пока же мы пользуемся собственными заложенными в нас возможностями, как дикари в набедренной повязке — компьютером: можно и орех расколотить, и спину почесать, и по кнопкам побабахать, от надоедливго соседа отмахаться...

Но ведь не зря же нам снятся полеты или новые открытия. Что-то внутри нас самих предлагает какие-то иные способы соотношения с реальностью. Ведь можем же мы представить себе, хотя бы во сне, что мы одновременно лежим, встаем, идем, испытываем при этом множество самых разных, пусть и противоположных чувств. Потому пусть и бредово, но естественно предположение, что возможен иной какой-нибудь путь мышления, даже и не мышления, а какого-нибудь, например, уловления. Ведь мы же почти признали существование гипноза, телегенеза и проч. Если б человечество двигалось этим путем мышления и осознания мира, в школах детей тиранили бы не правилами склонений-спряжений, а, допустим, формулами «иной кодировки» или «передачей мыслей в квадрат „а” способом „б”»...

Многое пора переосмыслить. Понятийный ряд нашего мышления за последнее столетие потерял отчетливость, перестал соответствовать новой действительности, стал почти разбалансированным, что ли. Или не дотянутым до реальности жизни. Фокус распался. Фокусировка фотоаппарата забарахлила. Потому что с детства нам так настраивали фокус зрения, чтобы он оставался стабильным, неподвижным, и упускали более подвижные, тонкие грани наших возможностей.

Все-таки нельзя не согласиться, что воспитание и образование — словно бы две грани одного напильника, едва ли по сути не одно и то же. Даже самое ненавязчивое, самое необходимое и обязательное для развития человека образование — безусловное благо — уже структурирует восприятие мира. Например, речь. Благо-то оно благо, разумеется, но в белый лист сознания — хотя он и не такой уж белый, ну да ладно — сразу, с первого еще детского года заложена первая структура. Произведено первое форматирование. С этих пор человек начинает мыслить — в словах. А не исключено, что он мог бы и как-то по-иному выразить процесс мышления. Кто знает? И не только мышления, но и, как бы это выразиться, расположения себя в мироздании. Это ведь тоже только слово, к которому мы привыкли. Я мышление имею в виду. Вернее, мышление в словах. Но существует множество всяческих оговорок, доказывающих недостаточность этого понятия, всякие там «мышление в образах», «мышление в звуках».

Воспитание у нас традиционно основано на логике, все наши принципы — логичны, идеалы — логичны, человек подчинен разуму, сознанию, логике. Ясно, впрочем, что лишь уроды могут этому реально соответствовать. Но воспитательные принципы все же ориентируют и указуют перстом именно в ту логическую пустыню, пусть даже и замаскированную чем-нибудь таким духовным, сентиментальным. Слава Богу, что человеческая природа просто отказывается соответствовать требованиям дисциплины не самого совершенного человеческого разума.

Ведь самый «детский» ребенок — это в детях и прекрасно! — эдакий Незнайка, Том Сойер или шалун, косящий в сторону «томасойеризма». Сила обаяния этих героев в их переполненности жизнью. В их уклонении от логически-дисциплинированного стандарта, к которому едва ли не силой их пытаются привести разные там воспитатели-жандармы! Причем поклонники воспитательных стандартов, закостенелых нравственных норм уверены, что действуют во благо ребенку, хотя наглядно демонстрируют собственное скудоумие и тупость. В книге вызывает смех или отторжение, но в жизни продолжает оставаться неким каноном.

На протяжении веков лучшие — вернее, наиболее одаренные — люди конфликтовали с системами образования, соответствовать которым означает ущемлять что-то самое важное в человеке. Это как колодки на ногах средневековых японских девочек, как корсеты у дам в прошлом веке. В такой броне человек кроится по подобию недоразвитого, но самоуверенного человеческого сознания, исполненного жестокости. Системы образования нечто схожее производят не с телом уже, а с душой, невидимо внешнему взгляду ущемляют что-то чувственно-тонко-восприимчивое и полное напора жизни, говоря еще раз иначе — сверхчувственный слой в душе человека. Образование-воспитание из шершавого, неудобного, изначально «неправильного» ребенка — а подлинная жизнь всегда «неправильна» — стремится сделать эдакие пазлы с гладкими краями для уготованного места-клише в сладкой общественной картинке. Оно шлифует самобытные тонкие нервные окончания личности под определенные стандарты, достаточно разнообразные в изгибах и поворотах, но — по заведенному трафарету на правильный рисунок. Вроде бы имитация соответствует природе и жизни; но одновременно это достаточно грубая по сравнению с внутренним нашим потенциалом подделка, все же именно имитация. И здесь существует очень серьезная проблема.

Писатели всегда выступали бунтовщиками не только против общественных трафаретов, но и против воспитания-образования. Практически все. По крайней мере русские. Такой колосс и бунтарь из бунтарей, как Л. Толстой, сам вынесший лишь пару месяцев университетской науки, ужасающую картину вреда от воспитания рисовал частенько. Вот хотя бы в «Воине и мире» Веру Ростову, как первенца, воспитывали, изо всех сил стараясь, ну и выросла, по сути, уродом. Глядя на нее, возникало чувство стыда за ее безжизненный, тупой ум, ходульность, неумение любить и быть любимой. Зато младшая, Наташа, «девка-казак» по прозвищу бабушки, на которую уже не хватило у родителей воспитательского пафоса, — глубокий, полный

жизни и чувств характер, любящий — да еще как! — и всеми любимый. Л. Толстой с постоянством «народной дубины» долбил и долбил ту же мысль: «Он (муж все той же Веры. — Л. Ш.) был глуп от природы, а так как закончил гимназию с золотой медалью, то, следовательно, был глуп чрезвычайно...» Словом, примеров не счесть.

Человек, стремящийся к развитию — а это стремление заложено в каждом, пусть и в дремлющем виде (если, конечно, не было заживо расстреляно воспитательскими приемами в детстве), ну вот, такой человек выстоит, в какие бы, так сказать, «дурные сети» ни попадал, под какими бы влияниями ни оказался. Хотя у меня есть склонность думать, что одаренные люди обладают особым нюхом и сразу чувствуют западни. Есть какой-то внутренний вектор развития, словно компас, словно чувство пути у птиц или некоторых животных. Такова заданность развития, как у стрелки компаса — ориентированность на север. Тут, конечно, речь идет именно о развитии, а не хаотическом движении с целью наживы, карьеры или чего иного. Человек, ощутивший однажды свой «путь», вывернется на него, даже пускай его общественно отринут, но полнокровность истинной жизни испускает такие «мелочи».

Приятно, разумеется, надвинуть национальный треух на заспанную физиономию, чтобы «ничего не видеть, ничего не слышать, ничего никому не сказать...» Зато с уверенностью вещать о «традиционной нравственности» — хотя что это такое, никто до конца не понимает. Может быть, то же самое, что копчик — для организма? В таком случае и некоторый скрытый хвост будет идеалом «традиционной нравственности». Особенно если длинный такой, с родословной.

Слушать прошлое, пренебрегая грядущим, — решение даже не национальное и не литературно-эстетическое, а из разряда любимо-страусиных. Зато, может быть, и более сладкое, чем смотреть эдак вперед с попыткой поймать и уловить «подступающее». Знаки и предчувствия некоего перелома, «сбоя» реальности, когда смотришь на знакомый вроде бы предмет, но видишь что-то размыто незнакомое. Как во сне... Или... Или — как в современных литературе и искусстве, слегка спятивших в лучших — или новейших — проявлениях.

Происходящий в настоящем — не «утраченном», а в нынешнем времени некий водораздел, — качественная перемена в строе внутренних возможностей и восприимчивости человека. И человечества. Имеющий уши да услышит. Человека как особенно по впечатлительности существа, отмечающего какой-то скачок в развитии, который уже есть, еще не названный полностью, к нему только подбираются некоторые пробы понятий. Ситуация еще не успела «подзастыть», что ли... Ее нелегко определять, анализировать, называть. Она пока недоступна рассудку и логике.

Все-таки осознание нами самих себя не происходит со скоростью работы компьютерного процессора. Вернее, работать-то сознание может и быстрее и лучше, но как-то по-другому, без машинной стабильности. Но зато с определенной неповторимостью и часто внеопытностью прозрений. И хотя под захлеб сердца, задышающегося от бега времени, от его «сдвигов» и «сбоев» нам грозит мандельштамовский «разрыв аорты», но время в каждую секунду — новое, и мы не можем его тут же не терять. Мы по-прежнему склонны рефлексировать, находиться «в поисках утраченного времени», а вовсе не реального. Вообще это декартовское «мыслю, значит, существую», конечно, верно, но тогда надо признать, что реальность — где-то впереди нашего существования. Но все же, пусть с опозданием, пусть «двадцать лет спустя», пытаемся ухватить его, времени, радужный хвост, как исчезающий хвост жар-птицы...



Кирилл КОБРИН

Письма в Кейптаун о русской поэзии

В пятом номере «Октября» за прошлый год было опубликовано первое из моих писем Петру Кириллову — старому другу по горьковской юности и молодости 80-х, эмигрировавшему в 1990 году в ЮАР и добившемуся больших успехов в невероятно трудной и тонкой профессии — виноделии. Предыстория публикации такова. За несколько месяцев до того я внезапно (после почти десятилетнего молчания) получил от него весточку, контакты наши благодаря электронной почте возобновились, и Петя стал вдруг требовать от меня подробных отчетов не о чем-нибудь, а... о состоянии современной русской поэзии (до которой лет пятнадцать назад был великий охотник). Я решил писать ему изредка по письму, которые — по странной прихоти — периодически представляю на суд читателей «Октября». Ни объективности, ни сколь-нибудь полного охвата в этих эпистолярных найти невозможно. Я просто делюсь своими наблюдениями с человеком, который последние десять лет занимался делом. Так сказать, письма стрекозы муравью. Впрочем, муравей тоже не без крылышек.

(Нижеследующие письма, сколько бы их ни было напечатано, есть сокращенные варианты электронных писем, посылаемых автором Петру Кириллову. Сокращению и исключению подверглись только те их части, где речь идет о материалах совсем непоэтических. Заботливая мать и строгий отец могут не прятать эти тексты от дочери-подростка.)

Письмо четвертое

4.01.2001.

Ах, друг мой, зачем возложил ты на меня эту тяжкую ношу — писать о поэзии, почему не о прозе? Знаю, знаю, ты ленив, но (в противовес золотому пушкинскому любопытен. Увы. А то описал бы я тебе изумительную новую книгу Андрея Левкина «Цыганский роман», книгу прозы, да такой, что почти никому нынче и не снилось. Ведь если приснится такая проза — многословная, неторопливо с синкопами ритмичная, аутичная, — считай, сон удался: чуть ли не рай тебе приснился. Но обещал так обещал. К тому же, памятью о твоей нынешней профессии, поэзия и вино — вещи одного порядка. Да-да, именно, священное опьянение поэта.

Знаешь, совершенно неожиданно взаимное притяжение, точнее — родство вина и поэзии, недавно проявилось на очередном литературном мероприятии. Объявляли лауреатов премии Андрея Белого — есть нынче такая премия; хотя, постоянной, ты должен помнить ее. В семидесятые она появилась; присуждали эту явно (судя по названию) модернистскую премию герои поколения дворников и сторожей. Яблоко, бутылка водки и рупь. Я не помню лауреатов той поры, но это были авторы, которыми мы с тобой зачитывались в восьмидесятые. В новые времена премия как-то стухнулась, да и сама идеология модернизма не была в моде. Андрей Белый выглядел столь же враждебно в окружении героев эпохи смерти автора (но не авторских гонимых), как и в окружении упитанных немцев в берлинской пивной начала двадцатых. Наконец кадавр автора перестал смердеть, восстал и потребовал восстановления своих прав. Публика вдруг поняла, что постмодерн надоел. Посыпались предложения вспомнить нетленку. В этот момент премия Белого воспряла и тоже вспомнила нетленку. Одним из лауреатов стал М. Л. Гаспаров. Интересно, что сказал бы по этому поводу профессорский сынок Боренька Бугаев, профессионально ненави-

дящий профессуру? Ты помнишь эти упоительные ругачи пассажи из «На рубеже веков»?

Извини, что я так заболтался; впрочем, мы уже совсем недалеко от любезных твоему сердцу поэтов и вина. В этом году Белый был бы доволен — премию (по разделу поэзии)¹ дали истинному модернисту, более того — жизнестроителю не хуже символистов.

Говорят, когда на той самой литвечеринке объявили, что поэтическую премию Андрея Белого присудили Ярославу Могутину за книгу «Сверхчеловеческие супертексты», некая дама плеснула вином из бокала в лицо свежему лауреату. Так и сошлись вино с поэзией — в лице Могутина. Если бы это был «Совиньон» с твоих виноградников, что ты мне давеча присылал, я бы умер от счастья.

Хочу черкнуть тебе пару электронных об этой скандальной книге. Вряд ли ты сможешь достать ее: «Сверхчеловеческие супертексты» гипер-изданы в архи-Нью-Йорке. Тираж — 1000 экземпляров; учитывая принадлежность автора к разросшейся секте уранистов, эта тысяча уже давно преспокойно разошлась по своим. С другой стороны, эта не читанная абсолютным большинством книга вызвала конфуз, шурум-бурум, яростные выпады, решительные отповеди, площадную брань. Однако ни одной осмысленной рецензии я не читал².

Что обсуждают? Что премию имени классика дали хулигану. Мало кто вспомнит нынче, что в начале века Белого величали «идиотом», сочинения его «бредом», да и сам Борис Николаевич не прочь был запустить в небеса ананасом. И я, как ты понимаешь, даже не заикаюсь о знаменитом менаже де труа... Меж тем книга Могутина (или «Супермогутина», как он предпочитает, чтобы величали автора) действительно интересна.

Во-первых, она задорна и несколько наивна. Автор (вослед почти за всей русской классикой) считает, что книга может изменить мир; только в отличие от своих предшественников он хочет изменить жизнь к худшему. В этом смысле ему нужно было премию не Андрея Белого давать, а Федора Сологуба.

Во-вторых, это только на первый взгляд кажется, что супермогутинская гиперкнига написана не чернилами, а спермой. Или кровью. Просто читатель разучился читать. Чернилами эта книга написана, Петя, чернилами и гусиным пером. «Сексуальное» («биологическое») для автора почти равняется «социальному». Потому никакой эротики, тем паче порнографии, там нет. Есть социальная ненависть, социальная приязнь, социальная а-социальность. Очередная иллюстрация идей Фуко о сексуальности как о типе социальной практики, навязанной репрессивной культурой. Отсюда недалеко и до бородатого Маркса. На «Манифест Коммунистической партии» похожа эта книга — мировоззренчески. Перверсивные маргиналы всех стран — объединяйтесь!

В-третьих, так же, как и во-первых, сочинение Могутина действительно традиционно для отечественной словесности. В том числе и детской. Помнишь что-то такое из Маршака-перелagателя английской поэтической чепуховины: из чего сделаны мальчики, из чего сделаны девочки? Довольно двусмысленный текст, насколько я понимаю... Так вот, Могутин сочинил свое «из чего сделаны», только не мальчики или девочки, а Элтон Джон, не меньше. В его отрывочке идет речь о том, как автор (а точнее — лирический герой и «истинный автор» «Сверхчеловеческих супертекстов» Супермогутин) отработал call-boy-ем у «Фантастического капитана». Прочити тебе супермогутинскую инвентаризацию толстяка Элтона:

Вот из чего состоит Mr. Crocodile Rock в реальной жизни:
вежливый голос с английским акцентом
шестикомнатный номер в отеле St. Rigis с интерьерами в стиле Людовика XIV
три бодигарда в черном отдыхающие перед телевизором при входе
очевидно искусственные волосы кривые зубы идиотская улыбка
подозрительные красные пятна на лице

«NICE TATOOS!»

¹ Как по-мясницки, садистически это звучит — «раздел поэзии». Просто объявление в газете, между «шиномонтажем» и «поркой дам». Только не следует в слове «поэзии» менять последнюю «и» на «ю», а то получится нечто футуристически-эротическое, мол, я «раздел поэзию».

² Это вполне в духе нынешней русской критики. Несостоявшиеся филологини со скверным суржилом вместо русского языка наперевес, некогда тихие толстожурнальные рецензенты, скурвившиеся до площадных хамов, бесконечные мальчики в смазных лимоновских сапогах, принимающие собственную развязность за савенковский талант, — вся эта шваль, оккупировавшая по большей части Интернет, книг принципиально не читает, тексты (даже самые короткие) до конца не осиливает, зато с наслаждением цитирует друг друга. На Могутина они по разряду вылили цистерну того единственного продукта, который у них в изобилии (всегда!), но сочинения его не прочли, ограничиваясь в своих обзорах цитированием одних и тех же пассажей из «Супертекстов», перевранных, непонятых, взятых из вторых рук.

жирное бесформенное тело с короткими конечностями
на массажном столе — как на столе у патологоанатома
не кожа но шкура — бритая толстая шкура

Интимности опускаю. Так вот, в этом океане социальной ненависти, вдруг — неизвестно из каких хлябей упавшая капелька жалости, ну просто «Господин из Сан-Франциско»:

Человек никогда не знавший бесплатного секса.

Вот тебе и слишком человеческое в «Сверхчеловеческих супертекстах».

Вообще же, Петя, с модернизмом сейчас, после воскрешения автора и смерти кадавролюбивого постмодернизма, как-то странно. Последние три десятилетия уравнили в правах авангард с традиционализмом — для концептуалиста, для центонщика все было едино, все культурный перегой. Теперь он сам попал в гумус и все смешалось: араб, его лошадь, стремена и подпруги и даже изречение из Корана, вышитое на тюрбане. Поэты, много лет назад постулировавшие свою позицию как традиционалистскую, антимодернистскую, оказались в общей могиле со своими супостатами. Кто их сейчас разберет...

Недавно вышла книга стихов Юрия Колкера — одного из тех, кто видит себя эдаким строгим Ходасевичем на ярмарке желтых кофт. Книга называется «Ветилуя» — в честь той самой библейской крепости, которая одна не сдалась язычникам. Книге предпослано нечто вроде введения, где рассказывается (со ссылкой на известный стих Пушкина) эта история. Автор прокламирует себя как защитника (а то и строителя) этой самой Ветилуи, однако самое замечательное в тексте — дата его написания. Двадцать второе июня. Что бы не назвать книгу «Брестская крепость»?

На задней странице обложки напечатано эстетическое кредо Юрия Колкера: «В моей литературной судьбе было, собственно говоря, только одно событие: в 1970 году я осознал себя консерватором. Новизна, всеми вокруг превозносимая, внезапно потеряла для меня всякую ценность, и я решил этого не стыдиться. Я понял, что хочу не оригинальности, а точности и естественности <...> Естественность я понимал как следование традиции, а не природе». Я надеюсь, Петя, ты понимаешь, что этот «консерватизм» есть не что иное, как один из самых распространенных вариантов модернизма; да и компания тут собралась неплохая — Паунд, Честертон, Оден — каждый из них на свой лад и консерватором себя осознавал, и точности с естественностью хотел, и традиции (в своем понимании) стремился следовать. Ветилуя оказалась на гусеницах, в броне, со stodдцатимиллиметровой пушкой.

Что же до стихов Колкера, то они, прости Господи, скушны³. Может быть, Петя, это и называется «консерватизмом»? Впрочем, я нашел в «Ветилуе» одну забавную переключку. У Пушкина читаем:

И над тесниной, торжествуя,
Как муж на страже в тишине,
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине⁴.

А вот что пишет Колкер о другой вечно непокорной гористой местности, Шотландии:

Грустно шотландцам. История не удалась.
Жемчуг творительный родина подростеряла.
Все чемпионам досталось: и воля, и власть.
Не восстановишь таинственного матерьяла.

Это не о шотландцах, Петя, это — о себе. Не удалась своя портативная Ветилуя, все досталось нахрапистым чемпионам в желтых кофтах. Ей-богу, хоть бы разок желчь ходасевичевская разлилась по такому случаю...

Вообще же, Петя, анахронизм, особенно педалированный, кажется, окончательно уступил место всеобщей охоте за новым трепетом. Время стилизаций «под», воспоминаний про Россию, которую мы⁵ потеряли, рекламных апелляций к роскошнородым купцам и белопанталонным кирасирам прошло. Если раньше какие-нибудь «яти» и «еры» могли скрасить скуку при чтении, то сейчас они скорее помешают. Жертвой собственной страсти к графической стилизации стал Геннадий Барабтарло, которого ты, может быть, помнишь как переводчика англоязычного Набоко-

³ Очарование традиционализма обычно — либо в милом анахронизме, либо в таланте сверхъестественной поэтической точности. Колкера не назовешь *точным поэтом*, как не назовешь ни «описательным», ни «дидактичным». Он пытается быть моралистом эстетической складки, но эстетика его подвыщела, а мораль закладывается в банальном репродуцировании общих мест.

⁴ Кстати, быть может, автор, назвав книгу «Ветилуя», взыскивал вовсе не консерватизма, а намек на собственную «недостижимую вышину»?

⁵ Кто «мы»? Уж точно не я; как ты помнишь, я никогда ничего не теряю.

ва и того же Набокова — веда. Два года назад Барабтарло выпустил книгу с таким названием, которое мой компьютер по электронной почте ни в жизни не передаст, потому даю его в современной транскрипции: «На всяком месте». Подзаголовок — «Книга стихов и переложений». С точки зрения дизайнера издание — совершенно футуристическое: все эти «i», «b» и абсолютно уже не переводимые в мою «кириллица-виндоуз» «яти» ползают по страницам книжки, будто жучки-червячки; рябит в глазах, щекочет в носу, звенит в ушах. Прихотливый эстетский традиционализм Барабтарло привел к тому, что «На всяком месте» расценили как неуместное щегольство распоясавшегося набоколюбца, как кунштюк хорошо фриштрикающего репатрианта. И не прочли. А жаль, Петя, книга хорошая. Автор старательно (не всегда, впрочем, успешно) пытается дышать по-фетовски, по-набоковски легко, но по странной иронии лучшее стихотворение книги — об астме. В нем есть потрясающие строчки — точные, емкие, просящиеся в формулы, но не в готовые чугунные, на каждый день, а в праздничные, шампанские:

Дыханье надо заслужить,
И колкой астме
Обязан я желаньем жить...

Не говоря уже о том, что и с медицинской точки зрения Барабтарло сочинил едва ли не самое точное описание астматического припадка:

Всхлип каломельного сиропа,
Комок, глоток,
Прозрачный запах гелиотропа.

Глотая, комкая платок,
Переминаюсь
С виска на вздувшийся висок.

Думаю, что более всего ты оценишь концовку этого стиха:

...Сквозь муть осадка — круглый рот

Безумный глаз, отлив припадка,
И жабер алая прокладка.

Дышать что пить.

В алой прокладке жабер — истинная поэтическая жемчужина, только вот вырядили ее в какие-то типографские рюшечки. Скучающий посетитель поэтического отдела книжного магазина вряд ли возьмет эту книгу в руки. Увы.

В заключение — о любезных твоему сердцу (и кошельку) виноградникам. Прошлой осенью был я в Питере, и на каком-то странном мероприятии в Эрмитаже («Именины Шлимана»? «Выставка любимых нот Ван Гога»?) ко мне подошла незнакомая милая девушка и подарила свою книгу стихов. Я был тронут таким старомодным способом распространения своих сочинений и взял брошюрку домой. Прочел в поезде. Знаешь, Петя, кажется, прогресс есть не только в виноделии. В наше с тобой время так здорово девушки не сочиняли. Посуди сам:

беременные долго не живут
они сезон всего лишь плодоносят
и падают подрубленной лозой
у той лозы засушенные стебли
отрывистый и тонкий издают
свистковый звук...

Тут тебе и Пан, и вино, и Греция вся... Книгу Елены Сунцовой «предпочитаю говорить кончать» ты, конечно, не достанешь в своих африканских палестинах, но хотя бы — сделай милость, назови сорт какого-нибудь молодого, с задорным и чистым вкусом «Шабли» ее именем! Не сейчас, через год-два, ведь виноделы в отличие от беременных живут долго.

Кстати, надеюсь, твои виноградники не стригут беременные зулуски?

Пока, плантатор.

Перечитай на ночь «Хижину дяди Тома».

Твой Кирилл.

Ольга СЛАВНИКОВА

Город и лес

О ПИСАТЕЛЬСКОМ ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ

Профессиональный круг, в котором пребывает литератор, при всей своей некрутости имеет четкий контур; замкнутость его дает спасительное ощущение стабильности. Всюду знакомые люди, и даже в самых неприятных тебе физиономиях есть своя приятность: некая крепость сивухи, некий как бы градус, которого лишены нейтральные *пресные* лица нелитературной публики. Спешно прощаясь в редакции, допустим, с критикессой А. и зав. отделом Б., устремляешься на презентацию книги прозаика В.; опаздывая, скачешь с транспорта на транспорт, подворачиваешь каблучки, хватаешь частника, совершенно несогласного высадить тебя непосредственно у цели, а только за квартал; наконец, открываешь безмятежную дверь, предположим, библиотеки. Впереди по лестнице, опередив тебя неизвестно на какой метле, поднимается слегка растрепанная А.; удрученный Б. (это его обычная, можно сказать, рабочая мина) уже нянчит подаренный экземпляр, прибывают и другие буквы, так что вскоре ты оказываешься ровно с теми же персонажами, с которыми общался в течение дня. Сообщество представляет собой нечто столь же разрозненное и одновременно взаимозависимое, как текст заполненного кроссворда (значения слов остаются за кадром); правильно прописанные вертикали не допускают ошибок по горизонтали (представители иного литературного подмножества сюда не попадут). В результате намотанных по городу километров кажется, будто понятие профессионального круга дано в ощущениях; интенсивность, с которой литератор преодолевал скопления медленных спин и слякотные кафели подземных переходов, представляется тренировкой в беличьем колесе.

Написав некоторый текст, литератор запускает его все в тот же профессиональный круг. Понятие «читатель» приобретает в момент публикации пугающую конкретность: перед мысленным взором автора предстают человек пятнадцать известных читателей — и если от Д. и Л. он ожидает (и боится не получить) подарочного отзыва к своему творческому празднику, то Г. запросто может напечатать о книге какую-нибудь желтоватую пакость; что же касается Ж., то его реакция дословно предсказуема, включая цитаты, которые он непременно возьмет из первой главы рецензируемого произведения. Литературная игра в профессиональном кругу (например, при составлении финальных списков престижных премий) напоминает футбольное поле, где добрый Хоттабыч предоставил каждому спортсмену, включая вратарей, по персональному мячу; при этом отдельные игроки, почему-либо не имеющие личного снаряда, выглядят растерянными, пас коллеги нередко застает их врасплох и приходится по голове. И все-таки именно здесь автор получает интерпретации, созвучные тем первоначальным импульсам, которые он не без потерь воплотил в слова. Здесь он иногда встречает понимание, что, как и почему сделано в тексте.

Но существует и иной читатель. Если профессиональная среда для пишущего — это «город», то так называемый широкий читатель — это «лес». Природа. Все мы связаны с природой тонкими духовными нитями, имеющими весьма мало отношения к редким загородным вылазкам, когда нога скользит на кочке, паутина липнет на очки, а прелестный издала лужок вблизи оказывается болотиной, начиненной к тому же ржавыми проволоками, что влечет за собой сравнение с прохудившимся диваном. Очень редко литератор знает названия растений и породы камней; это отсутствие конкретики, нежная безымянность всего словно бы оставляет больше пространства для духовного наполнения. На самом деле горожанина вовсе не манит пыльная полоска леса на горизонте, но для комфорта ему необходимо знать, что лес *существует*.

Без естественного, природного читателя литература лишается высшего адреса и становится занятием довольно безнадёжным. Порча естественной читательской среды (обнищание интеллигентных слоев, приверженность масс к телесериалам, наркомания, алкоголизм) воспринимается профессионалами с беспокойством того же смутного и общего качества, что известие об экологическом неблагополучии — о недопустимом содержании в воздухе, которым дышим, каких-нибудь вредных элементов (при этом человек в противогазе смотрелся бы на улице как враг народа) или об аварии танкера, от которой остается телеобраз: море, похожее на легкие курильщика, черная мокрота и харкающие звуки грузного прибоя — всего пятнадцать секунд в новостях.

Касательно читательского «леса» существует, на мой взгляд, две распространенные иллюзии. Первая: эта среда способна поглотить и использовать все, что мы туда засылаем. Тут весьма заметно сходство представлений о читательской и о природной стихиях. Вопреки науке экологи природы природа кажется бездонной: сколько ни выбрасывай в нее разного мусора, весь он так или иначе куда-нибудь денется. Дальше, чем «в природу», все наши полиэтиленовые лохмотья и битую посуду просто отошлешь — поэтому «природа» представляется иногда чем-то далеким, почти потусторонним. Представляется, кинул пачку из-под сигарет под дикий куст, и она немедленно перестала существовать. То же и с текстами: если опус опубликован, стало быть, он «съеден» собирательным «электоратом», и у автора наступает чувство освобождения от произведенного продукта. «Иногда кажется, что... создание шедевра не самоцель творческих усилий, а побочный результат всей жизнедеятельности», — писал Сергей Гандлевский о масштабной личности в литературе. Наверное, можно предположить, что вообще всякий литературный текст — не столько результат, сколько отход процесса, что доставляет автору ни с чем не сравнимый кайф, но вряд ли на сто процентов закрепляется в словах. Бесконечно сбрасывая упаковки от нашего кайфа в читательский «лес», мы думаем, будто эта среда способна принять как минимум еще два раза по столько разной литературы.

Вторая иллюзия заключается в том, что непрофессиональный, естественный читатель есть источник справедливости в искусстве. Не вполне доверяя суждениям коллег (примерно представляя себе зависимость отзыва от сложившегося вкуса и от позиции в «кроссворде»), писатель полагает, что на стороне, *вдалеке*, он найдет непредвзятость и будто бы некую правду. Тут можно наблюдать забавное эхо советского коллективизма («Коллектив всегда прав», — это была одна из первых моих школьных истин, наряду с «жи-ши» и таблицей умножения). Но присутствует и ощущение сакральности природы, первичности ее и бесконечности по отношению ко вторичному и конечному индивидууму. Романтическая оппозиция «поэт — толпа» превращается в «здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок». Как ни странно, фальшивомонетчиков, полагающихся на глупость своего читателя, в литературе не так уж много: формула «пипп хавает» работает в массовых книжных сериях, но никак не в уважающем себя журнально-издательском мейнстриме. Скорее спекуляции на теме и приеме предназначены как раз для уловления «своих»: в расчет берутся профессиональные рефлексы некоторой части литературного сообщества, а также одобренные этим сообществом успешные модели. Посторонний (потусторонний) читатель такими аналоговыми стратегиями не предусмотрен вообще либо предусмотрен как далекое эхо громкого внутрилитературного события. Однако высокий тираж вызывает невольное уважение даже у тех, кто отказывает книге в достоинствах: при всем понимании роли пиара и (допустим) активной неприязни к профанным оценкам, у противника популярного текста все равно хоть на минуту возникает подозрение, что он чего-то не просек. Если же такого подозрения не возникает, то мы имеем дело с экземпляром либо очень злобным, либо умершим впадать (как иные жучки при опасности падают в коматозный обморок) в удивительную простоту. Глас народа — глас Божий: обаяние этой известной формулы заключается в надежде.

Обе эти иллюзии, по-моему, несостоятельны.

Проблема профессионального и непрофессионального восприятия творческого продукта существует не только в литературе, но и у смежников. Так, на XI фестивале неигрового кино «Россия», прошедшем перед новогодними праздниками в Екатеринбурге, создалась ситуация, близкая к скандальной: зрительские симпатии категорически разошлись с оценками жюри. Факты, изложенные известным критиком и одним из учредителей фестиваля Валентином Лукьяниным в уральской вкладке «ЛГ», выглядят следующим образом: «По рейтингу зрительских оценок фильм Анатолия Балуева «Быкобой», получивший главный приз фестиваля, оказался только на двенадцатом месте. Лучшему, по мнению жюри, полнометражному фильму

(«Новые времена на улице Поперечной», реж. Ивар Селецкис) зрители отвели ну все-таки шестое место, это максимальное сближение мнений профессионалов и зрителей. Фильм Бориса Лизнева «Неоставленные», получивший аж три фестивальные награды, <...> в число пятнадцати фильмов, наиболее высоко оцененных зрителями, не попал вообще. <...> И уже не просто несовпадение, но прямое противостояние оценок обнаружилось по поводу фильма Сергея Лозницы «Полустанок»: профессионалы объявили его лучшим короткометражным фильмом фестиваля, а зрители категорически отвергли». И мало того: тенденции развития неигрового кино зрители и жюри также оценили диаметрально. Жюри, возглавляемое Элемом Климовым, отметило понижение уровня представленных лент, тогда как зрители только и говорили о том, что этот фестиваль был интересней предыдущего. Валентин Лукьянин (кстати, давший толчок к написанию этих заметок) особо подчеркивает, что обе несогласившиеся стороны были, что называется, качественными: профессионализм жюри был выше подозрений, а в просмотровом зале собрались всегдатеги фестивалей, много чего в своей жизни насмотревшие, причем половина аудитории вообще состояла из участников конкурса. Если грубо, то смысл статьи Лукьянина «Кинофестиваль: превратности метода» заключается в том, что обе стороны по-своему правы (то есть в своем праве): и профессионалы, и непрофессионалы накладывают полученный продукт на разную систему ожиданий, и автору в идеале следует искать модель, узнаваемую *как свое* и той, и другой стороной.

На практике компромисс едва ли достигим. В пользу такого утверждения говорит не столько логика, сколько чувство, рожденное эмпирическим опытом, и чувство это — лесобоязнь. В реальной жизни литератор подписывает свои книги не только критикессе А. и собратьям по перу К., Л., М. и N, но родственникам знакомых и знакомым родственникам, бывшим одноклассникам и ветеранам прогоревших коммерческих проектов, в которые литератора заносила злодейка-судьба. Результаты, как правило, вызывают обоюдную острую неловкость за факт существования в природе живого писателя. Мне встречались разные способы справляться с этим неудобным и странным фактом. Многие добросовестные люди воспринимают подаренную книгу как поставленную задачу. Так, некий товарищ, честно предупредивший, что при поступлении в военное училище списал сочинение (обстоятельство это скрывалось многие годы не из-за угрызений совести, а из-за свойственной человеку последовательности поступков), действовал систематически. Сперва он разделил всех вообще читателей на пять разрядов сообразно видам извлекаемой из литературы пользы (отдых, пополнение эрудиции и так далее — а что, в самом деле, ведь не *вред* же из книги извлекать). Моей аудиторией, по мысли офицера, оказались люди, которые любят читать про все плохое, радуясь, что с ними ничего подобного не произошло. Поскольку собирательный поклонник моего таланта обрисовался в итоге довольно гнусным типом, офицер в разговоре очень смущался и краснел, отчего проступал, будто ржавчина, его какой-то командировочный азиатский загар, — и, кстати, был он не тупой служака, а классный специалист. Другой принудительно-добровольный читатель, здоровенный торговец джинсами (верный призванию еще с тех баснословных времен, когда штаны приобретались на барахолке и, точно артефакты, подлежали экспертизе на подлинность, на что у битого фарцовщика был безошибочный глаз), заявил, глядя с выражением модели, которой визажистка красит ресницы, что раньше все, что читаешь, было понятно, потому что было КГБ, а теперь вообще ничего не расшифровать. Типичную женскую реакцию на литературу лучше меня описал Петер Хандке: «Она не рассказывала о прочитанном ничего очень уж умного, просто пересказывала то, что ей особенно запомнилось. «Нет, я не такая», — говорила она иногда, как будто автор описывал именно *ее*».

Вообще, оказавшись в неестественной близости от литературы, обычный читатель первым делом ищет в окружающей действительности прототипы и те реальные происшествия, что послужили автору моделью, точно книга суть путеводитель, с которым сверяется турист, осматривая объект. Такая реакция на самом деле законна: выброшенный в пространство вымысла, человек изо всех сил цепляется за реальность, которую только сегодня утром находил не столь уж привлекательной. Из чуждой стихии он плывет, спеша и барахтаясь, к далекому полосатому берегу и чувствует иногда, что книга *сносит*, что выйдет он не там, где был, и придется, наверное, возвращаться. Что касается литератора, то он, получив хорошую порцию простодушных суждений, сразу вспоминает, что он-то — профессионал. Ему совершенно нечем защититься, кроме как мыслью о недоступных профану сущностях искусства. Что есть духу он бросается из «леса» в «город», пусть даже там его ожидает деловитый критик с ножицами и лекалом, намеренный выкроить из книги фасончик по собственному вкусу.

Милан Кундера, один из лучших, на мой взгляд, диагностов «нового времени», в романе «Бессмертие» пускает своих героев в рассуждения о музыке Малера. «Я не оспариваю совершенства этих симфоний. <...> Я оспариваю лишь *важность* этого совершенства. Эти возвышенные симфонии есть не что иное, как соборы бесполезного. <...> Европа свела Европу к пятидесяти гениальным творениям, которых никогда не понимала. Представьте себе это возмутительное неравенство: миллионы ничего не значащих европейцев против пятидесяти имен, являющих собою все!» Авторское «я» Милана Кундеры, запущенное в текст в качестве героя *второго плана* (что представляет собой виртуозный прием, достойный отдельного разговора), мысленно обращается от музыки к собственному искусству: «Его мысль, столь очевидно справедливая, веселила его, в то время как я становился все более грустным: если мой читатель пропустит хоть одну фразу моего романа, он не поймет его, а между тем где на свете найти читателя, который не пропускал бы ни строчки? Разве я сам не грешу тем, что пропускаю строчки и страницы больше, чем кто-либо другой». Профессионалы, добавим, пропускают части текста не реже, но порой и чаще, чем обычные читатели, правда, делают это по более подвинутой схеме: если вторые пролистывают описания природы, то первые четко выхватывают начало-середину-конец, а иногда ограничиваются началом, достраивая суждение из воздуха, где текст, допустим, как-то звучит. Добавим также, что поиски реального прототипа есть для простого читателя способ преодолеть «возмутительное неравенство» и утвердиться в качестве младшего компаньона литературного предприятия. Далее вернемся к ситуации, которую обсуждают герои Кундеры. Речь идет о том, что Малер целых две недели перед премьерой Седьмой симфонии неистово перерабатывал инструментовку — между тем как внесенные правки вряд ли что изменили в восприятии даже самых продвинутых меломанов. Такой труд и потрачен, выходит, зря! Максимализм героя-романиста тоже вызывает оторопь: все или ничего! Ведь если ткань *мысленной* прозы (вовсе не реальной прозы совершенно внятного Кундера) столь нежна и трикотажна, что не допускает даже одной пропущенной петли, то труд прочтения здесь равен труду создания текста. Это — идеальный, идеально замкнутый шедевр, *все страницы которого пролистываются*. Читатель его — такой же мифологический персонаж, как и обезьяна из теории вероятностей, выстукивающая на машинке «Войну и мир».

Таким образом, произведение, идеалом которому служит «собор бесполезного», представляет собой склад запечатанных смыслов, предназначенный для избранных, то есть в конечном итоге для понимающих собратьев по цеху. Склад хорош тем, что очень прочен: правки Малера, не замеченные многими составами филармонической публики, останутся в симфонии навсегда. Можно надеяться, что кто-то когда-то почувствует те особые вибрации, ради которых маэстро две недели не вылезал из гостиничного номера. Что касается постороннего читателя, то для него, как это бывает в складских помещениях, умный автор иногда расставляет приманки «интересности» — мышеловки с корочками сыра; станет ли случайный посетитель обращенными неофитом или мелкозубым запекшимся трупиком — зависит от того, что он примется есть. Иными словами, «собор бесполезного» недемократичен и негуманен. Это абсолютная упаковка, окружаемая почтением либо отвергаемая радикалами, желающими что-нибудь сбросить с корабля современности. Тем не менее «собор» нуждается в «природе»: вообразить его посреди безжизненной пустыни почему-то больно и тяжело. Представить себе «лес», не поглощающий, но исторгающий из себя отходы «города» каким-то механическим путем, почему-то страшно.

Думаю, никто не станет спорить с тем, что в «соборах бесполезности» достигается уровень словесного искусства, невозможный в иных литературных постройках; почти вся современная поэзия — там (хотя она как раз располагает колдовскими возможностями становиться понятной читателю поверх и вопреки его собственной личности — сама поется, сама запоминается наизусть). Но вот является ли *профессионалом* тот, кто создает «соборы»? Это хитрый вопрос. Казалось бы, ответ несомненен: такой автор *умеет* ставить слово к слову, ноту к ноте, кадр к кадру — и делает свое дело лучше других. Но вот что пишет на этот счет Сергей Гандлевский: «Язык не поворачивается назвать такую деятельность профессиональной. О каком профессионализме может идти речь, если до последнего момента ты не знаешь, получилось у тебя что-то или нет, и *что*, собственно, получилось! Грош цена водопроводчику, строителю, хирургу, опирающемуся в своей работе на смутную надежду, что кривая вывезет. А здесь на кривую все упования. Ну почти все». И если архитектор реального собора или, допустим, спортивного комплекса опирается в творчестве на строгие дисциплины вроде спортата, если художник обязан считаться со свойствами грунта и красок, то писатель, работающий с языком, по большому счету свободен от

«жи-ши» и запятых: как он поставит собор, так тот и будет стоять. При этом главным свойством языка становится сверхпроводимость: освобожденный от косных связей, обслуживающих повседневное мышление, возведенный в иное агрегатное состояние, язык проводит некие смыслы, источник которых — вне личности пишущего. Если и есть в этой сомнительной деятельности элемент профессионализма, то он заключается всего лишь в способности освободиться и освободить язык, нащупать кривую, которая «везет». То есть речь идет о подготовке к работе — и о завершающем ее этапе, когда требуется некоторый обратный перевод с птичьего на повседневный. Результат мероприятия, как отметил Гандлевский, никем не гарантирован.

«Новое время», однако, четко прорисовывает новый тип профессионализма в литературе. Не то чтобы он был совершенно нов, но в России, слишком долго бывшей королевством кривых зеркал, такое творческое поведение *оголяется* только сейчас. Известный кинорежиссер селует на канале «Культура», что российский кинематограф никак не научится работать для зрителя, хотя пора. Глава продвинутого издательства, заметно влияющего на рынок интеллектуальной книги, говорит, что больше не ищет вечного в литературе. На семинарах проекта «Дебют» Слава Курицын, с которым мы вместе разбирали работы шортлистеров в прозаических и драматургических номинациях, первым делом определял, для какого издания либо издательства подходят представленные тексты. Здесь важен смещенный акцент: главным носителем *качества* становится не сообщение, но канал, по которому оно идет к адресату. По обычным представлениям, проза, опубликованная в журнале и продолжающая далее существовать под разными издательскими обложками, бытийно долговечнее своей площадки. Не то теперь: литература воспринимается новыми профессионалами как расходный материал.

Видимо, в этой позиции есть здоровое зерно: канал восполняет свойственный общению недостаток коммуникативности. Владимир Новиков в романе «Сентиментальный дискурс» (кстати, хороший роман, весьма «подошедший» для опубликовавшего его журнала «Звезда») назвал поэта Асадова «гением коммуникации»: «В нее с ним вступали на моем веку сначала мои одноклассницы, потом мои ученицы, и даже совсем недавно одна студентка пятого курса, которой прогрессивные преподаватели безуспешно впаривали Пастернака с Мандельштамом, призналась мне как-то, стыдясь блеска в глазах, что Асадова как первую любовь никогда не забудет». От себя добавлю, что записную книжку со стихами «Они студентами были, они друг друга любили» я видела в базовом лагере альпинистов, в рюкзаке обветренной, как скалы, кандидатки в мастера, явно намеренной поднять эту земную поэзию на высоту 5 тыс. метров. Видимо, долговечность асадовских стихов объясняется тем, что они — сами себе канал; кроме коммуникативных качеств, там ничего и нет — они тем и привлекательны для студенток и альпинисток, что при контакте «сгорают» и расходуются целиком, оставляя читательницу наедине с собственным *оправданным* сердцем: «Да, я такая!»

Здесь мы переходим к некоторым свойствам новых профессиональных произведений. Первое, что бросается в глаза: настоящий профессионал никогда не допустит той дурной избыточности, что свойственна «соборам бесполезного». Деловой принцип этого творчества — «необходимо и достаточно». В этой связи не случайно, что областью приложения профессиональных сил в литературе стал интеллектуальный детектив. Причина не только в повышенной коммуникативности жанра. Детектив — это геометрическое место *заранее* определенных точек, «везущие кривые» ему несвойственны. Финал детектива, так же как финал работы профессионала, — результат и только результат. Можно оспорить и отвергнуть существование любого «собора», но опубликованный детектив, отвечающий ряду понятных критериев, есть упрямый факт: никто не скажет, что его нет. Здесь наиболее полно востребованы качества профессионала: целеустремленность, знание внутренней механики жанра, знание реалий, в которые, как механизм в корпус, помещается сюжет. Есть еще такая вещь, которую Борис Акунин определил как умение «играть на эмоциях читателя, как на флейте». Иными словами, детектив *проектируется*, к нему более чем к любому другому литературному предприятию применимо модное слово «проект».

Второе, что важно: профессионал знает, каков потребитель его продукта. Отчасти интуитивно, но в большей степени сознательно он видит его основные параметры: пол, возраст, образование, социальную принадлежность, культурные предпочтения, политические симпатии. Профессионал представляет и то, сколько именно его текстов может и хочет потребить его аудитория. Такие авторы, как Акунин и, что интересно, Владимир Сорокин, прекрасно чувствуют ритм, в котором должны появляться их новые книги (у Акунина получается прямо-таки вальс, от которого,

правда, многие его поклонники уже успели устать). Профессионал, кроме того, заботится об информационной части своего произведения. Перед тем как взяться за книгу, он изучает некоторую область, к которой читатель относится с эмоционально окрашенным любопытством. Это не значит, однако, что книга будет иметь просветительский характер. Данная тонкость «нового времени» описана в романе Джулиана Барнса «Англия, Англия»: «Мы хотим, чтобы они почувствовали, будто больше узнали. Узнали ли они что-то на самом деле — это совсем другое дело. Более того, это вне нашей юрисдикции». И далее: «Отсюда следует, что мы людей не пугаем. Мы не оскорбляем их невежество. Мы даем им то, что они уже понимают. Возможно, чуточку добавляем. Но никакие глобальные новости не приветствуются». Речь здесь идет о туристическом объекте: о парке на острове Уайт, где устроители решили экспонировать все, из чего в сознании среднего человека складывается понятие «добрая старая Англия». Но этот же самый принцип применим и к роману. Бессмысленно уличать беллетриста, что он плохо представляет себе подлинный буддизм: беллетристу гораздо важнее тот «буддизм», что имеется в голове у среднего интеллектуала. Вот его-то и нужно вернуть адресату текста, «чуточку добавив» из материала, проработанного автором. Очевидно, что здесь мы имеем дело с одним из «проклятых» вопросов «нового времени», которые, будучи раз поставлены на ребро, каким-то чудом все еще удерживаются в этой экстремальной позиции, а именно с вопросом о копии и оригинале. Еще раз процитирую Барнса: «Вопрос, который должен быть задан, таков: почему мы предпочитаем копию подлиннику? <...> Чтобы это понять, мы должны понять и осознать нашу неуверенность, нашу экзистенциальную нерешительность, тот глубокий атавистический страх, который мы испытываем, оказавшись с подлинником лицом к лицу. Столкнувшись с альтернативной, не-нашей реальностью, реальностью, которая выглядит более мощной и потому нам угрожает, мы обнаруживаем, что спрятаться негде». Создавая копию, литератор должен быть солидарен со своим читателем в его страхе перед испытующим миром и должен чувствовать «чуточку», которая не подорвет, но только укрепит в читательском сознании его любимые клише. Такая правильность есть важнейший профессиональный навык, благодаря которому в непрофессиональной системе оценок «нравится — не нравится» книга получает не минус, но плюс.

Видимо, желание познать читателя в пределе означает стать им. В литературном кругу заметно стремление стряхнуть все то, что налипло за годы профессиональной карьеры и что одна моя знакомая редакторша выразила словами: «Не могу читать бесплатно». Профессионалу хочется простых читательских отношений с текстом — простых и искренних. Валентин Лукьянин писал в упомянутой статье, что «...зрительское начало крепко сидит в любом профессионале и при первой возможности берет над ним верх». Мне кажется, что дело обстоит ровно наоборот — подобное превращение практически невозможно. Доказательством тому служит, например, опубликованная в «ЛГ» статья Павла Басинского «Зернышко и жернова». Написанная именно с желанием «...различить то, что действительно хотелось бы прочитать, от того, что читалось вынужденно, с прицелом на статью или рецензию», публикация является вариантом на тему пуска старгородского трамвая. Двоичная система «нравится — не нравится» не требует иных слов, кроме тех, что присутствуют в кавычках. Однако литератор, начав говорить, непроизвольно сворачивает на международное положение, то есть, пардон, на профессиональное высказывание, на свое позиционирование в кроссворде. Все просто: обычные читатели не пишут текстов для «Литературки». Тем не менее сама попытка стать *как бы простым читателем* симптоматична. Часто писатель начинает писать, потому что не видит вокруг себя такого, что ему хотелось бы почитать (кажется, этот стимул озвучила как-то Татьяна Толстая). Но для профессионала «я» радикально меняется на «мы», поскольку профессионально произведенный продукт должен быть гарантированно пригоден к употреблению.

Что касается бормочущего индивидуума, описанного Сергеем Гандлевским, то для него адресат высказывания окутан в цветной туман. Видимо, Валентин Лукьянин был не вполне точен, говоря о «качественности» зрительской аудитории. Рискну заявить, что с позиций «собора бесполезности» (а именно такие вещи подразумевались в статье Лукьянина под «фильмами для фестивалей») аудитория не может быть ни качественной, ни некачественной, ни хорошей, ни плохой. «Лес» — он *никакой*, в нем не бывает плохой погоды, он непостижим. Профи, определяя параметры аудитории, бывает не только умен, но интуитивно прозорлив, но он лишает «лес» единственного качества, действительно важного для контактов с «собором бесполезности». Качество это *поэтическое*. «Будь ты хоть трижды рационалист и атеист по убеждени-

ям, но, занимаясь искусством, ты на каждом шагу изменяешь собственным принципам, потому что берешь в расчет нечто необъяснимое и сверхъестественное», — пишет Сергей Гандлевский. Автор, работающий «по кривой», сам существо природное («Писатель — животное», — сказала в одном из телеинтервью Татьяна Толстая). Произведение, написанное при участии «необъяснимого», возвращается в «лес», как к себе домой.

Чем связаны между собой «лес» и «собор бесполезного»? Трудно объяснить характер этого контакта. Здесь отсутствует прямой обмен идеями, информацией, экономические связи угнетены. Скорее перед нами экосистема. Ведь для обычного читателя, который сам для себя, несомненно, «город», наши соборы, в свою очередь, «лес». Природа. Простой читатель может в жизни не открыть книгу Михаила Шишкина и Марины Вишневецкой, Сергея Гандлевского и Льва Лосева, Татьяны Толстой и Павла Крусанова, но ему важно знать, что «лес» *существует*. «Лес» нужен «горожанину» не для того, чтобы культурно развиваться и заполнять досуг, но скорей для чувства неоставленности и для веры в будущее.

Экосистема и есть гарантия конечного равенства писателя и читателя.



АЛЬФА-БАНК совместно с МОСКОВСКИМ ЛИТФОНДОМ продолжает благотворительную программу поддержки московских писателей. Уже третий год 15 авторов, представивших наиболее интересные проекты на конкурс, будут получать — с 1 ноября 2001 г. по 31 октября 2002 г. — ежемесячные стипендии Альфа-Банка. Рассматривает заявки претендентов Экспертная комиссия, состоящая из главных редакторов ведущих литературно-художественных журналов.

Благотворительная акция Альфа-Банка, ставшая уже традицией, реально помогает рождению талантливых произведений и появлению новых имен в литературе.

Владимир БЕРЕЗИН

Беллетристика

В то время как многие из великих прозаиков западной литературы не были беллетристами, в России хорошая проза была синонимична хорошей беллетристике.

Ласло Динеш

Наше время — время, когда стираются грани жанров. Время, когда слово «гедонизм» перестало быть ругательным. И когда словосочетание «развлекательное чтение» утратило уничижительный привкус. А образцов развлекательного чтения в мировой литературе мало, то есть мало по-настоящему хороших образцов.

Беллетристика — вообще слово загадочное. Не сказать, чтобы порицание, но и не большая похвала в устах интеллектуала. В. Даль им определял всю «изящную словесность, изящную письменность». А «беллетрист м., беллетристка ж.» — писатели по сей части.

Ожегов же трактовал его как «повествовательную художественную литературу», добавляя, впрочем, второе, переносное значение: «литература, которая читается легко, без затруднений».

Русская литература никогда беллетристики не чуждалась. Просто наша беллетристика притаилась в тени душераздирающих страданий и нержавеющей проблем. Ее даже трудно отличить от традиционно-философской классики.

Этому есть хороший пример — замечательный писатель Гайто Газданов, а антиподом ему — другой писатель, Борис Поплавский, рано умерший в Париже, как сказали бы сейчас, от overdозы наркотика. Смерть его темна и загадочна.

Поплавский был воплощением «чистой литературы» и «богемной несобранности», типичным литератором русской эмиграции. Газданов же, который «белым Гайдаром» успел повоевать в Крыму, жил во Франции, а не в русском Париже. Он говорил на чужом-своем французском языке и чувствовал себя свободно в иной культуре.

Их книги — книги потерянного поколения. Поколения, почувствовавшего запах тления не со страниц Оскара Уайльда, а под Верденом и Маасом.

Древним грекам было позволительно плакать прилюдно и по три раза на день. Романтики могли писать о своем чувстве открыто, и их герои причитали о неразделенной любви, доводя до самоубийства читателей.

Безжалостный железный век, век танков и иприта, приучил литературу к сдержанности. Страдание должно было подразумеваться, говорить о нем прямо стало неприлично, так же как рифмовать «кровь» и «любовь».

Газданов — писатель русской традиции, идущий за Буниным и Шмелевым. Но его отличает от старшего поколения не только то, что французы и американцы — равноправные с русскими героями его романов, а иная этика. В «Ночных дорогах» Газданов безжалостен, как то диктует век, но его герои-скептики эмоциональны и открыты, что согласуется с классической традицией.

Есть у Отара Иоселиани такой фильм — «Жил певчий дрозд». Это история музыканта, существующего в двух мирах — калейдоскопическом, суетном мире родственных и дружеских отношений тбилисского горожанина, в котором он постоянно чуть было не опаздывает в оркестр на «свой» несколько тактов, и мире, который заключен в удивительной музыкальной фразе, посещающей героя время от времени.

Он погибает, и зритель остается перед неразрешимым вопросом: кто он, этот музыкант? Быть может, человек, не выполнивший своего предназначения, упустивший то, что было дано ему от Бога? Или же тот, чье присутствие в жизни обеспечивает ее течение, как необходимая шестеренка в часах обеспечивает работу всего механизма?

Герой Иоселиани чем-то похож на Поплавского. За тридцать три года Поплавский успел очень мало: выпустил несколько поэтических сборников и два романа, больше похожие на соединенные эссе. В отличие от работника Газданова Поплавскому была чужда иная работа, нежели философские размышления. Мистик, теософ, человек, поминутно менявший свои убеждения, нечесаный и неглаженный, он мог часами валяться на кровати. Но, не довольствуясь классической привычкой русской жизни на диване, Поплавский изнурял себя молитвами. До флагелляции дело не дошло, однако дошло до героина.

Нет ничего легче, чем сравнивать выбритого Газданова и небритого Поплавского. Суть заключается в другом, совсем обратном: внутреннее движение, чувствующееся в его романах, сила его образов, ворочающихся внутри страниц, дают понятие о силе таланта. Сила эта рассеялась, а не сосредоточилась, как у Газданова.

В романе Поплавского «Аполлон Безобразов» есть сцена кутежа в ресторане, где описаны разговоры шоферов, которых, по всей видимости, Поплавский презирал. А Газданов в «Ночных дорогах» бесстрастно описывает, как шоферы развозят по домам пьяных русских, этаких нетрезвых поплавских.

Два писателя различны, но представляют одно — ткань времени и литературы, тот мир, в частности, парижский, где Хемингуэй спрашивает в книжной лавке Сильвии Бич, в котором часу туда заходит Джойс, где Генри Миллер снимает тех монпарнаских проституток, к которым боялся подойти Поплавский, а герой «Фиесты» садится в газдановское такси.

Существует мнение, будто в газдановских романах нередки провалы вкуса. Что эстетический компас, выверенный в «Ночных дорогах», в иных текстах указывает неверное направление, отчего в них появляется нестерпимый привкус Ремарка. Этот привкус, рассуждают критики, тем более нестерпим, чем более замечателен русский язык Газданова, плавность течения его сюжетов.

Привкус Ремарка нам хорошо знаком, он был особенно замечен в СССР в шестидесятые годы.

Один из созданных Геннадием Шпаликовым двадцатилетних киногероев говорит: «Я, видимо, был должен приехать к тебе в тумане на гоночном автомобиле, и все это называется Эрих Мария Ремарк...» То, что образованные люди зовут хронотопом: автомобиль с открытым верхом, поездка на Юг Франции, перечисление пищи, съеденной в маленьких ресторанчиках, и исстрадавшиеся женщины, — все это прочно связано с сентиментальным немцем.

Для большинства романов Гайто Газданова характерна занимательная интрига, основными компонентами которой в литературе (как и в жизни) являются любовь и смерть, мелодрама и криминальный сюжет. В том и уникальность творчества Газданова, что помимо так называемой «высокой литературы» им создана высококачественная беллетристика. Вот почему в эпиграф вынесена цитата из книги Ласло Динеша о Газданове.

В нынешней литературной ситуации существует огромное пространство между элитарной, высокой литературой и массовой литературой низкого качества. Произошла подмена слов, и «массовое» отчего-то означает «плохое», а «элитарное» — обязательно «хорошее». Попытки оправдаться только усугубляют ситуацию — «то ли он шубу украл, то ли у него украли... В общем, дело нечистое».

А упрекать некого и нечего, особенно романы Газданова — они просто построены по другим законам и шелестят страницами, следуя этим законам.

Когда говорят о мелодраматическом эффекте газдановской прозы, забывают прежде договориться о терминах. А, как уже сказано, понятия жанра и стиля — загадочны. Они размываются в современном мире, где криво повешенный на спинку стула пиджак уже является предметом искусства.

Концепт-арт, придя из живописи, ведет наступление по всему фронту. Текст, фрагмент текста, череда букв становятся самодостаточным произведением, артефактом.

Понятия жанра и стиля были загадочны всегда, на протяжении всей истории культуры. Эпос, лирика, драма, античный роман, готический роман, черный роман, собственно роман, повесть или новелла, рассказ — все эти термины, повторяясь, перекрывая друг друга, в сущности, ничего не объясняют.

Их слишком много. Тема дробится, понятия множатся, говорящие используют эмоции вместо аргументов. Для привлечения внимания школьников учителя незатейливо объявляют «Преступление и наказание» детективом. И положила руку на сердце — почему бы нет, они имеют на это формальное право. А ведь детектив — непременная часть массовой культуры. (Впрочем, массовая культура — тоже нечто не до конца определенное.)

Детектив может быть интеллектуальным, образовательным, мистическим, может превратиться в боевик, криминальный роман, плутовской роман или милицейский, роман приключений. У русской литературы с детективом отношения исторически сложные — издавна было принято считать его второсортным жанром. Корней Чуковский в начале века ужасался тиражам Ната Пинкертона, Иван Семенов сравнивал чтение детективных выпусков с приобщением к курению.

А на самом деле категории видов не есть категории этики. Обвал переводных детективов на русский рынок в последние десять лет показал, что это — особая культура. Особая культура чтения, потребления, производства детективной продукции, особая система взаимоотношений с нелитературной культурой — кино, телевидением, например.

Это — часть жизни. Но вслед за детективом, в его тени к русскому читателю пришел и иной вид литературы. Иногда его называют «женским романом». Можно употребить и слово «мелодрама».

И опять все определения неточны и, как любая система измерения, напоминают тришкин кафтан. Преуспевая в определении одного параметра, эти термины катастрофически беспомощны в другом. Каждый по отдельности они не сообщают ничего о том, что ограничивает этот жанр, что отделяет его от других, схожих. Сентиментализм, скажем, объемлет Стерна, «Новую Элоизу» Руссо, «Страдания юного Вертера» Гете, Ричардсона и Карамзина. Женский роман — что это? Роман для женщин? Роман о женщинах? Или же всякое произведение, написанное писателем женского пола? Без комментария это непонятно.

А ведь у обсуждаемого — нет, не жанра, а типа литературы — есть существенные особенности, которых не имеет даже, скажем, детектив.

Тема почти необъятна. Поэтому мы говорим лишь о частном явлении.

Давным-давно я придумал пахнущее химическим майонезом слово *лавбургер*.

Лавбургер есть литературное произведение определенного объема — чаще десять — пятнадцать или же тридцать листов — и жесткой сюжетной конструкции, в основе которой лежит рассказ о любви. Название хорошее, эстетически непротиворечивое.

Непротиворечиво оно потому, что образовано от известного гастрономического продукта, подобно веджетебургерам, чикенбургерам и прочим иностранным гостям. Бояться его иностранного вида не стоит — ведь стилистика этой литературы действительно заимствована.

Семантика термина непротиворечива тоже.

Чтобы ее пояснить и заодно отвлечься от схематического изложения материала, я расскажу следующую историю. Я расскажу историю о «Макдоналдсе». Мало кто обращает внимание на то, что официально «Макдоналдс» называется «ресторан быстрого питания». Для москвича или (как гласит традиционная формула) гостя столицы он давно уже не диковинка.

Несколько лет он замещал в массовом сознании и практике просто ресторан и кафе. Ничего порочного в быстрой еде нет, это не издержка, а черта городского образа жизни.

Однако быстрая еда требует быстрого приготовления, норматива и регламента. Вот из Солнцева идут в центр Москвы тяжело груженные замороженными булочками фуры, вот картошка, которую в металлической сетке на строго определенное время опускают в кипящее масло, вот дозаторы всего — напитков, мороженого, специй и мыла в туалете. А вот создатели гамбургеров и чизбургеров, одетые в разноцветные, но отмеченные печатью субординации формы. Технологическая операция, которую выполняет каждый из них, точна и проста, а сами творцы взаимозаменяемы. Это фордовский конвейер в пищевой индустрии.

Он красив и беспорочен.

Сравнение с автомобилями не случайно: Газданов, для которого машина была средством к существованию, многие годы предельно внимательно относился к любой своей работе, в том числе механической. Он соблюдал *технология* работы — какой бы она ни была. Теперь вернемся к литературе, а именно к лавбургерам; вернемся к анализу.

Дело в том, что создание лавбургеров — производство, серьезное и расчетливое, с маркетингом и продвижением товара на рынок, с законами, неотличимыми от производства иной классической продукции.

Нарушение технологии в нем губительно. А это нарушение — и не только отсутствие хеппи-энда, например, — создает ситуацию, сравнимую с той, в которой окажется посетитель «Макдоналдса», обнаружив в середине чизбургера еловую шишку.

В каком-то смысле лавбургер стремится (к такому стремлению его вынуждают законы спроса) к почти ритуальному совершенству. Совершенство лавбургера напо-

минает совершенство автомобиля. Существует элитарная модель, перспективная, антикварная, псевдоантикварная — модель под старину.

Наличием снайперски точно сделанный бестселлер и блестяще сделанная серия, из которой невозможно выделить отдельную книгу. Иногда главное в ней — репутация издательства, а иногда — имя автора. Но это тема отдельного разговора.

Как и в случае с традиционной продукцией «Макдоналдса», в лавбургере нет изначального порока. Он был необходим цивилизации, и цивилизация создала его так же, как она создала средства коммуникации, радио и телевизор.

Описан следующий случай: Горький спорил с кем-то о том, понятна ли фраза «Религия — опиум для народа». Спорщики обратились к красноармейцу, стоящему на часах, и спросили его, что такое, по его мнению, опиум.

— Известное дело, — ответил красноармеец. — Это лекарство.

История эта похожа на притчу, и в ней много завязок.

Неприятно ханжество, с которым унижают технологию — впрочем, в области, касающейся автомобильного конвейера, оно изжито. С другой стороны, печальна участь человека, питающегося исключительно быстро разогретыми булочками и кофе исключительно в пластиковых стаканчиках.

Собственно, буфер между массовой литературой и литературой для элиты и представляют собой романы Газданова — вернее, те из них, что считаются иногда уныло-сентиментальными. Именно те, в которых находят привкус мелодрамы.

Действительно, в них присутствуют неперенные компоненты масскультурной мелодрамы. Это и гармоничность персонажей, и идеальные герои, такие, как идеальные герои и идеальные отношения рассказчика и его друзей в «Эвелине и ее друзьях». Женский роман с его спокойным течением.

Случайность развязок и сведение концов через автомобильные аварии и внезапные исцеления. И самое главное — практически каждое произведение Газданова имеет счастливый финал. Но Газданов писал не лавбургеры, он, помимо своих произведений «Ночных дорог», писал и написал беллетристику.

Романы Газданова — биография тех двух с половиной миллионов его соотечественников, попавших из князей в грязь — в нужду зарубежной жизни.

А ведь был еще один писатель, которого уместно привести в ряду тех, что были переделаны, *превращены* эпохой. Это Аркадий Гайдар. Всего на год старше Газданова, он четырнадцати лет пошел добровольцем в Красную Армию (Газданов попадает на войну тоже в 1919 году — вполне добровольно).

Надо сказать, что после первой мировой войны отношение к убийству стало несколько иным. Это заметно во всей европейской культуре. Однако российская история продлила «великую бойню» еще на несколько лет, продолжила первую мировую гражданскую войной и усилила этот опыт.

В одном из самых известных рассказов Гайдара, в котором присутствуют не известная никому военная тайна, международное революционное движение и пороховой запах будущих войн, — так вот, в этом замечательном рассказе есть следующий пассаж:

«— Это белые...

И тотчас погас костер, лязгнули расхваченные винтовки, а изменник Каплаухов тайно разорвал партийный билет.

— Это беженцы...

И тогда всем стало так радостно и смешно, что, наскоро расстреляв проклятого Каплаухова, вздули они яркие костры и весело пили чай, угощая хлебом беженских мальчишек и девочек, которые смотрели на них огромными доверчивыми глазами».

Убийство превращается в абстрактный акт, подобный многочисленным смертям хармсовских персонажей. Жизнь Каплаухова картонна, как и его смерть. Он — как второй помощник неглавного негодяя из лавбургера, что мелькнул, падая с балкона.

Вообще военный опыт, опыт участия в разрешенном убийстве, особым образом переплавился в прозе не только Гайдара, но и Газданова. Смерти в газдановских романах ритуальны и похожи на жертвоприношения во славу сюжета.

Судьба и привычки Газданова доказывают, что он относится к любому своему тексту ответственно, не поддаваясь эйфории и тщательно отделявая даже «коммерческие» работы.

Формула промежуточного, беллетристического романа была проста. Две составляющих — мелодраматическая занимательность и криминальная интрига — делают романы Газданова примером качественной беллетристики. К сожалению, опытом уникальным.

Б у к в ы

От одного старого сидельца я слышал, что Бутырская тюрьма в двадцатых годах получила премию на международном конкурсе пенитенциарных учреждений за образцово поставленное коммунальное хозяйство. Сейчас тюрьма пришла в упадок. Железные лестницы, железные воротники на окнах проржавели, в коридорах валится с потолка штукатурка. В камерах грязь. На ремонт нет денег. И можно понять ностальгические чувства, с которыми старые надзиратели, если они еще живы, вспоминают золотой век благополучия и порядка. Можно представить себе, как они говорят: а люди? Какие люди у нас сидели! Не то что нынешняя сволота.

В мое время порядок сохранялся. Тишина, цоканье сапог. Шестие с надзирателем по галерее вдоль огражденного сеткой лестничного пролета, гуськом, впереди дежурный по камере торжественно несет парашу. Никакой связи с внешним миром, ни радио, ни газет; самое существование застенка окутано тайной. Но зато тюрьма располагала превосходной библиотекой. Непостижимым образом в абсурдном мире следователей, ночных допросов, карцеров, фантастических «дел» и заочных судилищ сохранялись реликты старомодной добросовестности. Раз в две недели в камеру входил библиотекарь. Арестанты могли заказывать книги по своему выбору.

Из обширного ассортимента наказаний, какие могло предложить своим обитателям это учреждение, худшим было лишение права пользоваться библиотекой. К счастью, следователи прибегали к нему нечасто. Возможно, они не могли оценить его действительность, так как сами книг не читали. Нетрудно предположить, что в эпоху расцвета тайной полиции, в те послевоенные годы, когда страна испытывала особенно острую нехватку тюремной площади, когда спецкорпус, воздвигнутый еще при наркOME Ежове, был битком набит студентами, врачами, профессорами, евреями и тому подобной публикой, библиотека не могла пожаловаться на недостаток читателей. Бывало так, что заказанного автора не оказывалось на месте. Библиотекарь приносил что-нибудь выбранное наугад им самим. Это могли быть совершенно необыкновенные сочинения, диковинные раритеты, о которых никто никогда не слышал. Попадались даже, о ужас, произведения врагов народа. Имена, выскобленные из учебников литературы, писатели, одного упоминания о которых было достаточно, чтобы загреметь туда, где обретались мы, и — получить возможность их прочесть. Тюремная библиотека пополнялась за счет литературы, изъятой при обысках и конфискованной у владельцев. Книги отправлялись в узилище следом за теми, кто их написал.

Дожив до двадцати одного года, я не удосужился прочесть многого. Я не читал «Братьев Карамазовых». Теперь их принесли в камеру, два тома издания 1922 года, перепечатка с дореволюционных матриц. Старомодная печать, старорежимная орфография. Архаические окончания прилагательных. Буквы, вышедшие из употребления.

С тех пор утекло много воды. Достоевский перестал быть полузапретным автором. Но для меня он остался тюремным писателем. Он остался там, в старых изданиях, потому что в новых я не умею читать его с былым увлечением. Новый шрифт и современное правописание высушили каким-то образом эту прозу, уничтожили ее аромат. Перелитое в новые мехи вино лишилось букета. Я убедился, что печать включает в себе часть художественного очарования книги. Печать хранит нечто от ее содержания — я думаю, это заметили многие. Я утверждаю, что орфография и набор составляют особое измерение текста, новый рисунок букв слегка меняет его смысл. Отпечатанный современным шрифтом, классический роман странно и невозвратно оскудевает. Совершенно так же, как женщина, остриженная по последней моде, одетая не так, как при первой встрече, неожиданно теряет всю свою прелесть, таинственность и даже ум.

В Туре, в Северо-Западной Франции, над входом в скрипторий монастыря св. Мартина начертан латинский гексаметр: *Est opus egregium sacros iam scribere libros*. Славен труд переписчика священных книг.

«Переписанное вами, братья, и вас делает в некотором отношении бессмертными... Ибо святые книги, помимо того, что они святы, суть постоянное напоминание о тех, кто их переписал», — говорится в сочинении гуманиста XV века Иоанна Тритемия «Похвала переписчикам».

Быть может, 42-строчная Библия Гутенберга, оттиснутая на станке с подвижными литерами, не вызвала восторга у первых читателей. Можно предположить, что они испытали такое же чувство, как некогда ученые александрийцы третьего века, впервые увидевшие пергаментный фолиант вместо папирусного свитка. Старый текст в новом оформлении неуловимо исказился.

Я люблю письменность. Я люблю типографские литеры. С отроческих лет меня зачаровывала фактура, так называемый готический шрифт, я разглядывал твердые тисненые переплеты и титульные листы немецких книг, любовался таинственной красотой изогнутых заглавных букв с локонами, и с тех пор «Фауст» для меня немислим, невозможен вне готического шрифта. В новом облачении пресной, будничной латиницы доктор и его спутник стали выглядеть словно разгримированные актеры. Всё, что пленяло воображение, манило и завораживало, как знак Макрокосма, в который вперялся Фауст, сидя под сводами своей кельи, предчувствие тайны, предвестие истины — всё пропало! Трезвость печати уничтожила мистику текста.

Я любил с детства изобретать алфавит, исписывал бумагу сочетаниями невиданных букв, придумывал надстрочные знаки и аббревиатуры, воображая, что в этих письменах прячется некий эзотерический смысл, и мне казалось, что письмо предшествует информации: не смысл сообщения зашифрован в знаках алфавита, но сами знаки порождают еще не ведомый смысл. Не правда ли, отсюда только один шаг до веры в магическую власть букв, до обожествления графики?

Из трактата *Sefer Jezira* (Книга творения), который в некоторых рукописях носит название «Буквы отца нашего Авраама», отчего и приписывался прародителю Аврааму, хотя на самом деле был сочинен в середине первого тысячелетия нашей эры, — из этого трактата можно узнать, что Бог создал мир тридцатью двумя путями мудрости из двадцати двух букв священного алфавита.

Из трех букв сотворены стихии: воздух, огонь и вода. Из семи других букв возникли семь небес, семь планет, семь дней недели и семь отверстий в голове человека. Остальные двенадцать букв положили начало 12 знакам зодиака, 12 месяцам года и 12 главным членам и органам человеческого тела.

«(Бог) измыслил их... и сотворил через них всё сущее, а равно и всё, чему надлежит быть созданным». Буквы — элементы не только всего, что существует реально, но и того, что существует потенциально. Подобно тому как в алфавите скрыто всё многообразие текстов, включая те, что еще не написаны, — в нем предопределено всё творение. Алфавит — это программа мира. Ибо творение не есть однократный акт. Творение продолжается вечно. И вот, дабы приобщиться к акту творения, нужно сделать последний шаг: «взойти к Нему», как сказано в XXIV главе Книги Исход, — облечься в четырехбуквенное Имя божества.

Французский писатель, Нобелевский лауреат Эли Визел рассказывает легенду об основателе хасидизма, «господине благого Имени» — Баал Шем Тов, — который решил воспользоваться своей властью, чтобы ускорить пришествие Мессии. Но наверху сочли, что время для этого не пришло, чаша страданий всё еще не переполнилась. За свое нетерпение Баал Шем был наказан.

Он очутился на необитаемом острове, вдвоем с учеником. Когда ученик стал просить учителя произнести заклинание, чтобы вернуться, оказалось, что рабби поражен амнезией: он забыл все формулы и слова. Я тебя учил, сказал он, ты должен помнить. Но ученик тоже забыл всё, чему научился от мастера, — всё, кроме одной-единственной, первой буквы алфавита — алеф. А я, сказал учитель, помню вторую — бет. Давай вспоминать дальше. И они напрягли свою память, двинулись, как два слепца, держась друг за друга, по тропе воспоминаний и припомнили одну за другой все двадцать две буквы. Сами собой из букв составились слова, из слов сложилась волшебная фраза, магическое заклинание, и Баал Шем вместе с учеником возвратился домой. Мессия не пришел, но зато они могли снова мечтать и спорить о нем.

Из фраз и слов, из знаков алфавита построен мир нашей памяти, и буквы на камне, под которым я буду лежать, обозначат нечто большее, нежели чье-то имя, вырезанное на нем.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2001 ГОДА!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209.

Подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет:
www.Gazety.ru

Во втором полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:
для подписчиков Российской Федерации — 52 рубля;
для подписчиков стран СНГ — 69 рублей
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается ЗАО НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2001 году

«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Анатолий ГАВРИЛОВ. **Роман.**

Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **Далее везде.** Продолжение книги.

Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**

Давид МАРКИШ. **Рыжий.** Повесть.

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ. **Весна в Карфагене.** Роман.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Анатолий НАЙМАН. **Роман.**

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Тайная история творений.** Рассказы, эссе.

Олег ПАВЛОВ. **Карагандинские девятины, или Повесть последних дней.**

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни.**

Эдвард РАДЗИНСКИЙ. **Повесть.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Бессмертный.** Повесть.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Продолжение новой книги.**

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Петра АЛЕШКИНА, Юрия БУЙДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАЧАНА, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭППЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, писатели Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ.

" ПЕРСОНА " - журнал для широкого круга читателей, ставящий своей целью раскрытие качеств, которые формируют персону. У нас это личность, обремененная культурными традициями. Герои журнала - те, кто определяет лицо России в XXI веке. Мы рады всем, кому небезразлично состояние нашего общества вообще и культуры, в частности. Наша задача - напомнить о вечных ценностях, рассказать о выдающихся современниках и уже вошедших в историю персонах.

ПЕРСОНА

ОБЩЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ

Подписной индекс **38678**

Объединенный каталог "Подписка-2001".

Адрес редакции: 121019, г. Москва, ул. Новый Арбат, 21

Телефоны: 290-19-85, 291-20-05